

*НОВЫЙ
Журнал*

75

*THE NEW
REVIEW*

THE NEW REVIEW Новый Журнал

Основатели

М. АЛДАНОВ и М. ЦЕТЛИН

С 1946-го по 1959-й редактор М. КАРПОВИЧ

Двадцать третий год издания

КН. 75

НЬЮ ИОРК

1964

РЕДАКЦИЯ:

Р. Б. ГУЛЬ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАСHEB

NEW REVIEW, March 1964

Quarterly, No. 75

2700 Broadway, New York 25, N. Y.

Subscription Price \$9. — for one year

Publisher: New Review, Inc.

*Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.*

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
<i>Ив. Бунин</i> — Запись	5
<i>Игорь Чиннов</i> — Стихи	6
<i>Л. Ржевский</i> — Горячее дыхание	8
<i>Яков Бергер</i> — Стихи	41
<i>Мих. Иванников</i> — Искус	43
<i>А. Величковский</i> — Стихи	78
<i>Иосиф Мацкевич</i> — Несознательные люди	80
<i>Георгий Раевский</i> — Стихи	100
<i>В. Вейдле</i> — Бессмертная ошибка	102
<i>Странник</i> — Стихи	107
<i>Ирина Одоевцева</i> — На берегах Невы	109
<i>Иван Елагин</i> — Стихи	126
<i>Дмитрий Чижевский</i> — Что такое реализм?	131
<i>Евг. Замятин</i> — О сюжете и фабуле	148
<i>Юрий Иваск</i> — Волшебные звуки	157
ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:	
<i>Н. Валентинов</i> — Шесть лет в газете ВСНХ	165
<i>Л. Дан</i> — Бухарин о Сталине	176
<i>И. Микулич</i> — Савинков и Опперпут	185
<i>С. Сатина</i> — Московские Высшие Женские Курсы	195
ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:	
<i>С. Левицкий</i> — Экзистенциальный диалог	218
<i>Д. Анин</i> — Новая эра	228
<i>Лев Закутин</i> — О «третьей экономике»	243
<i>От редакции</i> — Н. С. Тимашев	266
<i>И. Шойер</i> — Социология Н. С. Тимашева	269
<i>От редакции</i> — Ф. А. Степун	281
<i>Дм. Чижевский</i> — Речь о Степуне	283
БИБЛИОГРАФИЯ:	
<i>Ф. Степун</i> — Вяч. Иванов. Свет Вечерний. <i>П. Ершов</i> — V. Alexandrova, A. History of Soviet Literature. <i>Т. Фесенко</i> — Василь Барка. Жовтний князь. <i>Вяч. Завалишин</i> — E. Schwarz. The Dragon. <i>Б. Прянишников</i> — Ген. А. Богаевский. Воспоминания. <i>А. Поплюйко</i> — Парнас Дыбом	
<i>Книги для отзыва</i>	303

PRINTED IN USA BY RAUSEN LANGUAGE DIV., 142 E. 32 ST., NEW YORK 16, N.Y.



**
*

«Родиться, жить и умереть в одном и том же доме». А сколько домов переменил я на своем веку? И чего еще не знаю, не видел на земле? «Пора сходить». Но ведь это значит навсегда расстаться с этой землей, на которой родился, рос, проводил дни и ночи, без конца видел смену восходов и закатов... Навсегда лишиться чувства какой-то «бесконечности», с которой жил всю жизнь... чувства того, что я весь век называл Богом и своим я, в котором несомненно Он — кто же иной, что же иное — то живущее, само себя сознающее — вот то, что час тому назад выходило на балкон, на эту несущуюся бурю, смотрело в бездну вверх, полную пылающих от мистралья звезд и почему-то перекрестилось на них — перед кем? — и, как всегда, стремилось в их невообразимой области к душам всех исчезнувших из моей жизни.

Сходить — это значит никогда больше не быть мыслью в тех днях, когда кто-то писал под шатром в стране Квадов, столь еще близких к рождению, к жизни Христа... Никогда больше не читать Евангелия, не слушать органа в холодной и великой пустыне древнего собора, в его полутьме, дивно и жутко цветущей в запрестольной высоте индиго и пурпуром... не глядеть на снега Бреннера, не качаться под мерные толчки гондолы по сырým и зловонным, вечно пленительным каналам мертвой в своей вечной весне Венеции...

Ив. Бунин

Эта запись И. А. Бунина прислана нам из его архива Л. Ф. Зуровым. РЕД.

1

Видимо, напрасны обращения
Обвинения, благодарения —
Ясно, что не отвечает небо.

Всё-таки — посмотришь ранним вечером:
Светится голубоватым глетчером.
(Знаю сам, что холодно и немо).

Видимо, и нет престола Божия:
Только небо, на покой похожее,
Серебрится, бледно золотится.

Это просто метеорология
(Отчего заговорил о Боге я?).
Вечереет. Кажется, зарница.

2

Бывает, светится море
Сквозь тени осенней рощи.
Бывает, сквозь летний дождик
Проступит ясное небо.

И кажется вдруг, что в мире —
Следы чего-то другого
(Вот так в шевеленьи листьев
Невидимый виден ветер).

Как будто сквозь близкий шелест
Ты слышишь далекий голос
Как будто сквозь дали неба
Так близко далекий голос.

3

Позабудь о грязи и о безобразии,
Позабудь о вечном зле.
Говори о ледяном алмазе и
Белой розе в голубом стекле.

Позабудь о всех страданиях, мучениях,
Расскажи, как вечер тих,
Говори о нежных обольщениях,
Украшениях земных.

Только так рождается чистая поэзия,
Как мерцающая в никуда,
Нет не путеводная, нет, не полезная,
Но блаженно-нежная звезда.

Всё равно ведь — и другой поэзией
Больше ничего не изменить,
И тупое обрывает лезвие
Нежную, страдающую нить.

Игорь Чиннов

ГОРЯЧЕЕ ДЫХАНИЕ

1

Когда напелзала на уже остывающее солнце туча, августовское небо становилось ситцевым, кротко и бездыханно припадало к земле, и его можно было чувствовать, как щеку, прижавшуюся к вашей, в росе и румянце только еще угадываемой зари; и слышать — оно будто нашептывало вам что-то невнятное, прощально-ласковое, что-то вроде просьбы «никогда не забыть», и... всю-то я вселенную проехал, слаще этого простенького подмосковного неба не нашел!

Память о нем, верно, и вытащила из пережитого эту историю, никому, может быть, и не нужную, но которую всегда вспоминаю вместе с ним, и вижу, и хочется рассказать.

Вижу пруд.

Когда напелзала на солнце туча, он расстился атласно, светлосерый, в темных яблоках заводей, благородный, как древний гобелен, может быть оттого, что был и вырыт для услаждения чьего-то благородствующего безделья, вручную, лет полтараста назад. А поплавок мой терял солнечную блеску на выпуклой лакированной боковушке, мерк и настораживался, наливаясь надеждой. Напрасной, конечно — улов, редкий и мелкий, бабка-хозяйка неизменно кидала ко-ту за невозможностью более полезного употребления. Но я так же неизменно высиживал с удочкой все предсумеречные часы, до самых потемок, когда уж и нельзя было различить клёва и кругов на воде, слушая свое небо, криканье уток, плеск и визги последних купальщиков, одышливое тарыхтенье трактора, тянувшего со жнивья последний воз.

Вместе с последним краешком солнца на пыльной вдоль пруда тропе слышался шоколадный топот копыт — возвращался с прогулки маршал, вошедший в бессмертие главным образом своими усами. Иногда придерживал грузноватую полукровку за моей спиной — оба шумно дышали, разглядывая мой поплавок, а мне становилось неуютно, потому что не знал, следует ли приветствовать пышные эти усы или не заметить. Потом маршал крякал и, прищпорив кобылу, рысил дальше, подрагивая жирными ягодицами, свисавшими на манер слоновьих ушей по обе стороны седла...

История, о которой я хочу рассказать, скрывалась под свежей драночной крышей, сквозившей на солнце, как брусок сливочного масла, из-за недовырубленных березок на том берегу. Ее хорошо было видно с места, где удил, и даже кусок окна, в котором иной раз можно было угадать Таню с Крикуном на руках или плоскую с петушиным хохлом голову Пэра, свекра ее.

Для них, то-есть, собственно Тани, я и разыскал эту крышу — квадратную, на курьих ножках дачку-избу в одну горенку, с плитой, уродливо выложенной из наворованного с церковных развалин кирпича.

Да, разумеется, только для Тани, которая была женой Славки, мастера лыжного спорта и моего друга, пропавшего без вести в финскую войну. Крикун родился месяца три спустя после получения этого известия, в июне, и орал без пауз круглые сутки в ателье Пэра — душной мансарде, разгороженной книжными полками; так что я начал опасаться за Танины нервы и думал, что на даче ей будет легче с ним справиться. Действительно, на вольном воздухе орал он меньше; Таня порозовела и чуть ожила, устраивая с помощью сенников, пледов и ковриков дачное подобие уюта.

Но таким галопом о ней не расскажешь.

Ей не было еще и девятнадцати, Тане, и она была почти красавица, во всяком случае такое производила впечатление. Я видел несметное количество набросков с нее работы

Пэра (всегда только набросков, никогда ничего законченного) в самых разнообразных отрывках и позах, так что знал ее — как разборную, на шарнирах, анатомическую фигурку, валявшуюся в углу его мастерской.

«Почти» красавица, говорю я потому, что яркие и женственные, если брать вместе, подробности ее лица и стана на щедрых, великолепно вылепленных ногах в отдельности, были несовершенны: темные брови ломались не там, где их сломал бы художник, и чуть косили серые глаза; кисти рук и ступни были слишком крупны, как мужские, и, пожалуй, чересчур выдавалась грудь.

Но, повторяю, на нее всегда оборачивались, и в скупых, почти вялых ее движениях угадывалась какая-то жаркая сила, скрытая до поры до времени и заставляющая настаораживаться.

Мне казалось, она чувствовала себя неловко, когда, после уженья, я иной раз заглядывал в дачку и засиживался допоздна. Крикун спал, посапывая в своей бельевоy корзине; в прохладные щели марлевой занавески тек от пруда лягушачий джаз, влетали палевые ночные бабочки, самоистребляясь над ламповым стеклом, — плоское пламечко захлебывалось и мигало, и мигали вокруг оранжевые потемки, отражаясь беспокойными всполохами на Таниных бледных щеках.

Я вообразил, что она стесняется живущих рядом хозяев и стал заходить только по субботам, когда приезжал из города Пэр.

Он крикливо встречал, прикидываясь обрадованным, хотя в уголках выцветших его глаз пряталась досада человека, которому помешали, — та, что я знал у него еще школьником, когда мы со Славкой носились по его мастерской.

— Ну, молодежь! — восклицал он, ныряя рукой в рюкзак с продуктами, которые привозил из города. — Что лучшего изобрела человеческая мысль со времени потопа? Несомненно — коньяк! А занятие, единственно достойное мыслящего человека, когда он не занят творчеством или любовью? Игра! Начнем, пожалуй?..

И мы садились втроем за идиотские «скачки» — игру с оловянными разного цвета лошадками и правилами, которые он выдумал сам. Думаю, что ему нравился, главным образом, процесс бросания костяшек, потому что он был прирожденный игрок.

К полуночи его разбирало, и он начинал «боletь» за каждый невзятый барьер, как на подлинном тотализаторе, бил по столу кулаком и улюлюкал так, что Таня с тревогой поглядывала на бельеую корзинку и просительно — на меня.

Я вставал и, несмотря на его протесты, помогал ей перетасать за занавеску сеник, на котором он спал.

Я его не любил. Мне одинаково претила и его порочность, и его талантливость, весьма впрочем необильная, рассыпанная на множество мелочей. Как художник он был лишен лица и, отчаявшись создать что-либо «эпохальное», писал декорации в одном из московских клубов и «на выезд». Работал порывами, когда хватало за горло безденежье, порывами же увлекался бегами, покером, женщинами, которым нравился, несмотря на свои пятьдесят.

Кличка «Пэр» (настоящее имя его было Петр Петрович) шла от Славки, который так его называл. Укрепилась же за ним повсеместно, я думаю, еще и потому, что отвечала, в другом значении, какой-то особой, я бы сказал, салонности его внешности и манер, которую он сумел протасать в нашу отнюдь не салонную эпоху из дореволюционного своего цветения и через несколько лет дальней отсидки. Благородство наружности, говорят, отличает шулеров, но — надо отдать ему справедливость — он был честен в игре и в жизни и даже иной раз возвращал долги, в которых сидел постоянно и по уши. «Последний могикиан московского вольнолюбивого барства!» — говорил он о себе...

Ко мне он относился недоверчиво и с наскоком — догадывался, вероятно, что, по тогдашней своей молодости, считал я его ничтожным вполне старикашкой, созревшим для крематория. Схватывался спорить по любому предлогу, плюясь через белозубый протез, вешал всех собак на канальское

новое поколение за малокультурность и безбожие, хотя сам отнюдь не был особенно образован и верующ. В общем, не будь он отцом Славки, знавшим меня еще в куцах штанишках, и Таниным свекром, вряд ли заглянул бы я когда-нибудь в его пропахшую олифой мансарду.

Последняя наша с ним стычка произошла как раз из-за Тани, и, хоть это и притормозит темп рассказа, ее никак нельзя миновать... Вот по какому поводу:

2

Славкину — «пропал без вести» — справку я долго таскал по разным инстанциям в надежде случайно из каких-нибудь расспросов или регистраций выведать что-либо о его судьбе. Казалось таким несправедливым и горьким пропасть без вести в этой нескладной, масштаба комнатной кражи со взломом, войне, стоившей тем не менее стольких жертв.

Был у нас с ним один школьный товарищ, взлетевший к этому времени на почти головокружительную высоту по некоему недоброй памяти ведомству. Этот молодой и честолюбивый парт-помпадур (дзержинского, стало быть, не шедринского толка) обещал кое-что сделать.

Я ждал целый месяц. В исходе июля я получил, наконец, приглашение прибыть к нему на квартиру. Час назначен был утренний, ранний — еще не сменился даже ночной полузаспанный страж, отбиравший при входе на лестницу специальные пропуски.

Он принял меня в халате, за маникюром, которым, я знал, обожал заниматься сам, не доверяя маникюрным девицам, готовым, как он говорил, обмочиться от страха не угодить высокопоставленному клиенту. Как всегда, мне надо было еще привыкнуть глядеть на его почерствевшие щеки скучного бритого глянца и величия — щеки, которые в школьные годы пылали, бывало, почти девичьим стыдливым румянцем, когда списывал он у меня контрольные по математике.

Старорежимная горничная в крахмальной наколке внесла на подносе булочки и шоколад.

— Так вот... — отложил он в сторону пилку для ногтей. Относительно Славки... Кое-что я узнал.

И теперь и потом в разговоре он с каким-то садистским, я бы сказал, равнодушием растягивал выжидательные паузы. Приподняв чашку, долго разглядывал ноготь на оттопыренном указательном пальце — необыкновенно длинный и узкий, как кизил, остро заточенный на конце.

— Должен предупредить: если проговоришься кому бы то ни было о том, что услышишь сейчас, — голову оторвут тебе обязательно... Но ты не проговоришься, я знаю, — добавил он с почти неуловимым оттенком брезгливости, которую я уж и не знал, к чему или к кому отнести. Да, может быть, и ко мне, и мне стало тотчас же не по себе и досадно, что обратился к нему.

— Я не проговорюсь!

— Дело, видишь ли, в том, что Славка угодил в плен, сказал он небрежно, потянув чашку с шоколадом ко рту.

В плен? Быть не может! Значит, он жив?

Этого я не сказал.

Но если в плен... Финны же должны отпустить наших пленных по договору?

Он снова возмутительно долго молчал, прихлебывая мелкими глоточками шоколад. С каким наслаждением вышиб бы я из его пальцев чашку!

— Встречал ты хоть раз кого-нибудь из этих отпущенных? — прищурился он, наконец, на меня вместо ответа.

Нет, не встречал.

Я тоже. А было оных немало.

Что ж, в расход их вывели что ли, ты хочешь сказать?

Я хочу сказать только то, что говорю. Кого нужно, может, и вывели. С остальными распорядились иначе.

— Как? Давай конкретней: о Славке. Жив он?

У меня перехватывало дыхание от нетерпения и почти ненависти к нему, покуда он неторопливо дожевывал булочку. Потом запил ее коротким глотком и опустил чашку на блюдце.

— Биологически — жив. Хотя, как ты сам, верно, соображаешь, обстоятельства могут меняться, и на сегодняшний день, например, трудно что-нибудь утверждать... Практически же выбыл из жизни.

— Как «выбыл»? Куда?

— Ты что, с луны что ль свалился? Выбыл в неопределенном направлении и без обратной плацкарты. Практически его уже не существует. Для тебя, для меня, на сегодня, на завтра и вовеки веков — аминь!.. Больше, брат, ничего не скажу. Ба! что ж ты — свой шоколад? Пей, а я пока что оденусь. В нашем распоряжении только десять минут.

Мысленно я был благодарен ему за эту отрывку гостеприимства и за то, что оставил меня одного. Выхлебнул, обжигаясь, свою чашку, съел булочку, одну, другую, надеясь этим нехитрым занятием заглушить смятение, мысли, рассказывающиеся, как кузнечики: жив он, на самом деле, Славка, или уже мертв «на сегодняшний день»? Где он? В тюрьме? В лагере? Представить себе его за колючкой я не мог. Это было страшней, чем пропасть без вести, страшней «похоронки». С чем покажусь я Тане?..

Мне почти нужно было сделать усилие, чтобы поднять голову, когда я услышал шаги.

Он снова присел напротив, поблескивая лаком ремней и земляничного ворса петлицами. Что-то болезненное, как тик, пробежало на миг по его стылым щекам при взгляде на мое лицо, но он тут же справился и посмотрел на часы.

— Скверная история, ничего не скажешь... Однако — перешли к практическим выводам! Что должен ты передать его девушке, как ее — Тоня?

— Таня. И у нее недавно родился сын.

О! Я не знал. Но — тем более. Она не должна маяться и ожидать, это прежде всего! Таскаться по учреждениям насчет розысков — тем паче. Время серьезное, сам понимаешь, чем это может обернуться: Ты ей скажешь... Впрочем, постой: у тебя нет личных к ней отношений, прости за вопрос? — Он уставился на меня испытующе, ожидая, что я, может быть, покраснею. Но мне краснеть было не от чего.

— Нет, — сказал я.

— Тогда порядок! Теперь слушай внимательно и запомни. Сказать надо вот что...

На щеках его пролегли начальнически-черствые складки. Палец с заточенным ногтем выставился вперед, режа короткими секущими движениями воздух.

Я сделал почти судорожную попытку вообразить за сверкающими петлицами и ремнями, за сухим треском слов прежнюю его юношескую статью, дружески-доверительную и робкую, — и не мог. Мне представилось вдруг, что этот палец нацелен на кого-то другого, теми же повелительными движениями рубит воздух перед чьим-то смятленным лицом; может быть, касается даже чьего-то бледного лба, колюче и приказывающе: «Сказать надо вот что»...

— Сказать надо вот что: из полуофициальных источников — заметь, полуофициальных, но вполне достоверных, — ты узнал: в начале января сего года Славкина часть участвовала в одной боевой операции. Из этой операции он и ряд других бойцов не вернулись. Был свирепый мороз. Обстоятельства помешали части своевременно подобрать своих. По данным, установленным вполне точно, финны похоронили павших в братской могиле. Всё.

— Но ведь это неправда!

— Девять десятых правды. Одна десятая опущена во спасение. Главное, чтобы эта самая Таня раз и навсегда почувствовала себя свободной и оставила ждать. Опиши ей все поубедительнее. Погоди, Впрочем... — Он прищелкнул пальцами — ювелирный ноготь, от которого меня начинало уже мутить, сверкнул и исчез. — У Славки ведь есть отец, эта-

кий дореформенный пережиток, я помню... Что, по-прежнему, просаживает на бегах все, что вымажет? Так вот: пусть он ее обо всем информирует, не ты!

— Не все ли равно, кто информирует.

— Не все равно для меня. Очень прошу и даже настаиваю. Расскажешь ему, а он пусть ей передаст. Договорились? И теперь ходу! Сядешь со мной, я подкину тебя до Смоленского...

Высадив меня в устье Арбата, он открыл боковое овальное стеклышко «эмки» и крикнул вдогонку, когда я уже ступил на тротуар:

— Смотри, сделай все в точности, как я сказал!

3

Я сделал все в точности, как он сказал.

Томился, но сделал.

В тот же день под вечер отправился к Пэру, в булыжный его переулок — он жил в том же, захлебнувшемся в прошлом столетии, районе Москвы, что и я, между Кропоткинской и Арбатом.

Я застал его с кистью в руках, в желтой плюшевой блузе, залепанной красками, — он был похож на лангуста в гарнире среди фантастического развала вокруг, политого, как прованским маслом, вечерним оранжевым солнцем. Холсты и рулоны в углах, картонки с набросками декораций по стульям и на столе вперемежку с обедками на тарелках, консервными банками с жестяным рваным зевом и бутылками из-под коньяка.. Душно пахло олифой и скипидаром. Сизые крупные мухи толклись в решетчатом мансардном окне.

Он творил и, как всегда в такие порывы, был, кажется, вчетвертьпьян. Пепельный колоритный хохол, обычно прилизанный, стоял торчком на плоской его голове, срезанной от загривка к макушке и спереди — покатым, словно откидным лбом.

Я вошел без стука, и он заметно смутился — как бы нечаянным движением попытался отвернуть от меня мольберт,

но подрамник соскользнул, упав на пол изнанкой, так что я успел разглядеть опус: женская нагая фигура, животом на подушках, свешивалась с дивана к кошке, играющей на ковре. Кошка, похожая больше на суслика, руки и голова — едва подмалеваны, закончен лишь задний, так сказать, интерьер — пышная розовая крутизна, выписанная с нездоровым восторгом (что-то похожее встречал я у Цорна), плавно стекающая к столь же пышным ногам. Лица под спадавшими прядями не различишь, но вся фигура была неоспоримо Танина, и во мне забурилась злость: Таня не могла ему в этом виде позировать, — как смел он примысливать ее для своих эротических сюжетцев!..

— Это так, фантазия и пустяки... — пробормотал он, прислонив лицом к стенке подрамник, и, потоптавшись, поставил на мольберт другой:

— Вот, вчера как раз кончил. Как ты находишь?

Второй опус изображал тоже Таню, лежащую в гамаке, подцепленном за две березки, в зеленом закрытом купальнике, с локтем, закинутым под голову над развернутой, в шоколадных волосиках, подмышкой. На этот раз все было содрано с Джордановой «Спящей Венеры», своего только березки и линия, прогнутая крендельком.

Но я помнил, с чем явился к нему, и удержался от критики.

— Ничего-себе... — сказал я.

Его передернуло:

— Ты... по делу ко мне? Ибо, если без особого дела, то извини, у меня сейчас, говорится самое...

— Понимаю: порыв! Но я по делу. И, к сожалению, очень грустному.

Надменно-обиженные складки на его лице посерели — панически боялся всего неприятного.

— Это — о Славе. Последние сведения.

Я рассказал ему предписанную версию, и он, отвернувшись, заплакал.

Глядя на вздрагивающий затылок с увядшей, гусиной кожи, шеей в белом пуху, я впервые, кажется, ощутил к нему жалость. Может быть, впрочем, это была одновременно жалость к Славке. Тоскливая получилась минута. Д-зум, д-зум... — бились о пыльное стекло мухи.

— Значит, око... окончательно не ждать больше ничего и не надеяться? — выговорил он, всхлипнув, и несколько театрально развел руками.

— Очевидцев гибели не было. Но ждать и надеяться в самом деле нет оснований, во всяком случае — наводить дальше справки, как порывается Таня. Вы едете сегодня на дачу? Расскажите ей все, пожалуйста.

— Рассказать? — переспросил он растерянно и настояжился, подкинув вверх брови. — Ей?..

Ну, конечно!

Полагаю, что этого делать не следует.

Это почему ж?

Она кормит... Внезапное волнение... говорится са-
мое, шок... может повредить ей и ребенку.

— Она волнуется перманентно. От неизвестности. Кроме того, вы знаете, она ждет сейчас результатов моих розы-
сков. Скрывать их от нее нелегко.

— Я против!

Кисть, которую он все еще держит торчком в руке, на-
чинает дрожать. Жидко разведенная телесного цвета краска
капает на пальцы, как воск с церковной свечи.

— Я против! — повторяет он, и его шея и щеки де-
лаются терракотовыми.

— Я — за!

— Мне принадлежит первое слово. Я... я ее опекун и я
не позволю никому постороннему...

— Послушайте, Пэр, — говорю я. — У меня тоже есть
право на Таню. Право дружбы. Ее состояние никуда не годит-
ся, этому надо положить конец. Обыкновенная логика...

— Нет! — взвизгивает он уже совсем вне себя. — К
дьяволу логику и советчиков! Я сам все решаю! Сам, сам!..

Он швыряет кисть в угол и, не найдя, чем бы швырнуться еще, яростно топчет ногами. Он топчет и выкрикивает бессмысленные слова о яйцах, которые учат кур, и молокосо-сах-прагматиках, у которых логика выше движений сердца. «Вон из моего дома!» — вопит он. — «Вон! Вон!»

Эти истерики, с швырянием разных, преимущественно небьющихся предметов, знакомы мне с детства. Я смотрю на прыгающий серый хохол, ненатуральный оскал, брызжащий слюнями, и соображаю, что именно так разъярило этого темпераментного старикашку? Он не стал бы лезть на стену, беспокоясь за Таню, — он не способен был беспокоиться ни о ком, кроме себя самого. Что он обожал ее не совсем по-родственному, я понимал хорошо — достаточно было бы устроить верниссаж бесчисленным его этюдам, — чорт бы побрал эти художественные натуры! Но как далеко шло это обожание, всегда неистовое и эгоистическое у таких, как он?

Я дал ему выкричаться, и он наконец утих, дыша с присвистом и — уже не без некоторой робости, я видел — ожидая моих реакций на свои выклики.

Я нарочно растягивал паузу.

Д-зум... д-зум... — толклись мухи в окне.

— Так вы не хотите передать Тане то, что я вам рассказал? — спросил я.

— Нет, нет, нет!.. — затоптал он снова, но уже без прежнего пыла.

— Хорошо. Тогда я расскажу ей все сам.

У порога я сделал еще одну длинную паузу и добавил:

— Я скажу ей также, что думаю лично о вас. Уверен, что результаты будут как раз те, которых, как я догадываюсь, вы опасаетесь...

Я прошел два пролета по скрипучим ступенькам, изъеденным в губку древесным жучком, когда сверху хлопнула дверь, и он, перегнувшись через перила, крикнул вниз, задыхаясь:

— Я согласен... Я передам! Сегодня же вечером передам. Слышишь?

— Ладно! — сказал я.

4

Он сдержал обещание.

На следующий день, уже к сумеркам, Таня приплыла ко мне со своего берега — я долго вытягивал запутавшийся в кувшинках поплавок, чтобы, чего доброго, не зацепило ее крючком.

Там, за этим далеким берегом пряталось солнце, но еще сверкали на воде узкие солнечные коврики, прощальные и причудливые, как автограф. Веерками спускалась на них с дороги рыжая пыль, вспыхивала пунцово, нанизываясь на косые лучи, и гасла, не дотянув до воды.

Следя за этой игрой, я и не заметил вдруг зеленое пятнышко купальника и блестящие взмахи рук, — Таня плыла сажёнками, по-мужски, у нее, я знал, был довольно высокий разряд по плаванию. Я и познакомился с ней тоже на пляже, под Ленинскими горами, случайно наткнувшись между купальщиками на Славку.

— Видишь вон ту, в зеленом? — спросил он, показав на одну из фигурок на вышке, как раз сложившуюся для прыжка. — Таня, невеста моя...

Я успел оценить стильно выписанную параболу и ладные длинные ноги, замкнувшие ворох брызг. Когда она вынырнула, Славка окликнул ее, сложив рупорчиком ладони. Пока она к нам подплывала, рассказал, что она сирота, родом с Кубани, воспитывалась в московском одном детдоме, что через неделю их свадьба и что жить они будут в мансарде Пэра до получения комнаты на новостройке. Что ее родители в самом начале раскулачивания были сосланы и погибли, он тогда от меня утаил.

Мне показалась она совершенной красавицей, когда, блестя зубами и мокрым, в солнечных струйках загаром, вылезла из воды.

Я зачистил к Славке, чувствуя легкую к нему зависть и странное влечение к ней — к ее чуть косящему теплему взгляду, грубоватой, но чем-то пленительной непосредственности и простоте. Потом, правда, как-то все поостыло — она

ждала ребенка, была тяжело и некрасиво беременна. Осталась жалость и желание опекать. Впрочем, это, кажется, уж и не относится к делу.

Но все это я вспоминал, глядя на приближающиеся сажёнки. Как все было недавно, какой-нибудь год назад, и как все изменилось!..

Сейчас, когда Таня подплывала к моим удочкам, кто-то будто водил мне по сердцу ледяным утюгом. Конечно же, она хотела услышать все от меня самого. Какую-нибудь новую, быть может, подробность к тому, что ей рассказал Пэр. Может быть, просто ждала утешения.

Чем, как я мог утешить ее? Что сказать, когда и говорить-то мог только «маленьким языком» — большой костенела ложь...

Я помог ей выкарабкаться на скользкий глинистый скат, и она села рядом в траву, обхватив своими большими кистями колени. Странно, что она совсем не запыхалась, проплыв так много, — набухшие груди, облепленные купальником, не дрогнули, как каменные, в бронзовой ставшей дыбком поросли на руках стыннут прозрачные капли.

— Скажи, — спросила она помолчав. — Ты это узнал... ну, то, что мне передал Пэр, от общего вашего приятеля, ну, ты знаешь, кого?..

— Об этом как раз велено мне молчать. Но — да, от него.

— Расскажи все. Как можно подробнее.

Я рассказал, стараясь слегка оживить выдумку, бодрясь «маленьким языком» и холодея от страха, что она может уловить фальшь. Но она не пошевелилась, пока я говорил, ни потом, когда кончил, и это безмолвие, боязнь какого-нибудь нового вопроса, на который не смог бы придумать ответ, были мучительны. Солнечные коврики в дальнем конце пруда потухли, с ивняка ползла на воду свинцовая тень.

— Эту неделю... — начала она вдруг полушопотом, недвижно глядя перед собой, — я видела один сон. Целых три раза один и тот же. Слава будто тяжело ранен, лежит в избе,

где-то в глуши, в лесу, далеко от нашей границы. Его будто подобрали какие-то там... чухонцы. Он бредит с открытыми глазами и видит в бреду меня. Таня, говорит он, Таня... я встану. Я непременно встану через полгода. Через полгода я снова буду здоров и вернусь. Жди, Таня... И, понимаешь, будто прошли все сроки для разных там регистраций, обмены, но он лежит, потому что никто не знает, где он. Его вроде спрятали и ухаживают... Такой сон! И я приготовилась ждать. Сперва тоже во сне, потом — наяву...

Странное совпадение в чем-то этого сна с правдой ошеломяет меня. Я говорю:

— Но если бы случилось все так наяву, как тебе привиделось, и прошли бы все сроки, — ему, пожалуй, и невозможно бы было вернуться.

— Почему? — спрашивает она.

— Потому что Бог знает в чем заподозрили бы, и, вместо дома, неизвестно куда б угодил. Не забудь, какое у нас время сейчас. Ждать пришлось бы долго, может быть — годы!..

— Я бы и стала ждать годы. Всю жизнь... Знала бы, что он жив и жила бы надеждой, — говорит она. — Ты сомневаешься, что я могла бы ждать его всю жизнь? — спрашивает она звонко и потом опять очень долго молчит и, вдруг повернувшись ко мне, кладет на мои колени сведенные в кистях руки с дрожащими капельками в волосах.

— А теперь я пустая... — шепчет она беззвучно. — У меня нет воли и я не знаю, что делать. Что делать? Скажи... Она теперь смотрит на меня. Я слышу прерывистый жар ее дыхания, вижу по-вдовьи исплаканные глаза на почти детском лице, с расширившейся чернью чуть косящих зрачков, в которой полыхает отчаяние.

Мне почти страшно.

Пронзительное желание рассказать ей всю правду охватывает меня.

Но и такое же пронзительное и цепкое сопротивление. Нет, разумеется, не страх, что мне могут «оторвать голову»,

но страх ответственности за чужую судьбу. Ей только девятнадцать. Женаты они были со Славкой всего пять каких-нибудь месяцев. Должна она ждать годы? **Может** она ждать?..

Я чувствую тепло ее рук, лежащих на моих коленях, всего ее большого на диво складного тела, с таким огромным почти непочатым еще зарядом обаяния и жадной охоты жить. Нужно ей нести крест?..

— Что делать? Скажи!.. — повторяет она.

Десятки, нет, сотни слов липнут на моем языке, потому что я неспособен их выговорить. Осенью она могла бы отдать Крикуна в ясли. Поступить на работу; даже, может быть, и учиться... Съехать с мансарды, остаться хотя бы в теперешней дачной своей комнатушке — недалеко от Москвы! Стать самостоятельной и свободной...

Я не выговариваю всего этого, потому что слышу заранее, как неубедительно равнодушно и даже фальшиво должен звучать мой голос. Я молчу, потому что в душе у меня смятение; потому что я так и не в силах решить, имею ли я право на ложь...

Право на ложь!

Будь проклято время, сделавшее ложь правом, а людей вольными либо невольными участниками этой лжи, отступниками человеческой совести и пособниками нечеловеческих преступлений.

Будь проклят и тот, кто захотел бы дать этому времени отпущение грехов!

Раскаяние, отпущение грехов нужны только отдельно-му человеку.

И прощение ошибок...

— Я пойду... Пора кормить Крикуна! — говорит Таня, поднявшись.

Она поворачивается и идет, опустив голову, по окологорожденной тропе. Свинцовый фон ивняка проглатывает почти целиком ее фигуру; в сизой поземке света, отбрасываемого водой, розовеют уходящие ноги.

Я гляжу им вслед, и мне кажется, что она уносит с собой что-то, что есть я сам или что должно было стать мной и не стало, спугнутое моим нелепым молчанием.

Конечно же, она должна была счесть это молчание черствостью и равнодушием. Постыдной растерянностью — в лучшем случае.

Мне невыразимо горько, и пальцы делают бессмысленные движения, отвязывая с лески крючок.

Да, человеку необходимо отпущенье ошибок!

5

Было это в начале июля. И весь остальной июль торчала во мне заноза этого разговора. Я то убеждал себя в собственной разумности и правоте, которую рано или поздно непременно подтвердит время, то ощущал подспудным и потому особенно тревожащим и шершавым чувством, что что-то идет не так под драночной крышей на той стороне пруда. Что именно идет и куда — не мог разгадать и верил, что рано или поздно все образуется.

Верил — до одного разнесчастного августовского утра, когда вдруг все взорвалось и рассыпалось вдребезги.

По утрам я ходил за грибами.

Их в первые августовские дни повылезло тучи, особенно подосиновиков, мелких, причудливо сросшихся двояшками в детских карминных капорах, завязанных под подбородком, либо огромных, похожих на игрушечные зонты, под которыми прожорливо отдыхали, исходя слизью, улитки. Здешние жители предпочитали их всем другим, засаливая не то маринуя в кадках цельными шляпками, так что я, чтобы опередить конкурентов, поднимался чуть свет.

В то утро, к которому, как на какой-нибудь горный пик, ползла рассказываемая мной история, чтобы затем неожиданно сорваться кувырком вниз, — в то утро шел теплый серенький дождь. Обобрав два-три осиновых перелеска, я решил его переждать, залезши под елку.

Переживать дождь под елкой — занятие столь же приятное, сколь и философическое: перед вами открывается вдруг плоский крохотный мир, всего в каких-нибудь полтора хвойных метра в диаметре, но до удивления напоминающий наш огромный, сферический. Спасайся, кто может!.. Мышь, пискнувшая в шелке под корнем, лягушка, панически брыкнувшаяся у самой вашей руки, воинственные муравьи различного бисерного калибра и прочая насекомая дребедень, ведущая себя в своих страхах и безжалостности чрезвычайно похоже на дребедень человеческую. Кто-то кого-то пытается истребить, кто-то обороняется или задает стрекача. Кто-то сердито смахивает лапками каплю, шелкнувшую его по блестящему панцирю; кто-то, совершенно слившийся с кофейного цвета хвоей, сонно перебирает усами, равнодушно выжидая конца чьей-то сторонней судьбы. Пахнет отсыревшей хвоей и муравьиным спиртом. Испуганно, в розницу, звенит случайный комар...

Я думал о Тане.

Последнее время она начала словно бы сторониться меня: я заметил, что давно уже не могу поймать ее обычного пристального, глаза в глаза, взгляда и что она, будто ненарочно, отворачивалась, когда я на нее смотрел. Стала нервной — однажды во время игры прикрикнула даже на Пэра, когда он заулюлюкал было в полупьяном азарте, — и он по-собачьи испуганно притих, пробормотав извинения. Все это относил я за счет ее обиды на меня и на всех и вдовьих в девятнадцать лет переживаний.

Я решил занести ей корзинку с грибами и тут же, под елкой, уложил их поживописнее, шляпка к шляпке. Она обожала грибы, и я часто, проходя мимо ее дачки, отсыпал ей часть на приступку у тамбура. Там же колот и укладывал штабельком сосновые чурки — она подтапливала вечерами плиту, чтобы купать Крикуна. Все это — в самую рань, когда все еще спали.

Но в это утро из-за дождика я припозднился. На пруду уже начиналась жизнь — с мокрого берега шумно плюхались

в воду погрузневшие к осени утки; за ивняком, на мостках, пришепётывая эхом, колотил по белью валёк.

Поставив, как всегда, на ступеньку корзинку, я вдруг почему-то решил в этот раз постучать и сказать про грибы.

Но прежде чем я успел раскрыть рот, дверь на стук приоткрылась, и в узкую расплывающуюся на меня щель высунулась физиономия Пэра. Почему он здесь? Это не его день!..

Он думал, вероятно, что стучится кто-нибудь из хозяев, — у него отвалилась нижняя челюсть при виде меня. Он вообще терялся мгновенно и отвратительно при всякой сколько-нибудь катастрофической неожиданности. Сейчас он потерялся так, что выпустил из запрыгавших пальцев скобку, и дверь отплыла в тамбур вся, став настезь.

Я увидел вскидывающиеся крендельки ног в корзинке на Таниной со смятыми простынями тахте. Самой ее видно не было.

Но она тут же и показалась — **из-за пэровой занавески**, поднявшись с его сенника, — я слышал шуршанье и видел, как колыхнулся край створки, отведенный рукой.

Она стала в полоборота к нам, в какой-то залатанной распашонке, не доходившей ей до колен, округлых и шелковистых, как крымские дыньки. Она сказала что-то Крикуну смятым голосом и потянулась, выгнувшись всем своим крупным телом, с которого, казалось, потрескивая, как маленькие электрические разряды, слетала сонная смуглая теплота.

Ясно было, что она не слыхала ни стука, ни открывающейся двери. Но она знала, что, кроме Крикуна, был в комнате Пэр. И все-таки она вышла из-за занавески полунагая и потянулась, подкинув голые локти, и распашонка, взмыв кверху, расскочилась куполом вокруг ее бедер и живота, бесстыдно, как на порнографической фотографии.

Выгибаясь, она чуть повела лицо в сторону, и глаза наши встретились. Я видел, как мгновенно, до последней кровинки, отжало с ее скул румянец.

О-ох! — произнесла она полустоном и отвернувшись, стиснув вскинутыми локтями голову.

Помню, сердце колотилось у меня уже в горле, когда стоял, сам не зная, чего дожидаясь, после этого ее «О-ох!», прозвучавшего исповедью. Стоял и смотрел на ее сплетенные у затылка пальцы, казавшиеся гипсовыми на темных прядях волос, слыша за спиной трясущееся дыхание Пэра.

Потом, кажется, сказал что-то невнятное про грибы и вышел.

Я шел по мокрой тропинке вдоль пруда. Она дико петляла скользкими крутыми витками, и с ней вместе, витками же, захлестывали и кружили меня переживания этого невероятного интермеццо. Я почти задохнулся...

Виток первый: презрение, почти ненависть к Тане. Какая сила могла бросить ее в постель этого вздорного, сластолюбивого старикашки? Правда это, что женщины, даже самые лучшие и добродетельные, бывают иногда лишены элементарной брезгливости в выборе своих любвей, и нет такого морального и физического смердякова, до которого они не могли б иной раз снизойти?.. Теперь я припоминал, или мне казалось, что припоминаю, будто видел его плоскую голову в окне, среди недели, когда ему полагалось быть у себя дома. Видел мельком, неясно и потому всегда думал, что лишь померещилось.

Виток второй: ненависть к Пэру. У меня сводило пальцы от желания его задушить, — я почти ощущал под ними его щуплую шею, колющий захлебывающийся кадык и подбородок, с которого слетел лоск наигранного достоинства...

Виток третий; острейший и заключительный: ненависть и презрение к самому себе. Бедная Таня! Это я, не кто другой, толкнул ее в базразличие отчаяния. Что дал я ей, взявшись сам, по чьей-то бездушной указке, решать чужую судьбу? Что — кроме бесчувственности и фальши, вместо хотя бы мучительной, но до конца разделенной правды, ласки и дружеского участия? Если то, что случилось, было невероятно

и безобразно, — главным во всем безобразником был я сам!..

Я сказал бабке, чтобы она не беспокоилась насчет обеда, и уехал в Москву.

6

Дня через три пришло послание от Пэра. Это был тоже один из его прадедовских обычаев — в трудных случаях изъясняться по почте.

Я вернул бы ему письмо нераспечатанным, но мешала шальная надежда, что оно, может быть, содержит какое-нибудь неожиданное объяснение, опровергающее очевидность, — чем черт не шутит! — Я вскрыл конверт.

Нет, черт не захотел пошутить! Это была бы слишком добрая шутка для черта. Среди волнистых — на восьми страницах — строчек с бесконечными многоточиями, восклицательными знаками и латинскими цитатами в кавычках, я выхватил разом одну, которую предвидел заранее и со стесненным дыханием ждал: «*Mea culpa, mea maxima culpa!*..» Проклятый снохач!..

Уже позже, пережив эту строчку, я заставил себя прочитать письмо целиком. Сумбурное, как сам Пэр, с той мешаниной самовлюбленности и самоуничтожения, вычитанного глубокомыслия и наивности, искренности и фанфаронства, которой он был набит. «Роковая слабость», читал я, «порыв чувственного безумия, который, клянусь всем, что есть для меня святого, никогда больше не повторится».

А что есть у тебя святого, кроме себя самого?

В заключение — мольба «ради Всевышнего» помирить его с Таней, запретившей ему показываться на глаза. Экая наглость! Я, видите ли, должен стать его адвокатом. Я, которому в пору искать адвоката для себя самого...

Я решил идти к Тане в тот же вечер, после уженья. Но что-то мешало. Что-то никак не могло еще вызреть во мне — ни зачин (я имею в виду слова), ни сама решимость.

Я не пошел.

Почему-то — вне всякого смысла и логики — был я уверен, что Таня придет сама...

7

Она и пришла.

На другой день в обед — бабка только что убрала со стола тарелку с недоеденной пшенкой.

Она остановилась перед моим окном с Крикуном на руках и побарабанила кончиками ногтей по стеклу распахнутой рамы. Ненужно, потому что знала, что и без того ее вижу. Бледность ее щек, как часто у смуглых, была землистого цвета.

— Можно к тебе на минутку? — спросила она.

— Что за вопрос! Сейчас я отопру дверь...

Войдя в комнату, она пристроила конверт с торчащим сверху красным колечком соски на мою койку и села у стены под гитарой, свисавшей на грязной ленте с гвоздя.

— ...Чья это гитара?

— Хозяйкиного сына. Он бренчит, когда приезжает по воскресеньям. Между прочим, у нее совсем приличный звук.

Она сняла гитару с гвоздя и стала пробовать настройку, подтягивая колки. Потом негромко начала нащипывать какой-то цыганский перебор. Я следил, как белели ее пальцы, твердо прижимаясь к ладам, а отлипнув — становились розовыми, на мгновение беспомощно повисая в воздухе. Кажется, они у нее дрожали.

Она проиграла свой перебор раз, другой, низко наклонясь над декой, так что упали две темные прядки волос, загораживая от меня лицо. Начала в третий и оборвала на толстой, уныло загудевшей струне:

Скажи, веришь ты в наваждение?

— Наваждение? Не совсем ясно, о чем ты...

— О том... такой, понимаешь ли, кошмар наяву. Накалывает на тебя что-то мутное, как наркоз, и несет... И ты

чувствуешь уже не по-своему, а... не знаю, как объяснить, вроде по-чужому совсем...

Бывает, вероятно, и такое.

— Было со мной...

— Давай не будем о том, что было, а лучше — о перспективах.

Она задумалась, потом звонко доиграла оборванный перебор до конца и приглушила струны ладошкой.

— Как ты считаешь: может человек разом изменить свою жизнь? Так, как будто ничего прежде и не было, а все совершенно заново?

— Если этому человеку девятнадцать лет, — может, конечно.

Конверт на койке засопел и зачмокал. Таня подошла к корзинке, сунула Крикуну в рот выплюнутую соску и села опять.

— Я получила письмо из Жиздры, — сказала она. — От тетки. Зовет к себе.

Ба! в самом деле: у нее же была в Жиздре тетка, учительница. Я как-то об этом совсем позабыл, а между тем, может быть, это был выход.

— Погостить зовет или жить у нее?

— Жить. Обещает устроить преподавательницей в начальной школе. И сразу же запишусь на заочный педагогический...

— Послушай, Танюша, ведь это лучшее, что можно сейчас придумать!

Уехать мне в Жиздру? — переспросила она.

— Ну да!

— Ты думаешь?

Что-то в ее голосе, в выражении расширившихся зрачков, уставленных в мою переносицу, остудило мой пыл. Она впервые после долгого перерыва смотрела так на меня — лицо ее, я заметил, стало тоньше и одухотвореннее за последние дни: запавшие щеки, глазницы в мягких голубоватых тенях, румянец чуть внятный и быстрый, похожий на вспыхи-

вающую паутинку. Да, она настоящая красавица, Таня! Меня вдруг словно бы повело всего к ней, и стало за что-то со-вестно...

— Разумеется, ты можешь оставаться и здесь. Это только один из возможных вариантов, Жиздра... — пробормотал я.

Крикун снова выплюнул соску и заблажил. Удивительно требовательно и свирепо кричат эти маленькие садисты!..

— Мы намокли по горло, — сказала Таня, поворотив конверт. — Нам надо домой. Может быть, ты зайдешь вечером, или, лучше, завтра в обед, и мы продолжим об этом?

— Мы можем продолжить и сейчас, если хочешь. Я вас провожу...

Мы шли, касаясь друг друга плечом на узких витках тропинки, и я искоса поглядывал на выжидающий профиль рядом. Когда Крикуна утрясло и он стих, я изложил ей другой вариант, который не получился при первом нашем, месяц тому назад, разговоре. Конечно, она могла устроиться на работу и здесь. Тоже, пожалуй, и поступить на заочное. Я брался сам утеплить ее теперешнюю дачку на зиму и напасти дров...

Она слушала сосредоточенно, даже слишком, будто хотела расслышать что-то еще за моими словами, и я, как шофер на подъеме, сильнее прижимал педаль, чтобы звучало уверенней то, что я говорил. Увы! вариант с Жиздрой казался мне самому много разумнее. Оставаясь здесь, она, а значит и я, оба мы вместе, должны были еще справиться с Пэром, с его письмами и, кто знает! с какими другими его претензиями и выкрутасами. Этот проклятый Пэр испортил мне добрую половину моего монолога, потому что я никак не мог решить, нужно и можно ли о нем упомянуть. «Наваждение» — это она, конечно, имела в виду то, что у них с ним было. Казалось немыслимым задевать эту тему резче, чем задела она сама... Впрочем, я все-таки Пэра назвал, когда уж подошли к ее дому. «Старик, — сказал я, — мог бы давать кое-что из своих гонораров на внука».

Ни за что! — перебила она, вспыхнув. — Я не желаю!

В общем, это и не важно, — сказал я. — Важно твое решение.

— Мое решение! Мое решение!..

Отвернув лицо, она долго и ненужно расправляла мятые сборки конверта. Только потом, возвращаясь домой, понял я, как мне хотелось в эту минуту притянуть ее к себе и обнять.

— Я подумаю! — сказала она, толкнув дверь в тамбур. — Значит, зайдешь к нам завтра? Пока!..

8

Но на завтра пришел мне вызов в Москву.

Я послал с бабкой Тане записку и уехал, увозя с собой странный груз последней с ней встречи, от которого пробо-вал и не мог освободиться целых два пыльных московских дня и целых две полубессонных московских ночи. Станный — потому что вершиной его, над нелегкими вовсе тревогами и шипками совести, было легкое и радостное видение Тани. Я видел ее выжидающий профиль, пристальные косящие чуть зрачки, уставленные в мою переносицу, слышал дрожь в го-лосе, которым она выговорила свое «пока», чувствовал при-косновение ее плеча, больших теплых рук и — не знаю, как все это изложить, — что-то, до времени примороженное, растая-ло вдруг и поплыло, захватывая и волоча, как стремнина. Что именно — не взялся бы и теперь, четверть века спустя, разо-брать, но не чувственность; может быть, лишь самая малая толика чувственности, скорее же всего — нежность. На ней и плыл всю последнюю ночь, обдумывая и выбирая причалы. «Обдумывая» — не то слово, потому что как раз вовсе ниче-го и не обдумывал, послав, как Пэр, «к чорту логику» и рав-нодействующие, оставив одно только чувство, которое к ут-ру и вынесло на берег.

Я решил рассказать Тани все.

Покаяться в фальши и самонадеянности и рассказать.

Как, в самом деле, случилось, что я позволил себе так своевольно и грубо вмешаться в ее и Славки трагедию? Легко или тяжело будет она нести свой крест?.. Дождется ли Славку из лагеря или забудет?.. Может быть, дождется, может быть, нет — забвение тоже, в конце концов, благо и дар! Кто дал мне право решать самому все эти вопросы? У меня — так мне, по крайней мере, в то утро казалось — было одно только право в отношении Тани, — право на нежность...

С ним и вернулся в свое подмосковье на третий день к вечеру.

Долго сидел после ужина, дожидаясь, покуда стемнеет, — Таня, я знал, купает сейчас Крикуна, и только искупанный он перестанет блажить и заснет, то-есть не будет мешать...

Пруд уже поседел по-ночному, когда я вышел из дому, и пели лягушки. При известной фантазии можно было представить, что поют это звезды, лежащие на воде, золотыми контрольными горлышками. Невнятным пунктиром чиркнула от середины к камышам звезда. Августовская была ночь. Звездопад.

Припоминаю все это уже задним числом, а тогда почти бежал вдоль берега, весь распираемый нетерпением свиданья, каких-то мерещившихся теплых прикосновений и слов, от которых занимало дух, — чорт знает как это все было не-лепо!..

Вот оно, наконец, Танино освещенное окошко. Чем-то не совсем обычное, не похожее на себя (это я тоже только потом, задним числом, отметил).

Дверь в тамбур раскрыта. Я постучал во внутреннюю. Раз, другой...

Молчание.

Я потянул скобку на себя.

9

И человек глядит кругом:
Она в момент ухода
Все выворотила вверх дном
Из ящиков комода...
И наколовшись об шитье
С невынутой иголкой,
Внезапно видит всю ее
И плачет втихомолку.

Эти строчки могли бы быть превосходным эпиграфом к последующему. Но привожу их не как эпиграф, но как собственное свое переживание в те несколько секунд, когда переступил порог. Они не могли придти мне тогда в голову, потому что не были еще и написаны, но их простой скорбный лад, похожий на неровное биение сердца, их потаенная щемящая музыка были, как мне теперь представляется, именно тем, что охватило меня тогда...

За столом, уронив голову на руки, сидел Пэр. Керосиновая лампа рядом густо коптила. Он сидел на тахте, с которой сняли ковер, обнажив деревянный топчан и тюфяк, щерившийся соломой. Не было и занавесок (и это потому казалось не своим снаружи окно), ни скатертей и мережек на полках, ни Таниных любимых окантовок по стенам. Была пустота, мятые клочки газет на полу и вытряхнутая из сенника в углу горкой сенная труха. Да, был и комод, вездесущий, пузатый, тарашившийся полувыдвинутыми ящиками с дырами вместо личин, похожими на беззубые десны.

Таня уехала, не дождавшись меня!

Пэр медленно поднял лицо, очень белое, по-лошадиному вытянутое.

— Она уехала, — проговорил он хрипло, с усилием ворочая языком и странным образом вполне безразличный к моему появлению. — Уехала. Тебе есть письмо...

Он долго не мог попасть пальцами во внутренний карман пиджака. Он был пропитан алкоголем, как губка. Я установил

это, подойдя ближе, чтобы подкрутить лампу. Две пустых коньячных бутылки и два стакана стояли на мятой в мокрых потеках газете, застилавшей стол. Еще — глиняная миска с маринованными подосиновиками, склизкими, с выеденным укусом оранжевым верхом и чернильным исподом. Закуска!

Он наконец протянул мне конверт, рвано вскрытый по склейке — очевидно, подсунутым карандашом.

Всего две строчки:

«Я уехала. Ты знаешь, куда. Извини, что не успела проститься. Но я обязательно скоро тебе напишу.

Таня».

— Вы, однако, прогрессируете, — заметил я. — Распечатаваете чужие письма. И с кем, между прочим, справляли вы здесь поминки?

— Хозяин. Он принес этот ма... маринад. Куда она уехала? Скажи!

— И не подумая. Вам вовсе не требуется знать.

Он вдруг привстал с неожиданной легкостью и, перегнувшись через стол, уцепился трясущимися руками за лацканы моего пиджака:

— Ты скажешь! Скажешь!.. — зашипел он в совершенном безумии. — Я требую!..

Я не рассчитал силы, отшвыривая его на тюфяк, и он стукнулся о бревенчатую стенку затылком.

— Предупреждаю: — сказал я ему, — пока я помню еще, что вы Славкин отец, но могу и забыть!

Подбородок его выкрутился оскорбленно, но тут же дрогнул и отвалился вниз.

Я ее обожаю... — протянул он слезливо. — Боготворю!

Знаете, как такое обожание называется? Между нами?

Это был несчастный случай. Только несчастный случай. Наваждение...

«Тоже и этот — о наваждении» — подумал я, и мне стало душно. Может быть — от копоти, густо копошившейся

в воздухе. Я открыл окно и сел у края стола, на табуретку.

— Я тебе все расскажу. Все, как на исповеди... — начал он вдруг ровным, будто протрезвевшим голосом. — Клянусь, я пальцем боялся к ней прикоснуться! Дохнуть на нее... Я художник и впечатлителен, и эта наша скученность, теснота, когда не хочешь, и все равно видишь то, от чего нужно было б бежать, и в тебе все кипит... Но я... я держался. Клянусь! Бог один знает, чего это мне стоило. И вдруг она заболела...

Кто? Таня? Когда? Что за вздор...

Она заболела. Недели две было тому назад... Понимаешь, в связи с кормлением. Молока у нее на полдюжины Крикунов, а эта гнусная, как ее, резиновая штука, чтобы отжимать, не помогала нисколько. Сдавливало в груди камнем и получалась боль. Мы боялись воспаления, грудницы, и я тогда предложил... Знаешь, есть такая трогательная поэтическая легенда...

— К дьяволу поэтические легенды! Что вы предложили?

— Помочь... Отсосать ей это лишнее молоко. Когда родился Славка, у моей покойной жены было совершенно то же самое, и я помог. И все прошло за несколько дней.

— Но, чорт возьми, то была ваша жена. А тут — Таня! Не надавала она вам пощечин за такое предложение?

— Почти. Сначала... А после долго смеялась. Потом сделалось ей раз совершенно неважно, и она вдруг согласилась попробовать. Прими во внимание, что она невыносимо страдала. Еще прими, что почти не рассматривала меня как мужчину. Знаешь, были в старое время шикарные молодые помещицы, которые купались при своих лакеях либо истопниках.... Понятно, она потребовала, чтобы в комнате было абсолютно темно...

— Ну и...?

— Все удалось прекрасно. Ты не представляешь себе, какое облегчение она чувствовала каждый раз.

— Иными словами, «помощь» повторялась и дальше?

— Да, помощь, помощь!.. Да, повторялась и дальше. Бескорыстно и целомудренно, вплоть до этой несчастной ночи...

Какой ночи?

Ночи, после которой заявился к нам ты. О! — под-
выл он, стиснув зубы, — какая нечистая сила тебя тогда при-
несла! Как ненавидел я тебя в то утро! И как ненавижу те-
перь!..

— Оставим меня, — сказал я. — К тому, что случилось,
мой приход не мог иметь отношения. Главным актером бы-
ли вы.

— Актером, актером!.. Да, именно актером, но не пре-
ступником. Кто, кто на моем месте мог бы противостоять!
Слушай: она сидела вот здесь, на краю тахты, а я на коле-
нях рядом, примерно, где сейчас твоя табуретка, весь на-
стороже, как всегда, чтобы даже нечаянно не дотронуться
до нее в темноте. Было уж почти кончено все, вся процеду-
ра... И вдруг она обхватила меня за шею — вот так, сгибом
локтя, и притянула к себе... Я не знаю, не мог понять ни
тогда, ни теперь, не пойму никогда, что это означало и
почему она это сделала, но это было больше, чем последняя
капля... Я задохнулся, все пошло кругом в бедной моей голо-
ве. Я тронул ее руками, услышал, как дышит ее тело. У нее
горячее дыхание!.. О, ты молокосос и неопытен, ты не зна-
ешь, что это такое — горячее дыхание, какое это страшное
приложение к красоте! Это — как вулкан, как раскаленная
лава — беги, беги опрометью или тебя засыплет...

— Вас — засыпало?

— Потом... — продолжал он, не слушая, — было что-то
вроде истерического припадка. Бесконечно долго, я чуть не
умер со страху. Она скрежетала на меня зубами, и я робел
подойти... Потом потребовала, чтобы я дал ей коньяку.

— И вы дали, конечно?

— Она велела, ты не знаешь, как она умела приказы-
вать! Мы выпили всю почти непочатую бутылку, почти на-
равне, и всякий разум погас. О!.. — простонал он и, при-

крыв ладонью глаза, стал раскачиваться в стороны, словно от зубной боли. — Здесь я, может быть, действительно вел себя как преступник. Но был пьян и совсем вне себя. Помню, я зажег свет и хотел непременно писать ее тут, на тахте, в этих разных подушках. Искал ракурса... Помнишь эскиз, за которым ты меня застал там, в Москве? В этом духе... Словом, выбирал позы. Она была вся в прострации и позволяла делать с собой все, что хотел...

Мне вдруг стало невыносимо это его раскачивание, дергающийся под усами чувственный рот, чуть похожий на Славкин. Какая-то раздражающая театральность примешивалась, как всегда, к его жестам и голосу даже в самые искренние порывы, и что-то липкое, самонаслаждительное шевелилось за его словами.

— Хватит! — сказал я.

Он не слышал, продолжая как в трансе:

— Наваждение!.. Казни меня, но я казню себя сам... Потом, после паузы, которую не припоминаю сейчас, как провал, я позвал ее к себе на сеник, за занавеску. Позвал как владыка, как власть имущий... о я, несчастный!.. Но разве я соображал хоть сколько-нибудь, что творил? Я был в безумии... «Таня», позвал я ее. «Иди сюда... Иди, тебе говорят!»... И она пришла...

Я поднялся, уронив табуретку. Бешенство душило меня.

— Послушайте, вы... Как смее вы все это рассказывать? Знаете, что мне сейчас хочется с вами сделать?

— Только тебе... Только тебе одному, Богом клянусь! — залепетал он, дрожа. — Первый и последний раз, чтобы только облегчить душу. Святое святых для меня, и никто... никогда...

Лицо у него вдруг стало зеленым, и судорожно выкатился и запрыгал кадык. Скорчившись он выкарабкался из-за стола, пошел заплетаясь ногами в тамбур, толкнув плечом дверь. Я слышал, как долго и отвратительно рвало его за порогом.

Сквознячок потянул через комнату, шевеля на полу клочки бумаги и сennую труху в углу. Странно: мне всегда после казалось, что именно этот сквознячок, прохладный и острый, пахнувший августовской ночью, как-то удивительно быстро и ловко привел меня в себя. Мне вдруг сделалось необыкновенно легко и просторно. Что-то мутное, тревожное прояснилось и отлегло, и все стало на место. Я понял вдруг, что непременно и скоро, может быть, даже завтра, поеду в Жиздру, и предстоящее объяснение, слова, которые должен был Тане сказать, легко и свободно складывались теперь в моей голове.

Пэр вернулся, мокро дыша, протиснулся на топчан снов, сел в той же позе, в которой его застал, — уронив на руки голову с седым петушиным хохлом.

—Надеюсь, вы в состоянии что-нибудь понимать? сказал я ему. — Вот: вам категорически запрещается разыскивать Таню. Также рассказывать всем, что она-де от вас уехала. До особого распоряжения, потому что, если она разрешит, я, конечно, сообщу вам адрес. Но пока — воздержитесь! Сейчас я ухожу, а вам надо проспаться. Лампу потушу, чтобы вы, чего доброго, не устроили здесь пожар...

Он молчал.

Я задул лампу и вышел ощупью, поскользнувшись и едва не упав на наблеванной недожеванными подосиновиками луже.

Вышел прямо под небо с падучими звездами — мое подмосковное небо, ситцевенькое днем, а теперь торжественно-парчëвое, как бальная роба, с полумесяцем-шифром, подколотым на плече.

Пели лягушки.

Тропинка вильнула к причалу, застланному слоистым туманом. От него несло мокрым деревом и кувшинками, а с суши плыли парные, почти жаркие вздохи травяной прели и донника.

Земля дышала горячим и чистым дыханием, чудесно от-
решенным от наших малых тревог.

Да, мне было необыкновенно легко и просторно. Я знал
теперь все слова, которые скажу Тане, ласковые и утеши-
тельные, которые ей скажу. Их подсказывала мне ночь — я
нанизывал их на память, как бусы.

Я не знал только, что поездку к ней в Жиздру перело-
жу на зиму, потом на весну, потом — на каникулы, когда
начнется война. Не знал, что навсегда останется со мной го-
речь одной не раскаянной до конца ошибки.

Этого ночь мне не могла подсказать, и потому было мне
так вдохновенно-бездумно и радостно продираться по заплу-
тавшейся в ивняке тропинке.

Сыпал лягушачий джаз. Тонкие ветки, цепляясь, обда-
вали мне щеки росой. И падали звезды...

Норман, 1963

Л. Ржевский

**
*

Дождь перестал,
я вышел за кометой,
бледнел закат за Вислой на посту,
и фрески Краковского предместья
в готическую плыли высоту.

Гудел костел,
тяжелые органы,
наполненные битвами славян,
и Вавеля расколотые грани
орел окровавленный не клевал.

Костюшко,
вольность на отеческом помосте,
святая Богоматерь на углах,
о, дождь прошел, прошел до самой кости,
до белой глины, до-гола.

О, дождь прошел над Польшей недалекой,
и вымокшая в летний праздный день,
червленная,
с холстинной подоплекой
пристроилась сушиться на плетень.

НОЧЬ

В золотом тумане гасят свечи,
словно поднимая якоря, —
близкие батистовые встречи,
дальние заливы и моря.

На певучей маревой испанке
грузно раскололась бирюза —
два бенгальских пламени в осанке в
гавани раздули паруса.

Гасят свечи,
за морем в Алжире,
в зареве разорванной луны —
женщины, прожекторы, жуиры,
кружевные медленные сны.

**
*

*«Кто на снегах возрастил
Феокритовы нежные розы?»*

Ветер, — свежий Жуковским и Фетом,
полный Пушкиным, пуншем и грогом,
наклоняет к слепым поэтам
непроглядную к звездам дорогу.

Ветерки в опаленной пустыне,
отгоревшие в мире звезды
собирают зимой и поныне
поднебесные рифмы в гроздь.

Как дымки сгоревших вулканов
вьются искрами по дорогам —
перс Саади с Ширазским Диваном
и Гораций с Эоловым рогом.

Налегке, между дыма и льдин,
выброшенный на планеты,
выхожу на дорогу один,
как в Элладе слепые поэты.

Яков Бергер

И С К У С *

Перед отъездом матушка, густо закрещивая Кира от всяких бед, всхлипывающим, припавшим к его плечу шепотком наказывала ему писать ей почаще и поподробнее; Кир тоже всхлипывал, подшмыгивался и клятвенно репел писать чаще и подробнее — но писать было не так то легко: в Кушевке он сбился со стези действительности, сбился с панталыку; он — если взяться за голову — уже едва, едва разбирался в том, что было и чего не было, и что вообще творилось в этой Кушевке, где шла своя какая-то изнурительная и даже немного жутковатая жизнь, решительно ничем непохожая на то размеренное чередование дней недели и часов дня, когда всегда было можно примерно и наперед знать, чему суждено быть, скажем, нынче вечером или завтра утром, в тот или иной из дней: скучноватому пробуждению в послепраздничный кисленький понедельник; деловой плотности коренастого работяги вторника; рисовым пирожкам или пирожкам с грибами в худенькую розоватую полупостящуюся среду; перемене книг в городской библиотеке от 4 до 6 в день квадратный и черный—родной дядя вторнику—четверг; весьма возможному — если матушка не усматривала в картине чего-нибудь слишком голого или хулиганского — посещению кинематографа в пятницу, приходящуюся тетушкой на постном масле полупостной средужке; чудесной и недолгой — только от полудня — вольности, освобожденных от уроков, черных, худощавых и милых гимназических суббот, заглядывающихся под вечер

* См. кн. 73 «Н.Ж.».

на завтрашнего и, увы, недолговечного, всего только на один день, красного козыря недели — воскресного баловня, привыкшего к позднему вставанию, к нарядному, слегка надушенному и шуршаще шелковому пришествию матушки после литургии, к крахмальной чопорности праздничного обеда, иногда запятанного ворчливым отчаянием Марьюшки, по поводу скатерти, за которую, истинный Бог нельзя сажать этого человека — и Бог знает чему еще, милому, домашнему, степенному, чего не было и в помине в Кушевке: здесь каждый день, всё равно какой день, уж при самом утреннем своем зачатии таил в себе некое неблагополучие и вздорность: как тот первый с тремя Марусями и Чекмарем, как тот, последующий за ним, оказавшийся воскресным, хотя ничего красно праздничного в нем, кроме календарного листка, да еще, пожалуй, малиновой по колени, с дамскими буфами, кучерской рубахи Опонаса, не было. Началось с самого утра, началось с того, что Опонас, наперекор воскресному дню, наперекор себе и вообще всему на свете наперекор, несмотря на праздничную рубаху (или именно поэтому) долго чистил конюшню и вычистил и переворошил ее так, что вокруг завоняло, как на извозчицкой стоянке, кислой мерзостью навоза, а покончив с конюшней, вывел лошадей к колодцу и вычистил и вымыл их просто на загляденье: похудевшие в пахах, глянцевито влажные, с детскими челочками на лбу, Киргиз и Маруся, слегка потупясь, только перебирали еще не просохшими копытами черепахового цвета, такие хорошие, такие хорошие, репел, тянулся к ним шеей Кир, дожидаясь самого интересного: когда лошади будут пить студеную лимонадную воду, чтобы и самому впригляд, всласть поцедить ее сквозь зубы; а кроме того, ему так и не терпелось лошадически поохоховать и пошлепать жеребца Киргиза, по ошибке бывшего до вчерашнего дня кобылой Маруськой, и лошадически по всем статьям повосхищаться его жеребиной ладностью, чтобы Опонас смекнул, что он, Кир, не таковский — разбирается все-таки в лошадях, и, уж во всяком случае, может отличить кобылу от жеребца. И

все вначале было очень хорошо, очень удачно, совсем так, как он про себя перед этим прикидывал: он и пил и охогокал и шлепал жеребца, а Опонас, сдерживал под монгольскими усенками улыбку, с пузырьками слюны, приязнь, дымил свою слезоточивую цыгарку, и все это повидимому одобрял — ничто, решительно ничто, казалось бы, не угрожало благополучию столь пленительного общения: предполагать, что обратившийся намерен жеребцом Киргиз вовсе не вывернутый наизнанку с двумя оборотными э и с мягким усеченным хвостом — жэрэбець, а всего только сдавленный поперек живота (отчего «о» сузилось в «и») кинь, Кир, конечно, не мог уже по одному тому, что ему в голову не приходило, что жэрэбець это одно, а кинь — что-то другое. «Кинь, а почему?» — только и пробубльнул он. «Бо ему одрзали» с милостью и хитрой придурью усмехнулся хохол, — а что отрезали и зачем отрезали Кир в жарком недоумении спросить и не посмел и не успел: Опонас скаречно, про себя, и теперь спиною к Киру потешаясь, пошел к конюшне, а за ним дважды оборотень (из Маруськи в жеребца, а из жеребца в киня) Киргиз, а за Киргизом намерен женственно преображенный жеребец, пожалуй что кобыла Маруська, а там кто же его знает — у Кира голова, которую он драл за волосы, была как неживая — тоже может быть кинь, а может быть даже какой-нибудь иноходец или мерин: бываю смятенно вспомнилось ему — и такие лошади на свете.

Хохол же между тем залез на сеновал, день между тем продолжался, и теперь чудил крестный: и на него так же, как на Опонаса накатила деловой стих. После обеда, вместо того, чтобы задать храповицкого или ловить сбегавшую вчера Маруську, он сел в яблочной комнате за письменный стол, выгреб оттуда ворох бумаг, обложился ими и начал лихо, со вкусом и полновесным стуком щелкать костяшками счетов, и копался в бумагах, пока у него не отвалилась голова: он всхрапнул. Потом вздрогнул, встряхнулся и снова приналег грудью на бумаги и счета. В конце концов, и очень скоро, дрема, конечно, все равно овладела бы им, ибо над кни-

гами, над бумагами еще со школьной скамьи его неизменно заваливало поспать; но тут как раз во-время — его опять было завалило — подоспел мелко и скверно чем-то озабоченный Чекмарь. Они кинулись друг к другу носами и с преступными лицами, со взглядами вразброд, сальным, потрескивающим шепотком зашептались насчет того, что если дадут пятьсот, чорт с ними, пусть берут, а нашептавшись, расстались: Чекмарь выбежал из комнаты, а Шаблюкин и нужный ему сквозь зубы и до зарезу Кир подошли к окнам галерейки, откуда было отлично видно, как бесовски проворный, почти вдвойне суший — пока один кинулся из дверей, другой был уже на дворе — Чекмарь распахнул ворота, въехали две подводы, запряженные мелкорослыми лошадьми самой плебейской, бесполой наружности — не жеребцами, не кобылами, пожалуй, что просто конями; правили ими, сидя на притыке, бородатые надутые мужички, вероятно те самые, которые если дадут по пятьсот, чорт с ними, пусть берут. Они остановили своих просто коней посередине двора и один за другим, не спеша, с отдувающимся уважением к себе, нарочито толстая для торгового представительства, обстоятельнейше слезли с подвод и взялись руками за бороды, на то верно даденные им, чтобы было за что держаться при подобных обстоятельствах. Чекмарь егозил, обхаживал их. Затем все они — мужички поотдувшись, Чекмарь поегозив, — сошлись в кружок и начали — у мужичков в руках борода, у Чекмаря рука под бородой и на сердце — хитрить и торговаться. Крестный закричал: ему по каким-то очень хитрющим, очень себе на уме соображениям, нельзя было встрять в кружок, он не мог, — а как ему хотелось, Боже как ему хотелось — орать, хлопать по рукам и прикидываться то кисло разочарованным, то яростно озарясь отчаяньем последней, себе в убыток, уступки, лезть на рожон торговой гибели — лишь бы угодить хорошему человеку: всё это Чекмарь проделывал без него. И он мучался оскомным вождедением, его томила иссушающая жажда неизвестности: порою, через стекло, казалось, что сделка совсем налаживалась, но

вслед за этим Шаблюкин, а за ним Кир, начинали вдруг кричать и взапуски топтаться на месте — похоже было на то, что сделка проваливалась: пятились, прятали за спину обожженные разочарованием руки мужички, клялся с рукою на сердце себе в убыток Чекмарь, и на прямых ногах отходил прочь. Они сходились и расходились раз, два, три раза, — Шаблюкин и Кир кричали, как у зубного врача. Прошел час, два часа, три часа, сто часов, прошла целая вечность, и Шаблюкин, не выдержав наглухо застекленных в галерейке мучений, сделал водянистые глаза и велел Киру пойти и пронюхать, в чем же там на дворе дело: он раздул ноздри и поклевал носом — показывал, как нужно разноухивать, в чем же там на дворе дело. Кир преданно кивнул головой, и сгоряча и неосмотрительно счастливый оттого, что его наконец-то впустили в ту заповедную область взрослой скверны, куда ему до сих пор не было никакого доступа, не теряя времени, с раздутыми ноздрями тотчас же отправился разноухивать, в чем же там на дворе было дело. И первую половину пути, вопреки своему нытику, который с первых же их совместных и недружных, не в ногу, шагов завел свою покаянную песню, он проделал превосходно — как нельзя даже, как нельзя хитрее: он просто извивался вокруг себя, сам себе на уме от хитрости; и тем более было обидно, до слез было досадно и обидно ему от того, что приключилось с нею, с этой извивающейся хитростью на полпути — она иссякла, иссякла до последней капли; а о его недружной, не в ногу с нытиком, гадостной прыти и говорить было нечего: он двигался всё вязче, всё медлительнее, и повис наконец на крюке согбенного стыда и отчаяния неподалеку от амбара, где попрежнему сходились и расходились в жульнической жох-кадрили жох-мужички и жох-Чекмарь. Дальше хитрить и двигаться ему было невмочь: покаянный нытик доконал его. И крестный сразу же догадался об этом: он сжал кулаки и мстительным и негодующим духом своим просочившись из галерейки на двор, подбежал к растяпе на неслышных духовных на цыпочках и ха-а-рашенько двинул его по шее, — развенели

стекла, Кир ткнулся было на полшажка вперед и опять повис: нет, не могу. И, конечно, он так и не разнюхал, в чем там на дворе было дело: горбясь, отсмаркиваясь, он постоял-повисел на крюке отчаяния, а потом боком, с ничего невидящими глазами и заложенными изнутри ушами, понезаметнее пробрался в темный сарайчик, в котором намеренно истязали Маруську, и там тихонько затаился в щелке: податься ему было больше некуда. Подобно крестному, тоже в духовном порядке, только в обратном направлении, он просочился было из щелки на галерейку — и мигом во весь дух дал оттуда стрекача, и еще глубже влез в щелку и прищурился из нее на один более зрячий глаз: мужички и Чекмарь хлопали уже друг друга по рукам — сторговались, сговорились на пятьсот. Затем мужички, похудев и оживясь и уже без всякой степенности, нагрузили подводы ребрами и донышками бочек самобранок и поскорее бежали со двора. Чекмарь закрыл ворота и убежал к Шаблюкину — докладывать как и что. Двор, позлащенный посередине свежим навозом, опустел. О Кире в его щели, слава Богу, забыли. Он таился в ней до сумерек.

Вечером Шаблюкина опять дома не было — вероятно опять пошел пожирать на пари селедку; Кир, как и в прошлый раз, попрежнему искал опору у колодца, и нынче не смягчившегося под его заискивающим локтем, слонялся под стенками конюшни и амбаров, попрежнему несклонных к дружеской поддержке, без успеха хитрил над камнем непоседой в углу двора, а после издали неразделенной трапезы с гундосенькой, дожидаясь, когда она утрется призадумавшимся под подбородком кулачком и уйдет к себе подстергать крестного — тоскуя по сторонам рассеянно взыскующим взором, взглянул между прочим и в освещенную керосиновой лампой летнюю кухню, где вечеряли обычно Опонас и Маруська, взглянул и вытянул шею: попрежнему кучерски по колена малиновый Опонас безмолвным, кисло усмевающимся идиолом расхаживал взад и вперед под навесом, и проходя мимо Маруськи, которая помешивала что-то в чугушке на печке, якобы невзначай задевал ее плечом. Маруська, отшат-

нувшись, отпихивалась от него локтями, давала зуботычины — Кир корчился — а Опонас, как ни в чем не бывало, оборачивался, и опять идилом без страха и упрека наступал на девку, и Маруся — Кир закрывал лицо — опять пихала, тыкала его локтем в бестрепетно усмехающиеся губы. Кир совсем изнемог от побоев, и едва гундосенькая вспомнила про свой кулачок — утерлась им и ушла, он пробрался к себе и рухнул там на диванчик. И в ту ночь Шаблюкин не явился в яблочную комнату отрыгивать зловонными воспоминаниями о селедках — гундосенькая повидимому проспала, не поспела понюхать его в усы и вытолкать из рая вон; и может быть поэтому, а может быть просто так, ни с того ни с сего, наутро за семейным завтраком его одутловато расперло хозяйственной заботливостью, сродни той, от которой отдувались намедни продувные мужички: тяжело в обе щеки солидничая, он перво-наперво и не спеша, низким голосом скопидома и домостроя осведомился у гундосенькой что-то насчет отобранных (отобранных ли?) для засолки огурцов, а когда гундосенькая к нему и не обернулась, с сумрачной обстоятельностью посетовал, что всюду и обо всем должен заботиться он, один он; он даже постарел и пообрюзг: такие то, со всхлипывающим вздохом, дела, Кир. Кир потупился; он не ошибся: началось.

После скверного, долгого в упор молчания крестный занедужил назидательной скорбью, потому что так жить в тумане, в небесах, как ты живешь, Кир, нельзя, да, нельзя, он махнул рукой и ощупью тронулся по тропинке воспоминаний в наше время, в твои годы, когда мы (я, Валечка Майсурадзе, Жорка Бородаев — золотое было времячко, золотая молодежь) были уже вполне самостоятельными, с внезапной одутловатостью, людьми и бывало даже, внезапно оживясь, зарабатывали: там смотришь — клюв, клюв носом — в картишки, там — клюв, клюв носом — на биллиарде; и вот как сейчас, с водянисто налившимися глазами, вижу, как однажды — не мешкая возникший и вставший из-за стола и прищуренный на один водянистый глаз Валечка Майсурадзе за какие-нибудь

десять минут выставил из монеты одного залетного пижона. Каким образом? — Очень просто: Валечка — Шаблюкин небрежно молодецкий, слегка даже потряхивающийся от этого молодчества, положил на стол сложенные бильярдным кукишем пальцы, потыкал в ложбинке между ними волшебю объявившимся в другой руке у него жальцем кия, и трахнул им по призракам бильярдных шаров, просвечивающих сквозь стаканы и тарелки на несвежей скатерти так, что аж чертям стало тошно: шары метнулись врассыпную, а пижона аж покривило. Довольно жалко форся, он тоже пихнул кием, и, понятно, кикснул. Шаблюкин усмехнулся, взглянул на Валечку; а тот, сукин сын, смотрю, — разошелся уже во всю: кокетливо распустив губы, с небрежностью бильярдиста Божьей милостью, он не то с борта, не то от борта и с вдохновенно задранной ногой — и как-то резал шары и как-то клал их, резал, клал, и замотавшиеся, сбитые с толку, оглушенные непрерывными щелчками по лбу шары один за другим кувырком плюхались в лузы — такие сетчатые мешочки, едва успел припомнить сбитый с толку, оглушенный Кир, едва поспевая за Шаблюкиным, который уложив в лузы все шары, в творческом вполпьяна на лихаче воспоминаний катил уже вместе с Валечкой Майсурадзе куда-то за город. По дороге он попытался было одутловато в обе щеки остепениться и сбавить рыси своему захмелевшему, рассказавшемуся рассказу и свести его на ломовую поступь назидательного, с педагогической скорбью повествования — увы, тщетный и напрасный труд: ретивое неудержимо несло его вниз, под гору, в пропасть, и он со счастливым и отчаянным видением перед очами иного, разгульно кабацко бильярдного, кверху тормашками летящего мира, и свалился и ухнул наконец, откровенно говорю тебе, Кир, в бардачок, свалился, ухнул и обмер, вытаращившись и обалдев в мгновенно оглохшей, безмолвно обвалившейся вокруг него и Кира тишине: стоп. «Похабник! — сказала гундосенькая». Я? — глухо уставился перед собой крестный: «Я»? — Погодя он, конечно, спохватился и разверз свое очнувшееся и вознегодовавшее

Я до широчайшего, сколько влезло в глотку, во весь рот возмущения; но всё равно: день как-то не налаживался на обычный полусумасшедший ладох — всё было не то, не то. И пошумев, сколько надо или даже немного меньше, Шаблюкин приумолк, глаза его завело птичьей пленкой, он заскучал, и неожиданно — Кир, протирая очки, проворонил его — исчез; Кир склонил на зрячий бок голову, вытянул шею: стул напротив него, где только что скучал крестный, был пуст.

Шаблюкина не было до полудня, Кир был почти счастлив — ловить собак было не надо, выклеивать, вынюхивать в чем дело — тоже; его куда не волокли, не томили тягостными загадками; однако же, чтобы не быть на опасном на виду, он держался от глазастых стёкол галерейки подальше: в большом сумеречном амбаре, доверху заваленном донышками и ребрами бочек самобранок, всегда готовых, попроси только молоток, да долго ли умеючи, тяпни им по картавому пальцу, развалиться во все стороны, он побывал дома, припал к матушкиным коленям и всплакнул, хотя и не так обильно, как приноравливался — суховато, противу шерсти, так что хоть и не плачь; отчаявшись размять душу до желанного навзрыд облегчения, он осторожно и без слёз перебрался в другой собачий сарайчик, в уютную шелку — и здесь ему немыслимо, ну просто немыслимо повезло: Маруська, к которой он совсем близко подкрадывался только по вечерам на диванчике в предобморочном полусне, а днем и наяву и вообще никогда не подкрадывался, потому что подкрадываться к ней днем на людях было всегда исподлобья и в жару счень совестно, — была теперь в пяти шагах от него: широко, спиной к нему раскоряченная над срубом колодца, она едва успевала перебирать, перехватывать руками истекающую вниз веревку с погрохатывающим ведром, и вся вздрагивала, потряхивалась от рабочего рвения; глупейший, раздвоенный, круто отставленный зад ее тоже вздрагивал, потряхивался под юбкой, задравшейся выше коленных поджилок, сокровенно доселе под подолом — по сравнению с красными примелькавшимися щиколотками — полных, нежных, с продольными

ложбинками в сгибах, таких неподозреваемо нежных, что Кир в неистовом благоговении припал к ним губами и полез в карман за носовым платком: из носу у него потекло, очки затуманились.

Он был горячечно тороплив и неуёмен в припадке этой своей, через шелку, ненасытной и нежной алчности, и раскояченная над колодцем, ни о чем таком и не подозревающая, занятая возней с ведром и веревкой, Маруська несколько раз кряду была просто растерзана им, оставаясь в то же время мучительно ему недоступной; и как знать, чем бы кончились его любовные впригляд свирепства — по всему судя, нехорошо: еще немного и его свело бы блаженными корчами — если бы девка с одной вскинутой подобно птичьему крылу рукой и с другой, отягченной книзу полным ведром, вся слегка набекрень, дрожа от натуги помидоровыми шеками, из шелки не вышла.

Кир едва отдышался — и как раз во время: во дворе, неизвестно откуда и неизвестно как опять возник Шаблюкин. День, с самого утра испорченный не очень то удачным выступлением и дальше не располагавшийся удачами: всё было не так, всё было не эдак — крестный хандрил: и куда-то к чорту пропал (затаившийся в своей щели Кир) и куда-то к чорту (крокодилей рысью за помойку) сбежала Маруська: всё нынче было против него. Шаблюкин с треском через полдвора плевался. Потом засунул руки в карманы по самые локти и решительным и свирепым коренастом скрылся в конюшне — попытать удачи хоть там: орать, рассчитывать, вышибать оттуда хохла к чортовой матери. И он орал повелительным, да не очень-то повелительным — с нетвердою подоплекою — голосом, Кир обмирал, горбился в щели, а хохол? — да байдуже было ему до хозяйского негодования: он верно и не ворохнулся на своем сеновале — дремал, скучал, кис. Был он ба-альшая сволочь. Он, а за ним, одним только слухом просочась сюда, Кир ожидали главного: троекратного расчета; и Шаблюкин — на попятный было идти поздно — в тоскливом чаянии последнего на весь двор позора,

во всю глотку рассчитал его трижды, рассчитал — и вместе с Киром прислушался, не отзовется ли? Понапрасну: хохол безмолствовал. Кир вобрал голову в плечи, а что творилось с Шаблюкиным — было совершенно невообразимо. Из конюшни вышел он как некогда выходил от матушки — слишком сам с усам в одной руке, отхаркиваясь, блуждая взором; но после обеда, после трех, четырех рюмок водки его как нельзя правдивее и удачнее разобрало давно обещанными семейственностью и чадолюбием: он и взаправду умел делать подлецу младенцу козу рогатую и усатую, а младенец закрываться от нее обеими ручонками и аукать (не так убедительно, как было обещано, но все же, все же). Почти совсем по обещанному заулыбалась и подобревшая и помолодевшая гундосенькая. Крестный почти по всамделишному утопал в нежном омуте пленительного семейного безрассудства — но не утонул: перед тем, как опуститься на дно, он успел таки ухватиться за соломинку благоразумия, и торопливой, повелительной, без всяких разговоров скороговоркой сегодня, сегодня же — сдержанно скорбя баском при мысли о предстоящей разлуке — начал спроваживать гундосенькую и младенца к стосковавшимся по ним старикам — повидимому гундосеньким родителям. Гундосенькая, опять подурневшая, перестав улыбаться, угрюменько огрызалась, упиралась, но: крестный сидел уже на козлах тачанки, в одной руке у него были вожжи, другой он делал младенцу козу рогатую, и оглянуться не успеешь, в два счета лихо подкатывал к воротам гундосенького родительского дома, откуда с плясовой удалью низвергались по ступенькам, поспешали навстречу дорогим гостям гундосенькие родители. Приплясывающей радости их не было конца: они, гоп кума не журился, обхаживали гундосенькую, щекотали младенца, подпихивали гундосенькую к дверям ее комнаты — одеваться; и она вскоре не выдержала — заплакала от злости и захлопнулась, заперлась на ключ. Шаблюкин припал ухом к двери, задрал брови, приоткрыл рот — прислушался: гундосенькая скрипела дверцами шкафа — значит, одева-

лась. С нею всё было кончено, Шаблюкин отдулся. Потом на невидимом вервии выволоч за собой на двор Кира и передал ему свой горячечно яростный наказ хохлу — немедленно, немедленно же запрягать, а сам присел на крылечко и сейчас же с крылечка вскочил: Кир дошел до конюшни и повис на крюке смятения у входа. Шаблюкин издали дал ему по шее, — Кир ткнулся, переступил порог.

Здрав голову к сеновалу, он долго топтался на одном месте и долго умолял хохла запрягать, умоляю вас запрягать; хохол слушал его и не слушал и глядел и не глядел на него, и от этого Кир топтался, умоляя всё медленнее, всё безнадежнее, всё тише; и только тогда, когда он совсем себе под нос забормотался, поник и приумолк, хохол медленно на спине съехал со свёго сеновала вниз. Невозможно неторопливо он отвязал лошадей, и все — Опонас впереди, лошади за ним, а за лошадьми один за всех суетясь, за всех спеша, Кир — пошли запрягаться в тачанку, которая стояла возле конюшни: там бывшая, обернувшаяся сначала жеребцом, а потом кинем Маруська встала (встал) с одной стороны дышла, настоящая, бывшая одно время Киргизом, Маруська встала с другой стороны, хохол подпихнул их обеих кулаком в бок к дышлу поближе, — лошади поочередно поднимая одну ногу за другой, не зная, куда же девать столько ног на одном месте, повздыхали, опустили головы.

Прошло некоторое мучительное время: Опонас с истязавшей на каждом раздумчивом шагу неспешностью, от которой у Кира и крестного томило в ляжках, запрягал, Кир неподалеку от него, тужась за него, на каждом шагу пихал его в шею, перебирал за него на одном месте ногами, незримо помогал ему поскорее распутать вяло и недоуменно перепутавшиеся вожжи, кое-как заштопать распоровшийся хомут. Шаблюкин ха-а-рашенько бил их обоих издали по мордам, порывался несколько раз броситься к конюшне и во-время хватал себя за шиворот и волок обратно к крыльцу: хохол был не таковский, чтобы торопить его — обидится, заберется на сеновал: бывало. И Шаблюкин, как на привязи, ходил

кругами около крылечка и боялся разругаться таки с Опонасом, двинуть таки в морду Кира и взглянуть на гундосенькую: она, уже совсем готовая к отъезду, сидела на галерейке. В руках у нее дремал и дышал и не дышал младенец. Она глядела себе в кончик носа. Личико ее потемнело, губы были вобраны вовнутрь — еще немного ожидания — и она с гундосеньким воем убегала к себе в комнату и захлопывалась в ней невозвратно и неумолимо: и это бывало. И было истинное чудо — Шаблюкин боялся взглянуть, сглазить — что она губки вовнутрь, глаза в кончик носа — всё еще сидела. Шаблюкина трясло: попеременно с нетерпеливой матерщиной он сотворил даже какую-то приблудившуюся молитовку. И было истинное чудо, что вожжи все-таки распутались, рана на хомуте зарубцевалась, и тачанка с гадливо обессиленным от всей этой хреновины Опонасом подкатила наконец к крыльцу — истомившийся Шаблюкин с трудом удерживался на земле от подкидывающего его — примерно на целый аршин кверху — бесовского ликования, и разрывался натрое: одной половиной лица он ернически кривлялся, подмигивал Киру, который тоже кривлялся и подмигивал ему, другой, одутловатой и озабоченной он был обращен к гундосенькой, помогая ей взобраться на тачанку, третья очень осторожная, мельком при поворотах личина его — в меру недовольного хозяина — предназначалась для Опонаса: был тот все-таки ба-альшая сволочь. Он и теперь, на козлах, отвратительно задавался — кис, дремал и держал и не держал в руках вожжи; и теперь с ним нужно было быть особенно начеку — не очень-то форсится своей хозяйской властью над ним.

Прошло еще некоторое мучительное, мучительнее прежнего время: Шаблюкин, а за ним Кир, метались, меняли личины, гундосенькая все усаживалась, уминала под собой кожаные подушки на тачанке, и все никак не могла обрести желанного на всю дорогу удобства; затем заснул хохол, но проснулся младенец — с ним приключилась беда, и гундосенькая совсем было обретшая на подушках неподвижную покорность надолго утихомирившегося путника, заерзала на

своем встревоженном сиденьи и вспомнила, что она забыла какие-то свивальники, да не те, дурак, которые мигом — одна нога здесь, другая там — принес из комнаты крестный, а те что в синеньком свертке, которые ты, дурак, позови Маруську, все равно не найдешь, хучь бы они лежали перед самым твоим носом. И точно: синенького свертка, будь он трижды анафема проклят, перед самым своим носом Шаблюкин не приметил, и пришлось на весь двор звать эту, будь она трижды анафема проклята, неизвестно куда провалившуюся Маруську. Нашли Маруську, принесли сверток, перепеленали младенца — у хохла пропал и едва и в полусне нашелся под ногами — и на кой ему бис нужный? — хохол только плечиками передернул — кнут. И еще что-то забывали, что-то находили, опять забывали, опять находили — Шаблюкин бегал за угол и там бодал головой стену; и долго бы еще что-нибудь забывали, что-нибудь находили, если бы хохлу не остобисило держать неизвестно зачем попавшийся ему под руку кнут: он хлестнул им по лошадям, лошади рванулись, гундосенькая со своим младенцем завалилась назад, затем ткнулась вперед, и тачанка, смотри косою чорт куда правишь, зацепившись боком в воротах, с грохотом вырвалась со двора на мгновенно умолкшую под ней дорогу, и из-под колес и из-под копыт повалила пыль клубами, а когда она и поколыхиваясь и желтея поредела на солнце и рассеялась — тачанки уже нигде не было. Шаблюкин затворил ворота, его подкидывало кверху.

* * *

Подобно тому, как постылая охота неодолимо влечет преступника к черному кладу совершенного им злодеяния, так и Кир, стоило ему потом — и на другой день и через год и еще в течение многих лет — остаться со своим закусенным пальцем наедине, тотчас же, не мешкая, возвращался в зыбкие и зябкие потемки того вечера в Кушевке, затем, попозже, в непроглядную — несмотря на лунное раздолье — тьму той шаткой и позорной ночи, которая со всеми своими звездами и древнерусскою луной морочила и кружила тогда

ему на каждом шагу голову — и наконец: в ту продрогшую до костей, тошноватую, предрассветную пору, где, пожалуй, и таилось то оно, это содеянное (да содеянное ли?) им злодеяние.

Начиналось это неизменно бесплодное путешествие в прошлое — чертоплясом: Шаблюкина просто подбрасывало на целый аршин от земли; и чего греха таить — чем чорт не шутит: и Кира тоже, помнится, кверху и врозь ногами подбрасывало. Дальше следовали всякие незадержавшиеся в сите Кировой памяти мелочи, а потом крестный тут же на дворе, на листке блокнота, потряхиваясь и посапывая, писал и написал цыдульку Чекмарю, приглашая того на имеющий быть нынче вечером, понимаешь ли ты с водянистыми глазами, Кир, детский крик на лужайке — какую-то непонятную, нечистую, однако же по некому необманному, щемящему наитию, желанную Киру затейку: может быть, и даже наверное, — у Кира колотились все три сердца — детский крик на лужайке было как раз именно то, к чему он с разных сторон и по разному подбирался — и когда с опаскою трясся над глянцеви́тою книгой соблазнов, и когда с мечтательной ладонью полудремал, полуобмирал перед сном в кровати, и когда буйствовал как намерднн: из собачьей шелки.

После этого, если хорошенько понатужиться да припомнить, кажется, завечерело: да, да, несомненно завечерело — почернел, отошал, задрался в небесной разлюли малине заката знакомый журавель, и в выражении улицы затаилось, если хорошенько припомнить, что-то неладное, а что — доискаться до этого Киру было недосуг: наспех, оставив на дворе за калиткой заманчиво неразгаданный детский крик на лужайке, он много лет без удержу, почти в беспамятстве поспешал на рожон незабываемой обиды, которой неизменно в упор полыхало на него из бородатого по пояс окошечка, как только он неудержимо сообщнически, понятно мол, подмигивающийся (сдуру и по доброте душевной тогда и с неистребимою и мерзостною охотою к унижению после, годами) туда совался: Чекмарь, вместо того, чтобы и самому ответно

сообщнически, понятно мол, замигаться, отвратительно чванясь благодатью надутой официальности, просил бы держать себя молодых людей в присутственном месте прилично, да, да, попросил бы — и сверху вниз, с незабываемым на многие годы трах-треском закрывался, задегивался дощечкой, словно в бородатом по пояс окошечке его трах — и не бывало. И тогда, и годами нестерпимо из огня да в полымя стыда, отчаяния, страха, пятась от окошечка, Кир право же ничего не понимал в своем соскальзывающем с репящего баска на растерянный повизг задыхающемся недоумении; а спустя некоторое, провалившееся вместе с ним в землю от стыда время, он очутился уже на улице, которая с позабытой цыдулькой в руках слегка колеблясь медленно приходила в себя у него под ногами: она, пока то да сё, успела совсем тревожно помрачнеть, порядком раздалась вширь, обзавелась звездной далью, кое-где затеплилась окошечками хат; за околицей из-за недоброй памяти древнего кургана выходила с дозором в дымке давних пожаров русско-татараская луна; по дороге, молчком, рысила стая бешеных — одна другой носом в хвост — собак, и под лапами у них вспыхивали пыльные клубочки. И Кир заробел, заробев зашпешил, а зашпешив без оглядки — лишь бы от собак подальше — заблудился: еще тревожнее и гуще помрачневшая с теневой стороны и удлинившаяся, по крайней мере, верст на пять улица потрясла, огорошила, оглушила его из-за угла еще одним неожиданным страхом — исчез шаблюкинский дом: на том месте — вот тут за углом — где он был прежде, теперь, сколь ни шурься и верь и не верь своим глазам — его не было, да, да, не было; не было его и там, где его никогда не было, но куда бы он мог по рассеянности и в потемках забрести: Кир кидался вправо, влево — всюду белели меловыми грудями расплотившиеся и нахохлившиеся на ночь хатенки, дома же нигде не было — провалился; и людей, которых можно было бы поспросить насчет дороги, тоже нигде не было — нахохлились на ночь вместе с хатенками и вместе с курами. Вихляясь по кочкам над своею смятенною, неотступною, неотъемлемой от по-

дошв тенью, Кир бросился обратно к почте, и на него обрушился обух еще одной беды — исчезла, провалилась сквозь землю и почта, и там, где она только что провалилась, еще дымился, влажно и стеклянно поблескивая отсыревший на лунном свете пустырь, и из земляных недр его несло хладом опочивших на корню полыни и бурьяна.

Затем — едва помнится, едва верится — одно за другим следовало почти невозможное: Кир снова куда-то с распростертыми руками канатоходца вихлялся над своей тенью на кочках; он почти уже совсем разуверился и в доме и в почте и даже в самой Кушевке: похоже было на то, что она обернулась каким-то другим, вскоре, кстати сказать, и загавкавшим и закрывавшим поселком. Он шел, вихлялся дальше, его всё жестче пробирало черным ознобом, и немудрено, что в эдакий то холод и в одной, мой друг, летней рубаше он схватил воспаление легких и, постукивая зубами, раза два-три помер под бурьяном на лунном пустыре, и кстати и некстати еще раза два-три мимоходом дохнувшим на него могильным холодом. И хоть удобнее и разнесчастнее места для такой кончины было и не сыскать, смерть его была не очень убедительна: он до последнего издыхания не мог примириться с ней и помер — на эдаком-то холоде — с большой натяжкой; и там же на пустыре на утро проснувшиеся вместе с курами и вылезшие из своих мазанок поселяне и обнаружили его сгорбившийся, окоченевший, не очень-то достоверный труп, от которого он и сам тотчас же поспешно отказался: приноравливаясь к кончине под бурьяном, он не вдруг заметил иную, горшую, увязавшуюся за ним смерть от незаметно подобранных к нему бешеных собак: они — Кир, опасаясь обернуться, одним с запозданием прозревшим затылком видел это — следовали за ним по пятам, попрежнему один другому носом в хвост, и передний из них — поводырь, атаман, собачий пугачев, чутко, с затаенным бешенством принюхивался к его немеющим, обрастающим иголочками икрам. И теперь Кир шел, как Чекмарь, когда тому случалось заглотать благодатный аршин — очень ровно, очень прямо, на не-

сгибающихся ногах; и волосы его под шелковой подкладкой гимназического картуза вставали тошным поскрипывающим дыбком. Он всё шел и шел, собаки всё шли и шли за ним — час, два, целую ночь, целую вечность; он шел до тех пор, пока его уже неоднократно растерзанного в клочки, не обдало валом внезапного, невысказанного счастья: пока совершенно уже невысказанный шаблокинский дом сам, по своей охоте и по всей форме — горестные очи заложены болтами, над крышей луна — не надвинулся и не остановился перед ним. Приостановились и собаки, и тогда всё еще приносящийся к Кировым икрам Пугачев вскинулся с четверенек на ноги и — Кир ахнуть не успев, сделал кувшинное рыло — обернулся Маруськой, да, да, истинной Маруськой лопухой, с обвисшими кошельками щек, с двумя маленькими лунами в темных и выкаченных глазах безответной страдальцы. Подавшись к воротам, она налегла подбородком и обеими ладонями на ручку калитки, калитка, добро пожаловать, распахнулась, и Маруська дугообразно и изящно, подобно картинной борзой, вскочнула во двор, а за ней, унося свои ужасно заторопившиеся ноги, с цепляющимся, нерасторопным грохотом в проходе, продрался, ввалился во двор и Кир, ввалился, захлопнул калитку и припал к ней спиной. За воротами взвыли оставленные там, одуроченные им сумасшедшие кобели; Маруська кинулась к нему целоваться. Помнится, он пихнул ее к визгливому чорту на тот самый гулкий бок, на который она падала в ночь его приезда; она отчаянно замахалась в воздухе всеми своими руками и ногами, и кое-как, с натугой и осечкой, скребнувшись несколько раз ногтями-когтями по булыжнику, справилась наконец, вскинулась с бока на четвереньки и ускакала косым, заваливающимся на сторону, цирковым галопом, такая во весь голос бедненькая, бедненькая собачка, на что Киру — вопреки всколыхнувшегося в нем жалостливому нытику — было наплевать, совершенно наплевать: такая скверная, скверная собака.

И вот так, покончив с улицей и собаками, он входил уже в теплую, закуренную до удушающей синевы, превкусно по-

ванивающую селёдкой и луком галерейку, и его встречал вопль позже разгаданного — тогда же потешившего его не-требовательную спесь — дружелюбия; и он, помнится, заулыбался добрым вареником и закланялся. Шаблюкин и не-весть когда и как попавший сюда из своей трах-захлопнувшей почтовой конуры и чудесно во хмелю подобревший Чекмарь — схватили его за руки и в припадке игривой неуступчивости просто растянули, разрывали его в разные стороны, а он, признательно преисполненный ответной что-то булькающей, что-то бормочущей приязни, уж не знал, к кому из них прежде и оборотиться: то ли к Чекмарю, даже взгрустнушему, глядя на него из глубины бороды своей далекой молодости, то ли к крестному, который тоже лет на двадцать пять помолодев, хлестал бывалача в его годы с Валечкой Майсурадзе и Жоркой Бородаевым водку аршинчиками, и совал свободную рукою ему под нос, в рот, в зубы, в десны, пей, сукин сын, стаканчик остро пахнувшей монополькой (когда ей по дороге в гимназию, впуская или выпуская загулявшего мужика, случалось распахнуться). И подневольный, распяленный, почти распятый, на всё согласный — если уж все так настойчиво милы с ним — Кир, не сопротивляясь, закрыл глаза, разинул рот, запрокинулся, как Шаблюкин бывалыча в молодости и бывалыча теперь за обедом, хлебнул из страшноватого стаканчика чего-то полыхнувшего во всё нёбо душным — не передохнуть — ожогом, закашлялся, заперхал пере-гнулся надвое, и его едва не вывернуло на тошную отвратительную вякающую изнанку. Но Шаблюкин и Чекмарь не выпускали его из рук, не спускали с него глаз — быстренько подхватили его подмышки и встряхнули тошноту обратно. Он плюхнулся на табурет.

Шаблюкин и Чекмарь захопотали над ним, как заботливые лекаря, и кто-то из них совал ему теперь понюхать корочку, потому что по первой, которая идет в раззявленный обожженный рот колом — не закусывают, а закусывают, согласно и наперебой обнадеживали они его, а он им с раззявленным ртом и весь в слезах не очень то верил, по второй,

которая идет соколом; и точно: второй стаканчик он влил в себя уже своею рукой удачнее, не столь не передохнуть обжигающе и без согнутого напополам вяканья, влил и едва усидел на табурете, неожиданно и ошалело оказавшись после этого симпатягой, сукиным сыном и пистолетом: крестный, встряхивая его за плечи, долго не мог придти в себя от вытаращенного и бушующего в нем восхищения; и Чекмарь тоже разводил руками — не ожидал, не ожидал от него ничего подобного. Кир же только ухмылялся: понятно мол.

Правда очень скоро губы его одеревенели, как на морозе, нос, когда он высморкался, был тоже несколько от его прежнего носа отличный и будто бы не совсем достоверно до конца (особливо на кончике) свой, да и всё прочее — руки, ноги, голос — были от его прежних рук, ног, голоса отличные, как-то сами по себе: так он перестал вдруг ладить с вилкой — она дважды, выскользнула у него из пальцев, и он не без труда снова овладел ею; нога, когда ему пришла охота перекинуть ее на другую ногу, закинулась уж слишком размашисто — он едва усидел на табурете; «прдон» сказал он голосом издалека и со скверным повизгом засмеялся, а потом и сам туповато призадумался: зачем? И всё это: и некая телесная от самого себя отчужденность, и не то разгильдяйство, не то вязкость движений — всё это хоть и было сродни его обычной, а теперь в Кушевке окончательно растерявшейся нерасторопности — и в то же время и совсем не сродни ей: было ему как никогда вольно, и был он почти несомненно таким, каким не был еще никогда, каким ему порою и сгоряча хотелось (да как-то не удавалось) быть: сукиным сыном, симпатягой и пистолетом, вполне подстать крестному, Чекмарю, Валечке Майсурадзе, Жорке Бородаеву — этим бесовски изворотливым, себе на уме, хитрющим, всегда дружным со всяческой скверной, людям, сызмальства и вероятно до могилы уготованным к той особой, недоброй жизни — делать всё хитро, гаденько, удачливо — которая также сызмальства и вероятно до могилы была заказана ему, вечному растяпе и несмышленишу. Да: была; заказана; когда то; но теперь,

теперь он и сам дивился своей лихой налету понятливости, и с восхитительной сноровкой поспевал всюду: общий, перекидчивый, о том, о сём разговорчик прибывался к потрескивающим векселям — он ловко протискивался в него и делал водянистые глаза не хуже крестного и гаденько мерцал ими не хуже Чекмаря; хитря и похваляясь, они объегоривали вместе с вчерашними мужичками московского хозяина — он поспевал и туда, и был не хуже их и там: презрев подвыпившего нытика, он на равных паях участвовал и в этой хитроумной сделке. Понятно мол, во всю невероятно хитрющую немеющую рожу ухмылялся он. И хоть ничего, в общем, понятно-го во всем этом не было, и хоть в голове у него и в ушах побухивало, был он хоть куда сукин сын, пистолет и симпатяга; и, кажется, его опять потчевали, и, кажется, ему опять пришлось выпить — и потому что Бог любит троицу, а затем и по той ужасно смешной причине — на него накатил смешливый родимчик — что избы́ о трех разваливающихся и невообразимых без смеха углах не бывает, или что то в этом роде — толком разобраться в заздравной шутке ему помешала окончательно отбившаяся от рук, из рук вон, вилка: она тыкалась вокруг да около приглянувшегося ему куска селедки, селедка не наклевывалась, у него текли сладкие слюни, открылся насморк, он начинал злиться и, безраздельно занятый возней со всем этим, — вилка, селедка, слюни, — вскоре совсем позабыл, что он сукин сын, симпатяга и пистолет. Он очнулся некое самозабвенное время спустя — так, кажется, селедки и не уловив — оттого что крестный мотал перед ним толстым, плутовски прищуренным на один глаз пальцем, глуховато и невнятно, подбивая его, Кира, признаться в чем-то очень, очень себе на уме скверном, однако же для него лестном, — судя по хитрющим, одобрительным хохоткам, которыми мелко и часто сотрясало Чекмаря (и покрупнее трясло Шаблюкина). Они подпихивали друг друга локтями, перемигивались, их надобно было потешить, обязательно потешить — но чем, Киру было невдомек: что-то самое главное в их разговоре он самозабвенно пропустил. И теперь ему только

и оставалось — елико возможно похитрее и погаже ухмыляться им; он и ухмылялся. Он страсть как боялся не потрафить, опростоволоситься перед ними и остаться с недоуменным кувшинным рылом вне скверного их содружества, куда его только что приняли, как равного, как своего, почти как Валечку Майсурадзе или Жорку Бородеява. Он был готов на всё — только бы приглянуться им; и уже намечалась какая-то опасная затейка, некое последнее испытание его на аттестат преступной зрелости: крестный, прикинувшись новым оскверненным Киром — от прежнего Кира осталась лишь начальная согбенность да длинношеесть, всё же остальное было новое, скверноприобретенное — осторожно, на одном месте, хищно скрюченный крался куда-то, и нужно было быть истинным недотепой, чтобы с забывшимися тремя сердцами не догадаться, куда — ну конечно же к Маруське: мордатая, носки вовнутрь, зад отставлен, глаза вылуплены, она переминалась с одной дурацкой ноги на другую дурацкую ногу, и из выставленных здоровенными кулачищами грудей ее для вящей выразительности торчали и пошевеливались большие пальцы: Шаблюкин был в ударе. Маруська очень удалась ему, да и всё остальное тоже очень удалось — Кир остался таки с кувшинным рылом: это когда Шаблюкин, ну истинный он, Кир, добравшись наконец до Маруськи с вовеки неуголимой и неуголимой похотью, с непогрешимой тождественностью во всех, не переводя духу, непристойных телодвижениях, начал сладостно мять, истязать девку (совсем как давеча возле колодца); распаясь, он не позабыл даже обрести в одно мгновенье густой, подшмыгивающийся насморк, обрести и протереть очки, которых он сроду не носил, но которые, может быть, и на самом деле на мгновенье вспыхнули у него на переносице — и всё это было так умопомрачительно позорно, точно, несомненно, что Кир схватился за онемевший недоуменный лоб: откуда всё это крестному известно? Но добратсья до корня недоумения ему не удалось — руку его ото лба тотчас же отодрали; и что было и чего не было после этого и после того, как в него влили еще одну стопку вод-

ки и он начал валиться себе грудью на колени, осталось навсегда грузным, расплывчатым, обморочным: помнится, он валился и валился вперед, в стороны, навзничь — это запомнилось — здорово, с треском, и без всякой боли ударившись затылком об пол, погода опознал себя всего с ног до головы во тьме ночного смутно знакомого, холодеющего между лопаток, неверного на каждом шагу двора, над которым бросыпную в омерзительном и тошнотворном изобилии метались затуманенные звезды, и с одного края неба на другой, сошедшим с ума метеором, металась размахавшаяся расплывчатая луна. Помнится: она вдруг размахнулась так широко ему за спину и так неожиданно, что он наверное бы упал, если бы не схватился обеими руками за угол пошатнувшейся и едва устоявшей перед ним на ногах летней кухни: за врытый в землю столб ее, подпирающий с этой стороны легонький дощатый навес, под которым в темной глубине светилося что-то — если присмотреться, да прищуриться, чтобы к зрачкам протянулись длинные и тонкие струны, сходящиеся в фокусе огонька: лампа. Засим следовала прогалина вечного забвения, а потом Кир с зажатой в кулаках натугой добирался таки в своих припоминаниях до Маруськи: он шел к ней так, как ему беспрестанно наказывал тогда незримый, где-то затаившийся, повелительный крестный — хищновато согнувшись, а Маруська зыбящимся рыже-зелено-темным (голова, кофточка, юбка) безносым и безглазым привидением отплывала от него то к стене с прищурившейся лампой, то в одну спотыкающуюся сторону, то в другую, столь же спотыкающуюся, и ему всё время на ходу приходилось и руками и ногами отпихиваться еще и от всякой встречной и поперечной дряни: от печки, от стола, от какой-то длинной и низкой скамьи, норотившей садануть его куда побольнее — в кость, что под коленной кашечкой. И всё это изнурительное кружение от печки к столу, от стола через скамью опять к печке и всё снова от печки — продолжалось час, два, целую ночь, целую черную спотыкающуюся вечность: под конец Кир совсем закружился; но остановиться и не кружиться по проклятой кухне

он не мог — ему подобно велосипеду, чтобы не упасть, обязательно надо было двигаться; он и двигался. Про Маруську, о том, что ее нужно мять, терзать, заламывать — он совсем запомнил; и когда рыжую ее голову в пахучем облаке и кухонной и помадной тухлятинки случайно нанесло на него, он схватился за плечи девки, как давеча за спасательный столб, и кое-как устояв перед ней, прямо в лицо удивился ей: зачем? Маруська же и не удивилась и не испугалась: вблизи, пока он близоруко недоумевал и покачивался над ней, она посапывала ему в упор истинною дурехой, одутловатой, губатой, навсегда одурманенной голубо- и -мутноокой сонливостью. Ни удивляться чему-либо ни бояться чего-нибудь ей, повидимому, было не дано. И даже после того, как незримо бдящий над Киром крестный незримо напоминающим и направляющим толчком пихнул его к Маруське, — мять, терзать ее и — Кир с вялым отвращением полез к ней обниматься, она и тогда нисколько не удивилась и не испугалась — сопела попрежнему: сонной, безмятежной дуростью. Затем Кир опять погружался в непроглядное беспамятство — и приходил в себя от толчка в грудь: Маруська отпихивала его от себя: пятясь, вихляясь и приседая от слабости в коленях, он схватил ее за незабываемую даже во хмелю ужасную четырехпалую руку, и его тотчас же скрючило вдвое и едва не вывернуло наизнанку от подступившей к гортани кислосладкой кашицы. Он с трудом и омерзением проглотил ее обратно, и опять закружился по кухне среди множества всяких болезненно твердых, расплотившихся под ногами вещей, и кружился до тех пор, пока его не бросило ничком на какую-то (их было больше всего, они были больше всего) длинную во весь рост скамейку. Маруська же исчезла, словно она никогда и не пятилась перед ним и не сопела ему в лицо и не толкала его в грудь — словно ее вообще никогда тут и не было, так же, как не было ее (а может быть все-таки была?) и в ту подслеповатую рассветную пору, когда он — и зябкий и жаркий, с перебитым хребтом, с разбитой вдребезги головой, внутри которой в затылок и в темя ему давили

своими остриями два застрявших в мозгу кола, — полуочнулся на своей скамейке в последних судорогах неопишимо-го блаженства с тем, чтобы потом с покаянным отчаянием закрыться от самого себя, от своего нытика обеими руками до вторичного окончательного и еще более ужасного пробуждения, всё на той же скамейке, всё в той же кухоньке, часу в девятом, десятом, одиннадцатом, кто же его знает, в каком ужасном часу: он долго и близоруко тыкался в часики на руке, затаившие перед самым его носом некое приключившееся с ними неблагоприятие — и едва уяснил какое: часики то стояли, и были без стекла, как он — если схватиться за переносицу — без пенснэ.

Незабываемый навеки день этот был хуже всех дней доселе: против Кира ополчилось всё, решительно всё — и прежде всего двор — за ночь и с ним произошли препротивнейшие перемены: весь он от приблизительно голубых ворот до смутно белой конюшни оплыл зыбкой близорукой мутью, а булыжники, которыми он был более или менее терпимо до вчерашнего дня вымошен, повывезли врозь, обросли острыми гребнями, и, не споткнувшись, не подвернув ногу, не потревожив бултыхающиеся в голове похмельные колы, нельзя было сделать ни шагу: Кир едва ковылял. Голову свою он осторожно придерживал обеими руками, неся ее слегка набок — так баюкать в ней проклятые колы было способнее; но из распахнувшегося нужника, которым он не мог пренебречь, на него полыхнуло таким смрадом, что он выпустил голову из рук и его вывернуло таки наконец наизнанку. И колодец, куда он, вытянув жаждущие губы трубочкой, отошавший, весь еще наизнанку и в испарине, добрался — тоже был против него: этот никак не давался зачерпнуть со своего недостигаемого дна недостигаемого лошадиного лимонадцу; и подлец журавель, дура веревка и дрянь ведро были с ним заодно: журавель стремительно клонило книзу, склизкая веревка вслед за ведром низвергаясь вниз, нестерпимо, огнем жгла, чиркала Кира по ладоням, а ведро, плюхнувшись в сырую,

едва мерцающую глубину колодезной преисподней, сколь его ни подергивай ни упрашивай за веревочку, валилось с одного плюхающего бока на другой плюхающий бок, и погрузиться и полно и всласть захлебнуться упоительной водой не желало и не желало, между тем, как внезапно одуревшего журавля, без Кирова наказа и согласия, начинало тянуть вдруг каменным задом к земле, и он, недолго думая, и опускался туда, и стремительно другим концом своим вскинувшись к небесам, выдергивал ведро из преисподней на мокрый сруб колодца — на; Кир с вытянутыми губами кидался к ведру: оно было пусто, долу сыпались шлепки капель. Кир хватался за голову — в затылок и в темя ему тупыми таранами ударяли потревоженные там колы, и согбенная на крюке отчаяния смерть, облизывая сухие губы, склонялась над ним; и спас его от этой предельно великомученической — от жажды возле колодца — кончины как раз во-время спасительно вспомнившийся ему рукомойник, тот самый пакостник, который каждое утро брызгался в рукава и куда придется. Брызгался в рукава и куда придется он и теперь, но мокрый до пояса, с широко раззявленным ртом Кир был только благодарен ему за это: он топтался, низкопоклонничал перед ним, и булькал, и давился вяленькой вчерашней водой до последней ее капли в баке, и когда рукомойник иссяк — его неудержимо с длинной шеей, бочком потянуло в комнату: потчеваться яблочками. Он загодя, на ходу — и на галерейке, и потом не разобравшись еще в комнате, сумрачно опечаленной спущенными занавесками — десятками, сотнями пожирал их, и присев на корточки перед яблочной горкой, не сразу с вожденно протянутой за яблоком рукой поверил себе: на горке, навзничь, с разбросанными как придется руками и ногами лежал крестный. Он не храпел, глаза его чудно поблескивали. Кир заробел — и это погубило его: глядеть вот так, совсем близко на него, такого омерзительного, после такой ночи, да еще с перебитой спиной, да еще с двумя колами в голове, да еще после того, что случилось — Шаблюкину было нестерпимо: он схватил ненавистную Кирову рожу за плечи и

затряс ее так, что она заклацала зубами глупая, глупая рожа, вот тебе твои, будь они трижды прокляты, глаза болят, очки! Шаблюкин сорвал с носа очки и сунул, ну их к чорту; Кир, стоя перед ним на коленях, кое-как втиснул пенсне себе в переносицу, и кое-как, зрячее на правый глаз, чем на левый, ибо левое стеклышко было наполовину отбито, прозрел: мигом лет на двадцать пять с гаком постаревшее — в отместку за вчерашнее недобросовестное лет на двадцать пять назад молодечество шляхетская образина крестного обвисла всем, чем она с перепоя могла обвиснуть — усами, щеками, подглазными мешочками — и налилась лиловой выпучившейся яростью: ему так и не терпелось поразораться и полютовать по-настоящему. Он приподнялся, встал — но сейчас же одною рукою схватился за перебитую поясницу, другой за голову, где ворохнулись колы, и лиловая горячность, не дотянув на шкале гнева до истинной кипучести, медленно сошла с дрянного лица его. Тем не менее он попытался всё-таки выпрямиться и заорать — и не выпрямился и не заорал: не вышло — не хватило выправки, задору, а главное: он не знал, что было, чего не было и с чего начать. Кажется, он творчески заплутал. Он еще немного помыкался духом в поисках выхода, выхода не нашел, и махнув на всё на свете рукой, опустил на диванчик скорбного, вислоносового, вислощекого, вислоусого сокрушения о такой — Кир сделал кувшинное рыло — молодёжи: без неожиданно взыгравшего горловыми руладами — Бога, без поперхнувшихся с водянистыми глазами — идеалов. Шаблюкин отдулся — он явственно пер не туда; впрочем, вскинув брови и подняв палец, он уточнил бы: прак-ти-ческого, так сказать, Бога, прак-ти-ческих, так сказать, идеалов. Он поглядел на свой палец и опять поник: не то, не то. Здесь не в добрый час ему подвернулся Валечка Майсурадзе: он с кием на товсь ринулся было к письменному столу, и был грубо отброшен на диван обратно: опять не то, не то. Шаблюкин совсем потерялся — ничего, ничегошеньки то ему нынче не удавалось: скандал, скандал,

туды его мать. Он опустил голову, Кир горестно зарепел над ним.

И вдруг всё пошло, тронулось, да еще как пошло и тронулось, после того, как Шаблюкин — одна рука на пояснице, другая на затылке — наведалься на галерейку, где над потрясенным столом беззвучно догромыхивало эхо ночного дымного и шумного безобразия, и среди всякого похмельного хлама и лома, среди тарелок, задавленных окурков, селедочных голов и поверженных рюмок стояла, устояла случайно и спяна уцелевшая полбутылка водки. Шаблюкин проглотил несколько рюмок — и ту первую, которая идет в глотку бултыхающимся поутру в голове колом, и ту вторую, которая сама влетает соколом, и ту, на которой трудно остановиться, хоть Бог и любит троицу — и вернулся в яблочную комнату с исцеленной поясницей, с целехонькой головой. Недавние страхи его сгнули, и как рукой сняло творческую немощь; он предчувствовал скорую и несомненную удачу.

Он небрежно через плечо незнающим сомнений баском и поигрывающим пальцем поманил Кира за собой в прошлую ночь на галерейке — и вот, слегка покачиваясь с носков на каблуки, вспомни, как ты там себя вел? Кир потупился; крестный перестал покачиваться, присел на диванчик и напился на нем, как может только напиться последняя, братец ты мой, свинья: мутноокий, безудержно во все стороны размахавшийся, он валился навзничь, задира л ноги выше головы — и это была правда, истинная правда, гнул ся, щеками, мочками ушей пылал Кир; а крестный один за двоих — и за ослабленного Кира, за пятящуюся от него Маруську — топтался уже вокруг диванчика — и это тоже была правда, истинная правда: Кир гнул ся еще ниже, пылал еще нестерпимее. И это было еще не всё, это было только присказкой к тому, что произошло потом, когда Шаблюкин и сам дивясь и своей дерзости и своей удаче, и веря самому себе и не веря, Киром, истинным Киром добрался наконец до самого главного, до того, о чем, я даю вам честное слово, и вот вам святой со всхлипыванием крест, и представления не имею:

скрюченный, с прижатой к обмершему сердцу ладонью, Кир просто выклянчивал у крестного соизволения на облегчающий вздох, на добрую вареником улыбку, на разрешение себя от черного ужаса, сразу же доверчиво забушевавшего в нем, но которому он по неиссякаемой трусости своей еще боялся предаться вполне: он исподтишка из-под очков надеялся, он не мог не надеяться на то, что всё это — дружеское надувательство, готовое, стоит только Шаблюкину подмигнуть, лопнуть по всем швам дружеского обоюдного подмигивающегося хохота; он даже как-то побряхывал в кротко нетерпеливом предчувствии того хохота, пронирыливо, с длинной шеей, напрашиваясь на него. Но Шаблюкин, не дрогнув, то пятился от него, вызывающе пошевеливающей перстами на груди Маруськой, то напирал на нее похотливым Киrom, и один за двоих — Маруська навзничь, Кир на нее — валился на диванчик, и только застава творческого целомудрия удерживала его от дальнейшего. И начальная клятвенная уверенность Кира в своей непричастности к преступлению тронулась: всё это, уж если крестный с такою достоверностью настаивал на своем, может быть и на самом деле — теперь уже в сорокаградусном жару маялся он — было, тем более, что — тут его из парной стыда нагишом кидало в ледяную одиночку ужаса — он и сам, без подсказки крестного, всё это утро, несмотря на изнурительное чередование всяческих хлопот и незадач, всё время, всем похмельным и разнесчастным убожеством своим подозревал у себя за перебитой спиной еще какую-то темную, клубком свернувшуюся там, загадочную и нетерпеливую беду: она беспрестанно напоминала о себе, излучала из себя позывные требовательного беспокойства. Но разгадку зловещего клубочка он и за недосугом и по малодушию откладывал на потом, на как-нибудь, не очень уверенно полагаясь, между прочим, и на то, что за спиной, может-быть, ничего страшного и не было. Но Боже мой, Боже мой, кажется, всё-таки было, почти наверное было, и даже несомненно — уж если на то пошло — было: недаром же, пока ты еще дрых, наспех

обросший Маруськиными патлами, всхлипывающий от обиды крестный грозился дурацким Маруськиным голосом пожаловаться Опонасу, который, вернувшись из поездки, избьет тебя кнутом, как собаку — и точно: страшный в своем неторопливом раскосом бешенстве, волоча за собой ременную гадючку неспроста и не случайно обретенного вчера кнута, хохол подходил к Киру и наотмашь и крест-накрест хлестал его по лицу, по спине, и Кир, закрываясь от позора и боли руками, повалился на диванчике, как пьяный: грудь на колени. Шаблюкин, и сам зеленый, едва растряс его.

Они посидели рядышком, Кир долго и понуро сморкался, сморкался и крестный — он опять приутих, постарел, обвис; и опять, уж который раз, все пути для них были заказаны и податься им было некуда; они сидели, сморкались, помалкивали час, два, целую вечность, а потом мгновенно и молниеносно с ног до головы просветленный внезапным вдохновением животворящей, догадливой трусости, Кир вскочил с диванчика и бросился бежать отсюда, бежать во что бы то ни стало — и от Маруськи, которой кстати теперь в горячке вспомнилось ему, он нигде нынче не видел, и которая, может быть, и доселе ревела где-нибудь простоволосая и растерзанная, поджидая мстительного заступничества хохла, или еще ужаснее — поспела повеситься на сеновале, там же, где некогда висел и не вынесший позора крестный; бежать и от Опонаса, готового из-за нее на всё, что угодно — и хлестать кнутом и убить его, Кира, как собаку, не вынимая цыгарки из кривого рта; бежать от непоколебимо недоброжелательной гундосеёвкой, от неуловимого, неуязвимого в своей черноморовой бороде Чекмаря, а главное, главное — от страшного, теперь уже ненавистного крестного, прозорливого ключаря всех его позорных тайн. Уйти, отчураться от него было почти невозможно — и всё-таки он отчурался, ушел, увильнул; и было просто невероятно, как это удалось ему; Кир не верил самому себе — таким он обернулся теперь и хитрющим и пронырливым и подлым: он репел, тряся, и в припадочной — недолгого сроку, однако же самого что ни на есть ярчайшего на-

кала подергивающейся непоседливости — поскорее, ах поскорее бы выбраться отсюда, потерял всякий стыд и за себя и за крестного: он не спускал с него отчаянных и лъстивых и ненавидящих глаз, он репел, тряся всё нестерпимее, всё требовательнее, и когда застигнутый врасплох, оторопевший крестный неосторожно попятился от него — шустро, хитренько и без иоты промедления, чтобы помешать ему, мельком в глазах струхнувшему, обрести повелительную наглость взора, пал перед ним на колени и запрокинув веснушчатое кувшинное рыльце без всякого зазрения совести, со сцепленными на груди руками, заревел противу шерсти. Шаблюкин дутым, пустым баском попытался было утихомирить его, утвердить себя, но басок, как ни раздувай его в ххакающей глотке, опадал, глох, и Шаблюкин, задаром покхакав, сунул согнутый палец в рот и рассеянно неведь о чем задумался, а Кир всё так же шустренько бросился к своему чемодану — и обмер на четвереньках: чемодана под диваном не было. Под столом и за шкафом его тоже не было — сгинул; и если бы чемодан спрятался не одним боком, не наполовину, а по-настоящему, Кир пометался бы на коленях по полу, да и повис бы на крюке самоубийственного отчаяния, а крестный, оживившись на его счет, тотчас и заграбастал бы его; но чемодан озорничал недолго — он сам, бочком, вылез из яблочного угла и со счастливым ах и не ахнув в один присест заглотал и мыльницу без ускользнувшего куда-то мыла, скомканное полотенце и еще что-то комком, и шелкнул сытой пастью: всё. Но нет, было еще не всё, далеко не всё: вдребезги разбитый рассеянным душевным параличом Шаблюкин медлил невыносимо, медлил, как Опонас: и куда-то неожиданно запропастилась и едва, не спеша, нашлась после обыска по всем карманам расческа; и надо было бы переменить, да уж чорт с ними, недоуменно и с досадой, покрывшиеся вдруг пятнами и на самом интересном месте, братец ты мой, штаны; и вообще было неизвестно, пойдет ли нынче, в вялой раздумчивости, уже по ступенькам спускающийся во двор, поезд; вот вопрос. Кир булькающе заверял,

что пойдет, пойдет; Шаблюкин на последней ступеньке сомнения качал головой, пожимал плечами: вопрос, большой вопрос. И дальше, к калитке, преодолев наконец все ступеньки, он тащился еще томительнее Опонаса, — Кир просто волок его на вервии, еще связующем их; он трепетно спешил, потел, лебезил, и захлопотавшись не сразу сквозь помутневшие очки уяснил себе согнувшуюся в калитке Маруську, которая босой ногой лезла во двор, возвращаясь с базара, а уяснив, признав ее, душно оглох, онемел, оброс щекотными иголками попавшего впросак ежа, и едва только мутная, душная глухонемая девка с корзиной в руке миновала его, кинулся в освободившийся после нее проход на улицу и заспешил, завихлялся по кочкам, кажется, по направлению к станции — подальше от обезумевшего, ошетинившегося нытика, от Маруськи, от хохла. По дороге, хоть страхов у него было и без того предостаточно, и несмотря на свою так и рвущуюся рысь, он с проворством ненасытного труса поспел так обзавестись, застраховать себя еще и благоразумным опасением — как бы не заблудиться, как бы удержать на поводу и не потерять крестного (тому-то, только отвернись от него, конечно, ничего не стоило провалиться сквозь землю). Он кое-как приостановился, и рыся на всякий случай на одном месте, с всхрапывающей задышкой вполоборота обернулся назад: крестный на несколько растянувшемся, однако же не треснувшем вервии, Киром, истинным размахавшимся Киром рысил и вихлялся по кочкам за ним: и его так и подергивало, так и подкидывало от земли неистовой трусливой резвостью еще издали, во всю глотку совсем не виноватого в том, что она, эта вонючая гнида Маруська, оказалась — он добежал, отдулся — такой, между нами говоря, легкой. Он внезапно хахакнул, поперхнулся, дурнем усталился в пустоту; но Киру, если Шаблюкин был тут, на привязи, было не до него: на подоспевшей неподалеку от них станции стоял готовый дать тягу длинный и красный поезд: над трубой паровоза, который во всю кипятился во главе состава, созрели и разваливались изнутри клубничные ягоды сажи — вер-

ный признак скорого отхода. И Кир зашепшил еще нетерпеливее, еще нестерпимее: он всё еще не верил в свое спасение; он всё еще был невылазно обречен остаться в Кушевке навсегда — поспешать за крестным, ловить собак, плутать в ночи, разгадывать гадкие и заковыристые намеки, и во сне и наяву и спяна преследовать Маруську (а потом бежать от нее) до тех пор, пока Опонас не засечет его до смерти своим неспроста, ох неспроста обретенным намеренным кнутом. И даже после того, как в страшной, переминающейся с ноги на ногу спешке возле кассы был куплен билет (в скобках: совершенно ему ненужный, ибо поезд был не пассажирский, а товарный, и никаких билетов на него не требовалось, а нужно было только со скверным лицом сукиного сына и пистолета замигаться и сунуть проводнику несколько керенок, но Кир, хотя Шаблюкин и замигался и сунул, требовал купить для верности еще и билет) — и вот, даже после этого, уже с билетом в руке и с рукою, чтобы было еще надежнее, в кармане, и кое-как при помощи другой руки и при помощи крестного, который плечом в зад подпихивал его, взобравшись на платформу, он всё еще был обречен остаться в Кушевке навсегда, до смерти под кнутом затаившегося где-то до третьего звонка Опонаса. Он и видел и не видел оставленного им внизу, полуотрешенного от него крестного; он кусал палец, дергал носом, прислушивался: Опонаса, слава Богу, нигде не было, но не было и человека с благословляющим в путь дальний жезлом, и не слышалось желанного благовеста на полное отрешение от всего кушевского: третьего звонка. И даже тогда, когда неторопливо и с достоинством возникший на перроне красноголовый жезлоносец сотворил наконец железнодорожное знамение, а сторож натрое разбил сигнальный колокол, и поезд начало сводить первыми судорогами, предшествующими на много верст, на всех парах раздушараздушу, и крогчайший, ослабевший, задравшийся подбородком кверху крестный, примижая ладонь к верхнему карману куртки, где бился его сердечный привет матушке, ты же ей, с умоляющими глазами, ничего такого не говори, разнесча-

стным сиротинушкой шел некоторое время возле рокочущего вагона, а погода, поотстав от него, и всё уменьшаясь и уменьшаясь, долго со смиренною дланью поперек груди, под вопли паровоза уходил и перебирал на одном месте тоненькими ножками, пока не измельчал вдали до неузнаваемости и не ушел вспять бесследно — он и тогда не верил, что с Кушевкой всё кончено. И был прав, совершенно прав: не успел он подловато — на всякий случай — ослабленный отмахаться от сгинувшего крестного, будь он, с мгновенной запальчивостью, проклят, не поспел разошедшийся поезд по настоящему начать раздувать всё, что ему попадалось под угрожающие колеса, как эта, будь она трижды проклята, сгинувшая вместе с крестным Кушевка незамедлительно напомнила о себе присвоенным его чемоданом: чемодан, захлопнувшись, так и остался в яблочной комнате. Кир схватился за поля картуза и с жаром сошел с ума — уму было непостижимо, как он, разиня, ухитрился растерять свои вещи: матушка и Марьюшка не могли наглядеться друг на друга от возмущения, и ни одна из них даже не взглянула на него, трясущегося и от дорожных колдобин и так, от самого по себе, лично — в подветренном углу платформы. И в то время, пока он хватался за картуз, трясся и загодя и малодушно оправдывался перед матушкой и Марьюшкой, у него из кармана поспел ускользнуть билет: его, сколь ни копайся, там не было и не было. И недолго думая Кир сошел с ума вторично — и было отчего: на первой же станции проводник с раздраженными щипчиками — прощелкивать-то ими было нечего — сволакивал его, как безбилетного зайца с платформы и оставлял на захолустном полустанке одного одинёшенька, без копеечки денег (деньги на дорогу, аккуратно сложенные в конвертик, остались в уголку, вот здесь, запомни, дружок, под чистыми носовыми платками, в том же чемодане, в той же Кушевке). Его выбрасывали на каждой остановке, выбрасывали немилосердно; однако же проводник, собирая дань с остальных безбилетных, обходил его вагон стороной, и он чудом оставаясь непойманным, трясся в своем углу к новым опас-

ностям и даже к смерти и даже к двум смертям: бурчащей животом от голода и постукивающей зубами от закатной стужи (курточка тоже осталась в Кушевке). Поезд рокотал, раздушал, покрикивал, и к вечеру за бортом платформы как-то не к добру, прямо в стекла очков, в зрачок, в мозг, мозжечек, сквозь черные мельк-мельк мелькающие деревья засветило здоровенное малиновое с окалиной солнце, — конечно, спохватился, да было поздно, Кир, то самое солнце, которое слепило его и те самые деревья, которые мельк-мельк-мелькали перед ним, и, кажется, с той же самой стороны вагона и примерно в то же самое время и тогда по дороге в Кушевку: поезд или заплутал или машинист и проводник по тайному сговору с Шаблюкиным вели его обратно. И всё же из последних сил уповая на порядочность и прямолинейность железнодорожного расписания, Кир сунулся за борт вагона, чтобы воочию убедиться — если удастся — в лжекушевскости рвущегося со стороны леса — и жестоко за свою доверчивость поплатился: ветер затаенно за бортом только и ждавший дурня, полыхнул его по лицу колючим помелом и сорвал пенснэ, едва державшееся у него на переносице после того, как оно всю прошлую ночь проваландалось на хмельном носике крестного. И теперь было уже окончательно, несомненно, бесповоротно — Кир всплеснул руками, зарепел: да, поезд раздушал-поспешал обратно в Кушевку. Она на всех парах, с мечущимися огненными пчелами над вагонами, приближалась к позднему вечеру; до вознесения над ней древнерусской луны оставалось несколько, — один другого непрогляднее, — полустанков, близоруко и радужно сквозь прищуренные ресницы оплывающих красными и зелеными слезами сигнальных фонарей. Во время остановок из степи, из мрака кушевски несло и полынным и бурьянным холодищем, крикали — перетирали мокрые кремни в раздутых зобах жабы, и поколыхивался мстительный и не такой уже далекий плач обманутой намерни Киром собачьей стаи.

М. Иванников

**
*

Безнадежность — это совершенство
Безнадежность — полное блаженство,
Безнадежность — это без побед
В поражениях уцелевший свет.
Полная земная благодать
Ничего не помнить, не желать.

Тень не спасает и не губит.
Спасает, жжет и губит свет.
И сердце тех сильнее любит
Кого на свете больше нет.

Ребенок, как говорится, — крошка
Невинные улыбочки, слова.
Вот он бежит на слабых, жирных ножках.
Качается большая голова.
Вокруг костра детей толпа собралась,
Как очарованная в полусне,
И нежно и невинно улыбалась
Пока котенок корчился в огне.

**
*

За бороздою борозду
Проводит пахарь одинокий,
И на вечернюю звезду
Глядит из борозды глубокой.
И там на маленькой звезде,
Что светит, чуть заметной точкой,
Идет по черной борозде —
Такой же пахарь-одиночка.

СУДЬБА

Соловей еще не поет,
Еще зима продолжается
Но на тротуарах лед
Уже размерзается.

У прохожего хриплый бас,
Зонтик и плащ лоснятся.
— Скажите, который час?
Неужели ровно двенадцать?!

Среди миллиардов минут
Какое огромное чудо!
Что в двенадцать я именно тут,
Не там, где другие люди.

Будь я — левее слегка:
Испортилось бы вычисленье,
Пришлось бы чинить века:
Переделывать на мгновенье.

Морозами, зимой, снежком
Я восхищаться разучился.
Жду, чтоб сверкнуло, грянул гром
И дождь весенний разразился.
Люблю бессолнечную хмурь
И шелест капель полновесных,
И то, когда потом — лазурь
Горит всё ярче и чудесней.
И удаляется гроза.
И влажных красок сзаренья
Бьют в ослепленные глаза
Сияньем первых дней творенья.

А. Величковский

НЕСОЗНАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Андрей Божек, геперь, после прихода советской власти, секретарь сельсовета, в сущности никогда не был веселым парнем. Это у него от отца. Но в последнее время он казался особенно мрачным. Не потому, что прошлой зимой умерла его мать: люди умирают всегда, особенно старые. Похоронили, как положено, с ксендзом, и в костел пришлось пойти, хотя Андрей туда давно не заглядывал, — т. е. проще говоря: перестал ходить. Конечно, было неприятно идти теперь в костел, но не потому, что писал на ксендза доносы. Это иное дело: частная жизнь — одно, политика совсем другое, высшее. Тут и малый ребенок поймет. Доносы, как сказал однажды Раченко, необходимы для разгрома контрреволюции. Андрею нравился звук слова: «Разгрра-а-мить!» Поневоле сожмешь кулаки... Но вот с отцом вышли нелады.

Старик, Феликс Божек, который сначала одобрял, что сын пошел в гору, и даже поощрял, — вдруг после смерти жены, стал, что называется: капризничать. Но опять-таки, дело не в «капризе», а в желчности старика, в его въедливости; и началось вовсе, — не как это думал сын, — со смерти матери, а с такого пустячного случая, что, кажется, никто и не подумал бы, что он мог быть причиной.

По соседству жила Совинская, с тремя малыми детьми, жена бывшего уборщика Гродненского окружного суда. В 1939 году, осенью, когда большевики пришли освобождать

Мы печатаем отрывок из романа «Дорога никуда» известного польского писателя Иосифа Мацкевича. Этот роман вышел на польском, французском, немецком и английском языках. Перевод с польского сделан автором. РЕД.

страну из-под панского ига, мужа ее арестовали и отправили в лагерь, неизвестно куда, не то в окрестности Архангельска, не то, как говорили другие, под Осташков, на остров на Селигере-Озере. Впрочем, куда, это не так уже важно. Совинская с детьми убежала под Вильну, и после некоторых скитаний нашла себе приют, — скорее то, что называют «угол», в этом же поселке, в соседстве с Божеками.

Старый Божек, конечно, понимал, как ей трудно: как-никак, трое малолетних на руках, без мужа, одна среди чужих. Несколько раз «одалживал», — то-есть просто давал, — молока, хлеба; еще два-три раза помог кое-в-чем; — это когда еще жила покойница-жена, вечная ей память. Но потом Совинская принялась сама кланчить — и скоро попрошайничеству ее не стало конца. Придет — одолжи одно, другое; сначала только из еды, а потом то хвороста сухого дай, то ведро старое, то горшок, то лоханку какую, то опять же ржаной муки. Старик давал или не давал, смотря по настроению. И вот явилась как-то: дай ей гречневой крупы. Да еще добавляет, что, мол, «гречиха ныне славно уродилась».

Старик был не в духе, — лопнул железный обод у заднего колеса телеги, а пойди теперь, достань при новой власти железо на обод. Он стоял, нагнувшись к колесу и, не разгибаясь, бросил:

— Ты ее сеяла?! Гречиху тую? А?!..

В ответ Совинская неожиданно открыла рот, и в голос:

— Ах ты, такой-сякой, старый ты хрен! Кулак проклятый! Ты что, богатство свое, думаешь, в могилу заберешь? Не поспеешь: и на тебя Соловки найдутся! И у тебя отнимут, сукин ты сын, чтоб тебя без гроба закопали! Один такой, думаешь, на восьми гектарах останешься? Сын, думаешь, выручит? Да?!..

А вот я тебя кнутом, по твоей харе! — вскипел Божек.

Попробуй, только тронь! Ишь, пан яки! Бедную женщину кнутом пугать! Попробуй, зараза! Думаешь, сынка твоего боюсь? И он с тобой в Казахстан поедет! Теперь бед-

ным людям нечего кулаков бояться!

Размахивая руками, орала так, что пронзительный ее дискант резал уши. Косынка сползла на плечи, ветер трепал преждевременно поседевшие волосы.

Старик Божек не испугался: ему бабьи крики нипочем, как с гуся вода. Но, как во внезапном озарении, понял вдруг то, что до сих пор оставалось будто закрытым: «Теперешняя жизнь на том и стоит, что человек не себе добра, а другому зла желает». И когда ушла Совинская, подумал еще: «Правду она говорила, что ей нечего бояться. Что с нее возьмешь? Нечего, совсем нечего. А у меня — все, что есть...»

Тот день он ходил мрачный, стиснув зубы, так, что желваки перекатывались на небритых щеках. Сыну ничего не сказал: по настоящему на такие пустяки и слово тратить обидно. Но решил поговорить с ним о другом. Потому что верно ведь сказала Совинская о восьми гектарах, не оставят их. Слепым незачем быть. Сын пока спасал от лишнего налога, — надолго ли? Поначалу, впрочем, разговор вышел совсем не об этом.

Ты бы, Андрюша, заборонил завтра той участок...

Якой такой участок?

А тот, что клином в лес, на делянке...

Завтра времени у меня нет, — отрезал Андрей.

А на что у тебя время есть? Боронить — языком во рту? Самогон хлебать, на то время находится?

— Батяка видно забыл, что я секретарь сельсовета? Что я чиновник теперь. Забыл? А когда треба было налог сбавлять — тогда помнил?..

— Ну, ладно. Не хошь не надо. Пушай сорняком за-растает.

На том и кончилось пока. В колдовство старик никогда не верил. Бывало, черная кошка или заяц хоть сто раз дорожку перескочи, он и глазом не моргнет. Но поневоле, пожалуй, поверишь, если с того часа, как Совинская прокаркала свои мерзкие проклятия, внутри будто что-то запало, надорвалось. «Старость, что ли, подошла? Может, и старость. Эх, кабы

жена-покойница, Господу вверена душа ее, жива была!» Задумывался. — Может, в конце концов, Андрей и прав был, что отец изменился после смерти жены. То-есть не то, чтобы он сам изменился, — жизнь его изменилась. Не с кем больше посоветоваться. Соседи хотя и кланяются по виду дружелюбно, но он знал, что это не по доброжелательству, а опять-таки из-за сына-секретаря.

Тогда и произошел другой случай, хотя случаем его вряд ли и назовешь, до того он казался ничтожным, ничтожнее первого. Под вечер, когда сына не было, старик вышел из хаты на лай собаки. У ворот стоял незнакомый человек. Незнакомый, впрочем, только по имени, ибо по виду сразу узнаешь: пиджак городской, вытертый, заплатанный; картуз будто штатский, а лицо обветренное, солнцем обожженное, нуждой изрытое, с давно небритой щетиной; штаны ватные, советские, казенного образца, когда-то защитного цвета, а теперь серые, вылинявшие. Сапоги — одна пыль, но легко разгадать: короткие керзовые голенища, армейское шитье. В руке ореховая палка. Одним словом, и неопытный узнает: беглец или дезертир. Даже мешок за плечами и тот военного происхождения. Просит воды попить, а может и хлеба кусок, если есть.

Феликс Божек пустил его в хату, сам не зная, зачем. Отодвинул заслонку, вытащил из печки горшок с простывшим борщом, достал ложку и, приоткрыв обернутый полотенцем хлеб на столе, сказал:

— Ешь, если голодный.

Пришлец молча хлебал борщ.

— Кто такой будешь? — спустя некоторое время спросил хозяин.

Я-то? Так себе. Странствую, паломничаю.

Ты бы хоть штаны другие надел, а то за версту видеть.

А откуда их взять, штанов то других?

Помолчали. Хозяин, заметив, что гость стесняется брать хлеб, отрезал ломоть и положил гостю поближе.

Спасибо.

Издалека сам?

Вологодский буду.

С города, деревни?

Колхозный. Военную отбывал.

Божек кивнул:

— Нда... приметно. Ну, а как там, скажи, жизнья у вас?

— Какая там может быть жизнья...

Божек больше не спрашивал. Знал ведь, чего же спрашивать. Какая может быть жизнь? Известно. Облокотившись на стол, после долгого молчания нехотя спросил:

— Чего говоришь, что паломничаешь... так сказал, или вправду?

— Сказать, так почти и вправду. Тут у вас недалеко, говорят, в пуще где-то вещей человек объявился, пророк вроде. Вот я и надумал повидать, поклониться. А там видно будет.

Вон что, — удивился хозяин. — Вот ты куда идешь... Говорят, будущее предсказывает?

Не знаю я. Не ведаю... Слышал, будто чудо сотворить собирается. Летом, как-то. Из камня, говорят, вода брызнет, а потом из-под камня этого женщина встанет. Чтобы правду людям объявить.

Женщина? Это что же, королева какая, или святая?

Нее... кажись, просто так женщина. Да я не верю.

В Бога не веришь?

Не в Бога! В женщину, эту, кажу, не верю.

Я слышал, будто она войну предсказать хочет.

Может и войну, кто ее знает.

Летом, говоришь? Недолго, выходит, ждать.

Недолго, — неохотно подтвердил Божек. И оба посмотрели в окно, за которым скользнула тень. — Сын мой, — коротко сказал хозяин. Гость замолчал.

Андрей вошел, увидя незнакомого остановился на пороге, мельком обшарил его взглядом, потом кивком головы, без слова, поздоровался и сел у окна, скручивая папиросу. Все

молчали. Отец не смотрел на сына. Андрей, впрочем, недолго был в хате. Встал, опять молча кивнул, и вышел. Отец тяжело повернулся к окну, по виду безучастно смотрел. Андрей толкнул ногой калитку, вышел за ворота и направился к поселку.

Ничего необычного в этом не было. Хата Божиков стояла немного в стороне, на краю селения. Андрею приходилось по несколько раз в день шагать по этой дороге. Зашагал он по ней и теперь. Но почему-то в эту минуту пришла старику необыденная мысль: «Неправда, будто человеческое достоинство не значит ничего. Неправда. Оно есть, и всегда было. Совесть». И то ли высказал он эту мысль вслух, то ли каким-то образом угадал ее гость, а может просто такое стечение обстоятельств, только заметил:

— Нынче смазные сапоги семьсот рублей, а совести людской копейка цена.

— Бывает, — сухо ответил Божек и поднялся. — Ну, брат, ночевать у меня, по всему, негде будет.

Пришлец сразу понял; может, он по опытности и раньше знал, или вмиг угадал, — на лице его не было и тени смущения. Встал, привычным движением поднял мешок, взял палку, вежливо поблагодарил и только уже у ворот вопросительно посмотрел в глаза хозяину. Тот показал пальцем:

— Видишь лесок? Березняк тот? Прямо на него и бери. До самой речки. И после на дорогу лучше тебе не выходить. Так и иди, по ройстам держись. А там лес пойдет. И все лицом на юг. Как деревня-то называется, помнишь? Попишки, над рекой Сольчой. Верст тридцать будет, может, с гаком. Не заплутай в дебре.

Потрафим. Счастливо оставаться.

— Всего...

Тоска. Тоска, откуда-то взялась, и ходит, кружит по крестьянскому двору.

Андрей вернулся поздно. Один... И старик вдруг обрадовался, да так, будто выиграло в нем все внутри. Чуть было

даже не прослезился от умиления. Ничего подобного раньше с ним не случалось. И почему? Только потому, что сын сам пришел? Что не привел?

Андрей бросил шапку на кровать, уставился глазами в одну точку и нехотя спросил:

— А человек тот, пошел куда?

— По-о-ошел. Давно. Пошел он. Сказывал, будто в город идет. А впрочем Бог его знает. Давно... Что, Андрюша, хотел я тебе сказать, — внезапно ласково и запинаясь сказал старик. — Ты бы, сынок, того, смотри, не продавался бы совсем-то, с совестью своей...

— Что это ныне, папаня... Нечего ломаться. Я знаю, что делаю...

— Поужинаешь? — так же мягко спросил отец и, не дожидаясь ответа, принялся подогрывать борщ. Тяжело в хозяйстве без женщины, потому и вздохнул.

Спустя несколько дней он встретил на дороге Совинскую, куда-то спешившую с порожним кувшином. Уже должна была миновать его, когда Божек остановился и, глядя в сторону, пошарил палкой в разъезженной колее.

— Приходите, — сказал, словно и не к ней — за молодым детям. А может и по дому пособить? В хозяйстве?

Совинская, не ответив, прошла мимо, поджав губы. Но на следующий день чуть свет явилась к Божекам:

— Подоить коров?

— А как же, непременно, — ответил старик.

Это произошло в конце мая. А две недели спустя...

Началось с того, что Маня бежавшая по дороге мимо ограды уединенного двора и, еле переводившая дух, повторяла одно и то же:

Боже, Боже! Боже, Боже!..

Маня! — окрикнула ее Марта. — Что случилось?

Господи, Боже!..

Маня-я-я! Что случилось?!

Людей увозят!

— Каких людей? Где?

— Людей, людей увозят! — и Маня, не задерживаясь, побежала домой.

Солнце поднялось уже выше сосен, окаймлявших двор с юговостока. Утренняя свежесть растворилась в воздухе, пропитанном полуденной жарой. Марта стояла с лейкой в руке, ибо собиралась поливать помидоры, но тут-же забыла о помидорах и вместо огорода пошла к воротам. Павел уехал на заре, как обычно, возить на аэродром шпалы. Аэродром, десять километров отсюда, говорят, строят под землей. С лошадьё там можно заработать неплохо.

На дороге вдруг показался грузовик. Марта машинально бросила лейку, припала к калитке... Грузовик был тот самый, что еще до рассвета появился в окрестностях, чтобы увезти семью Руковских и их соседа Витовта из имения Выконты. Все происходило точно по инструкции товарища Серова. Промахов не было. На тот же грузовик погрузили и Руковского, сдавшего государству все зерно в положенный срок, и его родственника Витовта, не сдавшего ни килограмма. Посадили туда и Юзика Руковского, сочувствовавшего новым порядкам, и его мать, и старшую сестру. Жену Витовта и двух дочерей. На имущество составили опись; арестованным разрешили взять два-три узла с бельем, наскоро собранным дрожащими от отчаяния руками. Никто не плакал. Старший в группе работников НКГБ раза два прикрикнул: «Вы там, поскорее поворачивайтесь!» Но окрик был не слишком суровый, видно, не из ретивости, а скорее так, для порядка, может, ради подбодрения самого себя, или чтобы подчеркнуть свой авторитет.

Грузовик пыльного цвета мчался по дороге, приближаясь; уже можно было различить торчавшие за кабинкой грани штыков конвоиров. Марта крепко ухватила за калитку, судорожно сжимая пальцы, будто боялась, что ее, Марту, оторвут от этого частновладельческого, нестоящего дворика. Узнала: Руковский сидел, понурая голову, в летнем картузе, нагнутом до бровей; в середине — жена Витовта, угрюмо

сгорбленная; дочь Руковских подвязывала концы косынки. Два солдата позади, держа винтовки между колен, подскакивая от толчков на ухабах, скручивали папироски.

Эти незамысловатые подробности, запечатлевшись в мозгу, быстро промелькнули. Хвост пыли ударил в глаза, скрыл машину. Марта прищурилась, но продолжала смотреть. Пыль удаляется, бежит как-то забавно, боком, как собака закидывающая на бегу задние ноги. Слабый ветерок относит ее на поле нескошенного клевера. Сейчас исчезнут за поворотом... Исчезли. И только клуб пыли блуждающей душой повис над дорогой. Марта ждала, когда рассеется совсем. Рассеялось. Марта отошла от калитки, остановилась с опущенными руками среди двора. Вот так и началось.

Трясогузка бежала по коньку кровли, потряхивая хвостиком. Метнувшись в сторону, хватала подвернувшуюся муху и бежала дальше. Трясогузка эта прилетала каждый год, весной. Гнездо было под черепицей. Но под какой, никто не знал. И почему это водяная-трясогузка свивает гнездо непременно на крыше, под черепицей, когда вокруг сосновый бор, пески, дышащие летним зноем, вдали от речки с прозрачной водой? Надо было в свое время заглянуть в книжку о местных птицах, а теперь не до того, теперь поздно и может быть, так никогда и не узнаешь.

Марта прошептала: «Господи, Боже...» — совсем так, как немного раньше Маня, и как столетия до них и столетия после них будут шептать миллионы людей в разных случаях человеческой жизни, не помня слов Господа, чтобы не призывали имя Его напрасно. А на земле, созданной Его волей, был день, жужжавший насекомыми, напоенный смолистой духотой. День 14 июня 1941 года.

Но, если по правде, день этот начался совсем не так. Потому что страшная весть неведомо как распространилась еще рано утром. И еще задолго до того, как подвязать лошадям мешки с овсом в полуденный перерыв, о том, что происходило, знали все возчики и все рабочие на стройке аэродрома.

Знали у коновязей мужики, и те, что плелись еще у обозов, покачивающих дугами над пыльным трактом. И пассажиры в ранних поездах. В городах, селах, деревнях; от Финского залива, по равнинам Эстонской, Латвийской, Литовской ССР, до верховьев Немана, к полудню 14 июня знали все: «Вывозят людей». Никто иначе не говорил, не уточнял, может потому, что в местных «Правдах» об этом не было ни соответственного комментария, вообще ни слова.

Павлу, когда подъехал он со шпалами, сказал приемщик. Первое сведение, впрочем, оказалось неточным. Приемщик сказал, будто вывозят только из городов.

— А из деревень? — спросил Павел.

— Не слышать что-то...

Работа шла привычным ритмом. Рабочие, возчики, лошади двигались, как всегда, над стройкой висел невеселый гомон, беспричинная ругань, та-же обычная, коллективная суета.

Что же будет дальше? — невольно спросил Павел.

А вот, пока.

Но, дальше спрашиваю!

Ты что, сегодня родился?

В том-то и дело, что раньше теперешнего.

На «раньше» плюнь. Пора привыкать к свободе...

Павел уперся коленом в клешни хомута, стиснул зубы, затянул распутившуюся супонь.

— А ты сам привык... к ней?

— Сойдет. С меня хватает. Ну, давай, поворачивай оглобли, езжай за второй. Получку надо будет получать, не? Сегодня, смотри, суббота.

Понукая лошадь, Павел, дергая вожжами, ворча, выбрался на дорогу,

«И до чего же люди ждут войну... Господи Боже мой! Спасительницу!» — Но и по костелам и церквам приказано молиться только за мир.

Для Андрея Божека ночь на 14 июня стала переломным

временем. В ту ночь приехали в сельсовет из района на легковой машине работники НКГБ, вызвали председателя, бывшего сапожника Дружко, его секретаря Божека, и еще трех самых надежных в селе активистов, чтобы познакомить их с инструкцией и уточнить план действий. Грузовик, по расписанию, должен был прибыть на рассвете. В списке высылаемых был и Павел.

Но не все пошло так гладко, как предписывалось по инструкции. И винить в этом, правда, кого-нибудь было трудно. Справедливо заметил Дружко, разводя руками словно оправдываясь: «В первый раз...» Конечно, никто еще как следует не был подтянут. Потому и получилось больше, чем нужно, суеты, бесплодных разговоров, возбуждения, — а это и привело к разглашению государственной тайны, в сособенности под влиянием выпитого (для подбодрения) самогона. Например, хотя бы тот же Андрей Божек. Не сумел удержаться, чтобы, выпучив глаза, не ходить по улице с таинственным видом, расспрашивая встречных, дома ли Павел? Или, ни с того ни с сего, встал вдруг подбоченившись против калитки ксендза и, подмигивая прохожим бабам, горланил:

— Власть! Власть, она, знаете, откуда? От Бога, ха-ха! Всякая власть от Бога, ха-ха-ха!

Ни к чему было такое поведение.

Сначала приступили к аресту военных-беженцев из Польши, подлежащих вывозу в первую очередь. Их в поселке было немало. И главным образом женщин с детьми. Плач, беготня, никак вещи не соберут. Пока справились с ними, солнце ушло за полдень, — а к этому сроку было предписано покончить все дело. И метко сострил товарищ Раченко, прибывший из района для инспекции:

— Вы что же, милые, выходит, даже 25 процентов нормы не осилили!

Руководитель отряда, лейтенант госбезопасности, в сердцах дернул плечами, плюнул и даже плевка не растер:

— Темный же народ, недисциплинированный! Сознательности в нем не на грош!

Пришлось позвонить в районный центр НКГБ, попросить, в виде исключения, разрешить продолжать работу по изъятию врагов народа и контрреволюционно настроенных элементов до позднего вечера.

Андрей Божек, вспотевший, усталый, зашел домой во второй половине дня. Минувшей ночью ему, сорванному с постели, было приказано захватить служебный пистолет. Но Андрей, заспанный, второпях не мог найти его там, куда всегда прятал. Теперь, только перешагнув порог, он набросился с упреками на отца: в доме все вверх ногами, что не положишь, на своем месте не лежит, невозможно найти, и куда делся пистолет, который хранился в среднем ящике комода?

Пистолет этот, гордость Андрея, был доказательством доверия ему со стороны власти, а в то же время вроде как бы и символом его, Андрея, личной власти. Правда, выдан он был Андрею со строгим предписанием: ни под каким видом не носить его при себе зря, а тем более употреблять только по приказу свыше, иначе ждет суровое наказание. И хранить дома хорошо запрятанным. И вот пришел такой день, а пистолет, черт его возьми, запропастился! Верно, что в последние дни Андрей не смотрел, где он, но должен же лежать на старом месте, в среднем ящике, под грудой вышитых полотенец серого холста.

— Не видал я твоего пистолета! — со злобой ответил отец. Совинской в хате не было. Нанятая для присмотра за хозяйством, она приходила только два раза в день. Сварив обед, уходила; в конце дня приходила еще раз, к вечернему удою.

Андрей наспех закусил. Есть не хотелось; от непривычно выпитого утром самогона и нервного состояния было не до еды, притом надо торопиться снова в сельсовет. Отодвинул тарелку, прошел в горницу, — было слышно, как ищет он там, шарит под кроватью, отпирает сундук, в третий раз обыскивает комод. Из сосновых досок, комод был старый, куплен еще до первой мировой войны на ежегодной ярмарке в день

Св. Казимира. Когда-то покрашенный в наивный розовый цвет, теперь он поблек, разохся и легко не поддавался. Ящики упрямылись, если не знать, как их выдвигать, а тем более, если дергаешь в раздражении: от этого весь комод шатался, скрипел.

Старик услышал: что-то упало. Встал, подошел к порогу. На комод, посередине, с незапамятных времен, стояла гипсовая Богородица, из тех дешевых изделий религиозного культа, что в былые дни продавали бродившие по селам лотошники. Куплена была, помнится, в первый год их супружества покойницей женой. Сколько лет! От рывка Андрея фигура колыхнулась; Андрей хотел придержать свободной рукой, но не успел — Богородица упала. Скрывая невольное смущение, Андрей с деланной злобой крикнул отцу:

— Ты спрятал!

— А на што мне? На кой черт мне твой пистолет?!

Старик подошел к комоду. Богородица лежала на боку; руки, как всегда опущены вдоль покрова. Она откололась от подставки, — на подставке осталась стопа, давящая символического змея. Откололся и кончик носа, отсвечивающий теперь свежестью гипса на годами загрязнившимся лице. Старик взял фигуру, молча, насупленно всматривался в резкую белизну носа. Зачем-то попробовал потереть его грязным пальцем. Сын отошел от комода, подтянул ремень брюк и, не глядя на отца, как бы для того, чтобы сгладить неприятное впечатление, переменял разговор. Попросил, чтобы отец, когда увидит, — из окна хорошо видно дорогу, — как Павел возвращается на подводе домой с работы на аэродроме, дал знать в сельсовет.

— Иди, иди! Сыщика себе нашел. Не был я доносчиком и не буду!

Андрей, уже перешагивая порог, остановился:

Что это, вижу, с ними теперь заодно держишь?

С кем это «с ними», по-твоему, а?

Я знаю, что говорю. И ты знаешь.

Иди, гадюка ты, иди!.. — голос старика сорвался

от сдерживаемой ярости.

— Я-то могу пойти, мне не беда и совсем уйти. А вот отцу, смотри, как бы хуже не было...

— Ты мне какую беду-то сулишь? А?

— Известно, какую. Что же это, отец не примечает, что делается кругом, что ли? Все о своем хозяйстве лишь старается? А о частном хозяйстве надо забывать, да, забывать, о другом надо подумать. Хозяевы теперь кулаки, вот якая вещь выходит. А кулакам знамо дело, куды дорога...

— Ах ты, щенок! Собачий ты изверг!.. Да для кого я всю жизнь свою..! — старик задохнулся, неловко, обеими руками держа гипсовую фигуру; жилы на шее набухли, лицо стало багровым. И не помня себя, не отдавая отчета, со всего размаха ударил Богородицу об пол.

Андрей вздрогнул, поглядел искоса; увидев страшно побелевшие глаза отца, ничего не сказал и вышел, прихлопнув дверь.

Несколько минут старик стоял неподвижно, как в оцепенении; на вздутом лице показались капли пота. Потом глубоко втянул в себя кислый, застоявшийся воздух непроветренной хаты, опустил на колени и стал старательно собирать разбежавшиеся по полу осколки. Собрал, положил сначала на комод, но раздумал, выдвинул малый верхний ящик и ссыпал туда, в разную, хранившуюся там тоже годами, рухлядь. Тяжело вздохнул.

Намедни решил было в первую же субботу скосить ту лужайку, что за гумном. В воскресенье, думал, подсохнет, если Бог дождя не пошлет, а там, в понедельник, можно будет сгрести и сложить в копны. Но сегодня, с утра, было не до работы. Взяться разве, под вечерний холодок? Вышел в сени.

За перекладной наката, у высохших, собранных покойницей женой в прошлом году и бесполезных целебных трав, торчал брусок. И так случилось, что туда же, два дня назад, в это ненужное больше зелье, он спрятал пистолет сына, попавшийся под руку в комод. Почему, зачем он это сделал,

признаться и сам не знал. Так просто, взял и спрятал. И почему-то не сказал сыну, не признался. Да незачем вдумываться: так сложилось. Теперь протянул руку, чтобы взять брусок, и тотчас же подумал: «Поздновато, верно, косить сегодня...» И вместо бруска почему-то вытащил пистолет. Щелкнул затвором и, держа дулом вниз, вышел на крылечко, сошел по ступенькам, на секунду остановился, пошел дальше по двору. «Не рядом же с собачьей будкой...» Ровным, каким-то неестественно твердым, негнушимся шагом шел мимо сарая-конюшни, не глядя по сторонам, а только пристально следя за носками своих сапог, грузно продвигающихся вперед, шаг за шагом, еще шаг, и еще... Сзади не увидишь ни малейшего волнения, а лицо — оно, конечно, стало землистым, цвета серой пашни. Под навесом сарая висел старый хомут, вытертый, с вылезшей паклей, но еще годный; — вчера забыл отнести в сени; длинная супонь свисала, конец лежал в пыли. Старик тяжело нагнулся, не сгибая правой руки с пистолетом, левой поднял, отряхнул ремень, набросил на хомут; миновал сарай, вышел на зады гумна. Лужок в самом деле подрес, только коси. Вдоль бревенчатой стены гумна зеленой гущей стоял репейник, попеременно с крапивой и подражающей ей ясноткой; тут же ютилась всякая, иная неприхотливая тварь подзаборная — лютики, синие полевые колокольчики; желтело несколько одуванчиков, — большинство их уже окуталось шариками пуха; дальше подорожник и обязательно присутствующий чертополох... Куры поодаль рылись в чем-то рыхлом.... Последним в глазах остался пестрый петух...

От гула выстрела дворовый пес присел на задние ноги, рывком брехнул и, ошетинившись, вытягивая цепь, беспокойно нюхал воздух, порываясь туда, где что-то непонятное случилось в хозяйстве. Куры за гумном в панике шарахнулись было в сторону, взмахивая крыльями, но остановились, доверяя петуху, который прикрывал их побег, а теперь первым остановился и с недоумением всматривался, как из разбитого черепа хозяина, между волосами и кусочками мозга, вытекала струя крови. Боком, боком колесил петух, не смея подойти

ближе, и говорил стоявшим, как вкопанным, курам: «Квоо-квоо-кво-кво...» Обошел вокруг, заметил: сбитый выстрелом пух одуванчика медленно оседал на седые волосы.

«Квоо-кво...» Петух боялся подойти ближе и клянуть в серо-красный мозг, — а боялся потому что одна рука, выброшенная вперед еще вздрагивала. Долго вздрагивала рука с короткими, натруженными за жизнь пальцами; медленно текла кровь, пока струйка ее не подошла к тем пальцам и стала густеть...

Уезжая в район, товарищ Раченко распорядился, чтобы процедура вывоза была изменена: нельзя сразу подъезжать на грузовике. Практика показала, что ожидающий перед домом грузовик вызывает ненужное любопытство соседей. Надо идти пешком, арестовать семью, приказать собрать вещи и уже после этого подъехать с грузовиком, быстро погрузить и уезжать.

Было еще светло, когда пошли арестовывать Павла и его жену, Марту. Три энкагемиста, Дружко и активист села, по прозвищу Франц. Шли по дороге: красться по задач или по опушке леса было бы несерьезно, да и вызвало бы панику среди жителей.

Павел только что вернулся домой. И не успел бы бежать, если бы не неожиданное стечение обстоятельств.

Когда группа миновала костел, потом бывшую дачу Давидовского, определенную теперь под сельский клуб, и вышла на развилку дорог, навстречу бежала баба: волосы растрепанные, глаза дикие. Это была Совинская. Размахивая руками и еле переводя дух, она кричала:

— Убили! Ох, убили!

— Кого? — поморщившись, спросил лейтенант госбезопасности, останавливаясь.

Не обращая на него внимания, Совинская бросилась к Андрею:

— Батьку твоего убили! Ох!

Андрей побледнел, разинул рот, огрубевшее его лицо

вытянулось в испуганной, жалко-ребячьей гримасе. В следующую секунду он рванулся в сторону и, не спрашивая разрешения, побежал к своему дому. Остальные как-то замялись, смотрели на лейтенанта. Убийство отца секретаря сельсовета — дело не маловажное, мешкать нельзя. Лейтенант колебался недолго:

— Пойдем, — сухо сказал сопровождавшим. И Совинской: — Веди. — Хотя и Дружко и Франц тоже могли бы указать, куда идти. Видно, злоба на неудачный поселок закипела в человеке, ответственном за выполнение государственного задания. Шли молча, чуть растянувшись по дороге.

Андрея нашли на коленях в измятой траве; над трупом отца, с вздрагивающей от рыданий спиной.

— Папа! Пааапка! — сквозь слезы бормотал он, осторожно трогая плечо мертвого, словно надеясь его разбудить. — Папа! — Рукавом вытер слезы, размазав их по всему лицу. — За что? За что, скажи, за что ты так? — и заплакал, как ребенок.

Энкагебисты молча постояли. Один увидел в траве пистолет, поднял, внимательно рассмотрел.

— Сам себя прикончил. Вне сомнения.

— Взять тело и снести в хату, — коротко распорядился лейтенант...

Павел, заметивший группу на дороге, не терял времени. Он быстро снова запряг лошадь, посадил на подводу жену, успел даже прихватить кое-что из пожитков и укатил в леса. Путь держал на село Попишки, куда стекалось не мало народу со всех мест Литовской, а частью и из Белорусской и даже Латвийской ССР, ожидая предсказанного пророком чуда.

Вскоре и солнце склонилось к тем дальним казенным лесам. Они всегда были казенные. И во времена великих князей литовских, и в Речи Посполитой, и в русское царское время, и в первую немецкую оккупацию, и в панской Польше, и в

буржуазной Литве, и в беспросветные дни всеобъемлющей нынешней скуки. Так и оставались на далеком горизонте, черным гребнем высоких елей поднимаясь на фоне краснеющего вечернего неба.

Черт побери, откуда только берутся эти осложнения! Поздно вечером во второй раз приехал Раченко: пришлось прервать заслуженный отдых. Переговорив с лейтенантом госбезопасности и дав ему указания, не подлежащие разглашению, он вызвал, уже ночью, бывшего неплохого сапожника, а теперь председателя сельсовета Дружко.

— Что это у вас, Дружко, трудности, слышу, возникли?

— Не так, чтобы трудности, — развел руками Дружко. — Только, как сказать...

Мдаа...

Разрешите узнать, товарищ Раченко... Божек, Андрей-то, говорят, в город уехал?

Уехал, — сухо сказал Раченко. — Он больше не секретарь вашего сельсовета.

Дружко недоуменно смотрел на него.

— А кто же будет...

— Во всяком случае, не Божек. Сколько там земли у них было, восемь гектаров?

Выходит, похоже, в этом роде.

То-то и оно. Кулак не может быть секретарем сельсовета.

Но ведь прежде...

Прежде! Прежде жил его отец, — значит, не он сам кулак. А потом, говорят, раскис он совсем. Шалопай, болтун, никуда не годится. Что от такого пользы? Ему в костел ходить, за упокой души молиться, а не в большевиках быть. Не подходит. Между прочим, кто его выдвигал, в секретари предложил?

— Да ведь тогда, вроде бы, все...

— Глупости говорите, Дружко. «Все» — это и контра может быть. Дело не во «всех», Дружко, а в сознательной массе, в трудящихся, — в этом дело. Закуривайте. Так вот,

запомните. Это во-первых. А во-вторых: приняты меры по обеспечению его хозяйства?

Я думал, он вернется...

Не думать надо Дружко, а дело делать. Инвентарь живой, мертвый, добро разное, надо на учет взять, похлopotать.

Так у них там Совинская прислуживает...

Куда поехал: «прислуживает». Совинская батрачка, не век же ей кулакам служить? Для того мы вам свободу, освобождение из-под панского ига принесли?

Дружко моргал красными от бессонницы глазами, стараясь смотреть в усталое лицо Раченко, но постоянно отводил взгляд к запачканному полу. Месил в руках шапку.

— Не было же распоряжения... — робко возразил.

— Зачем распоряжение! Кому здесь распоряжаться, кто тут хозяин? Эх, вы! Еще председатель сельсовета. Сколько времени надо, чтобы вы самое простое поняли, Дружко? Значит, двери настежь, а скотина может быть не напоена, лошади, коровы, свиньи...

— Свиней у них не было, кажись, только два поросенка невеликих...

— Так что с того, что невеликие? Подыхать им значит? Живая тварь. Где у вас хозяйский подход? А вы знаете, что такое председатель сельсовета? Это — вроде хозяин всего села, вашей общности. Потому вы теперь все хозяева своего, народного. Это ваше добро, общее, но ваше. Не восприняли еще, Дружко? Каждая вещь вам принадлежит, не как раньше, врагам народа, а вам. И эти, как говорите, поросята малые, и куры, и все, что есть. Даже цветы в горшках, и те ваши. Всенародные, Дружко! Понимать надо. Пашни, леса, луга.

— Как же не понимать, понимаем, — вяло ответил Дружко.

«Понимаем», — передразнил Раченко, смягчив тон.

— Это надо на деле понимать, действительно, всем сердцем, а не так, только формально. Застыли вы в цепях панского ига,

а тут требуется инициативу проявлять, с огоньком работать. Вы же теперь свободные люди стали. А где у вас сознание этого исторического перелома?

— Сознаем, товарищ Раченко. Натурально, свободные мы теперь, — одностонно тянул Дружко.

В соседней комнате кто-то говорил по телефону. Раченко машинально прислушался. Вошел лейтенант:

— Приказано дальнейшие действия по выселению контр-революционного элемента до понедельника отложить. Можно идти спать.

Раченко зевнул, встал из-за стола, надел фуражку и, забыв о Дружко, не прощаясь пошел за лейтенантом к двери. На пороге вспомнил, повернулся:

— До свидания. При случае еще поговорим, Дружко. Покойной ночи.

— Покойной ночи, товарищ, — отчеканил бывший са-пожник, явно постаревший за последние две ночи. И остался стоять, хотя стихли уже шаги сошедших с крыльца, а потом растворился, затерялся в июньской ночи и шум автомобиля, увозившего представителей народной власти.

На другой день, — это было воскресенье, — жена Друж-ко, баба глупая и совершенно несознательная, придя после службы из костела, как бы невзначай, мимоходом, сказала скороговоркой:

— Ксендз, он, конечно, верить не велит. А люди болта-ют... А ты как думаешь, чудо это, в Попишках тех самых, будет оно, аль нет?

Дружко не стал ей отвечать.

Иосиф Мацкевич

*

Все стихло на исходе дня,
И мы с тобой притихли сами.
Ты молча смотришь на меня,
Четырехлетними глазами,
Таковыми чистыми, что мне
Все ближе хочется склониться
К их синеватой глубине,
Чтоб снова — чудом — очутиться
Там, где вечерняя волна
Почти сквозь сон тебя качает,
Где медленная тишина,
Как белый лебедь проплывает.

*

Трудолюбивые руки, которые пряли
Тонкую пряжу, широкий кроили хитон,
Смуглые женские руки не знали,
Знать не мог ли, кому достанется он:
На просторах полей, по тропам неприметным
Звездной ночью, на утренней ранней заре,
С солнцем, пылью, дождем дружил он и с ветром,
Чтоб средь зеленых олив на высокой горе
Вдруг просиять. Вот эта простая, вот эта
Бедная ткань — непорочного снега белей.
Что же с того, что мы не видели света,
Что не мог ли коснуться одежды Твоей!

*

Апрельский день прозрачен был и звонок;
Сквозь блеск, мелькание и голоса
Я быстро шел, — и встречный негритенок
Внезапно поднял на меня глаза.

И вдруг каким-то трепетом объятый
Я на одно мгновение онемел:
Как выточенный ангел из агата,
Он в душу мне внимательно смотрел.

Так, где-то в Африке, в глухой деревне,
Тому уж около двух тысяч лет,
Вот этого ребенка предок древний
Смотрел ослу и путникам вослед.

И то, что он увидел, сохранилось,
Передалось таинственно в веках,
И удивленным чудом затаилось
В его чуть влажных и больших глазах.

Как будто здесь, средь площади убогой,
Из самой глубины души своей
Он вновь увидел белую дорогу
И тихое сияние над ней.

Георгий Раевский

Эти три стихотворения покойного поэта Георгия Раевского присланы нам из Парижа С. Ю. Прегель. РЕД.

БЕССМЕРТНАЯ ОШИБКА

Ровно сто лет прошло с тех пор как Достоевский (в «Зимних заметках о летних впечатлениях») назвал Петербург «самым фантастическим городом, с самой фантастической историей из всех городов земного шара». Фантастичность означает в данном случае нереальность, «невсамделишность», призрачность, а в основе всего этого парадоксальность, искусственность; черты эти восходят к самому основанию города и присущи восприятию его отнюдь не одним только Достоевским. Не история Петербурга фантастична: Петербург фантастичен, оттого что порожден фантазией, прихотью Петра; призрачен, потому что создан его произволом. Парадоксален замысел новой столицы, выбор места для нее, — где-то с краю, да еще и на болоте. Парадоксальна совершенная не-русскость облика, особенно первоначального облика ее. Парадоксально само ее имя.

Имя это голландское: Санкт-Петербург. Так оно в первые времена и произносилось и писалось. Оттого в простонародном обличьи своем и стало оно не Петером, а Питером. Переименование столицы в 1914 году было трижды нелепым. Во-первых, мы тогда с Голландией не воевали. Во-вторых, Петр окрестил город не своим именем, а именем святого, которое ему самому дано было при крещении, так что по-русски соответствовало бы этому наименование «Святопетровск», а не «Петроград». В-третьих, даже если бы Голландия объявила нам войну, и если бы российская держава уже тогда (а не через несколько лет после того) решила отречься от христианства, переименовывать столицу все же было бы нелепо: дело Петра было сделано, отменять его, возвращаться в московскую Русь никто ведь тогда и не собирался. Для России, если не для Руси, имя Петербург стало русским именем. Но в 1703 году парадокс был и в самом деле парадоксом,

и по-голландски названная новая столица в самом деле могла казаться русским людям чужеземной выдумкой, наваждением, неживучим сонным маревом.

Такой она им и казалась, и когда основана была, и когда стала столицей уже не в замысле, а на деле, да еще и много позже. Недаром перешептывались: «Петербургу быть пусту». Недаром и двор, три года всего после смерти Петра, внушил его внуку промолвить: «не хочу гулять по морю, как дедушка», да и двинулся со всем скарбом назад в Москву с остзейских берегов, стал о них забывать пока, через пять лет, курляндская Анна его к ним не возвратила. Еще ведь и помнили, что всё на тех берегах началось с наводнения и цынги; знали во что обошлись те каналы, мостовые и на заморский лад возведенные палаты, которые, по словам очевидца, еще в двадцатом году тряслись и качались, когда карета проезжала мимо них. Людей Петр не берег, как впрочем и себя; пекся о будущем, а не о настоящем; «парадиз» его строился насильно, каторжным и убийственным трудом. Справедливо Ключевский писал: «Едва-ли найдется в военной истории побоище, которое вывело бы из строя больше бойцов, чем сколько легло рабочих в Петербурге и Кронштадте». В первое же лето множество их перемерло от цынги и поноса, а под осень австрийский посланник доносил, что две тысячи раненых и больных утонули в первом наводнении. О втором, три года спустя, Петр писал Меншикову: «Зело было утешно смотреть, что люди по кровлям и по деревьям, будто во время потопа сидели, не точию мужики, но и бабы». Столь забавное зрелище видел он не в последний раз: в его царствование столица перенесла одиннадцать наводнений. Пожарами посещалась она тоже вполне исправно: в десятом году сгорел Гостиный двор на Петербургской стороне, в семнадцатом Сенат и Военная Коллегия. Опасность пожаров была тем более велика, что каменные строения высились лишь вдоль рек; все что окаймлялось их фасадами было деревянным. Но и бревен не хватало, не только камня. Все привозилось издалека. Для острастки воров, виселицы стояли возле складов.

Таково было начало. «Люблю тебя, Петра творенье!» Кто бы мог это сказать в те годы, кроме самого Петра? Он

все задумал, он всем руководил, все выполнялось по введенному им регламенту, отступить от которого значило подвергнуться строгой каре. В регламентации — секрет Петербурга, корень его отличия от русских городов, да и от тогдашних западных столиц. Улицы проводились по ранжиру, дома воздвигались по установленным свыше образцам. Деревянные предписывалось обшивать тесом и раскрашивать под кирпич, чтоб смотрели понарядней; неладно построенные каменные «по архитектуре поправлять»; на крыльцах всех тех, что тянулись вдоль будущей Адмиралтейской и Дворцовой набережной, поставить чугунные балясы. В двадцать первом году Петр нашел, что здания бойни возле устья Мойки сделаны «весьма худо» и распорядился вправить их «в линию регулярно, подобностью якобы жилое строение, и с фальшивыми окнами и для лучшего вида расписать красками». Заботился он обо всем, всякие беды старался предотвратить; велено было мох, употреблявшийся для конопаченья стен, обваривать кипятком, чтобы в домах не заводились тараканы. Как ни тягостно было для многих это вечное «этак, а не так», это «регулярно», это «в линию», все же и о «лучшем виде» при этом не забывалось. Хоть и много было в широко планированном и наспех застраиваемом городе фальшивых окон, в прямом и в переносном смысле слова, хоть и обживаться по настоящему начали в нем вероятно лишь ко времени Елизаветы, а все-таки прав был птенец Петрова гнезда, Неплюев, когда сказал: «Сей монарх отечество наше привел в сравнение с прочими». И то же самое мог бы он сказать об основанной Петром столице.

«Люблю тебя»... При Екатерине, при Александре, многие говорили это в мыслях Петербургу, а у кого любви к нему не было, тот все же вторил беспрекословно восторгам иностранцев. Перемена тут наметилась именно в те годы, когда он раз навсегда был прославлен Пушкиным. Скоро Герцен напишет «любить Петербург нельзя». Хомяков еще за год до «Медного Всадника» назвал город «гранитною пустыней», а красоту его «мертвой»; она и начнет скоро умирать: отчасти оттого, что перестанут ее видеть, отчасти же потому, что примутся ее уродовать. Регламент был ей нужен, этой особой петербургской красоте, этому новейшему из велико-

лепных городов Европы. До смерти Росси его еще «поправляли по архитектуре», но когда архитектура приказала долго жить, то и на «правку» махнули рукой. В 1843 году опубликован был указ, разрешавший домовладельцам строить дома и красить их как им заблагорассудится. Последствия столь неуместно «либеральной» меры императора Николая не замедлили сказаться, но самые тяжкие из них пришлось уже на следующие царствования. Едва ли не тяжчайшим была застройка уродливыми и разношерстными домами набережной между двумя флигелями Адмиралтейства, в результате продажи морским министерством соответственного участка в 1871 году. К тому времени Петербургом давно уже перестали любоваться. Тургенев в очень непривлекательном виде описал его в «Призраках». Писемский, в «Тысяче душ» (1858), называет его «могильным», а одного из героев своей книги заставляет говорить о нем «вздыхнув»: «Город без свежего глотка воздуха, без религии, без истории и без народности». Иван Аксаков в письме к Достоевскому призывает его, ради той же народности но уже без всяких вздохов, ненавидеть Петербург всеми силами души. Достоевский пожалуй и не прочь бы был, старался, но не то что возненавидеть, он и разлюбить его до конца не смог. Думал он о нем много, чувствовал его острее, чем кто бы то ни было, даже чем то новое поколение, после его смерти, которое вновь полюбило его город, любовью искренней, нежной, но все-таки другой, чересчур рассудительной, хоть и со слезой, слишком уж знающей, слишком книжной...

Не прошло и года после «Зимних заметок», как он (в «Записках из подполья») вернулся к своей формуле и ее исправил. «Петербург самый отвлеченный и умышленный город на всем земном шаре», так пишет он теперь, и теперь с ним трудно не согласиться. Отвлеченный? Да. Оттого то и есть, должно быть, в нашей любви, даже в пушкинской любви к нему что-то бесплотное: от виденья больше чем от прикосновенья. Умышленный? Верно. Но ведь умысел все же удался. Чего только город не пережил. Нынче население его, нужно думать, на девять десятых новое, другое. И все же — так передают и я этому верю — лицо его сохранилось, мыслят и чувствуют в нем не совсем так, как в остальной

России, как в Москве. А различие это, — на нем всё тесто возшло, оно — неотъемлемая драгоценная черта всей после-петровской, после-пушкинской России. «Бессмертная ошибка», сказал об основании Петербурга Карамзин, но зачем же называть ошибкой такой верный выбор, такой **оправданный** произвол...

В. Вейдле

КОСМОНАВТ

Вылетел залп из новых орудий,
И дым над землей поднялся, как вьюга,
И были убиты сразу все люди
Севера, запада, востока, юга.

А земля неслась по своей орбите,
К солнцу привязанная, как птица.
И космонавт над землею открытий
Не знал, где ему теперь опуститься. . .

Там, где нету любви, нет и любимых.
Небо горит темнея, светлея,
Озаряя землю, полную дыма,
И одного космонавта пад нею.

ВЕЧЕР НА ПАТМОСЕ

Здесь Иоанн свою пещеру
Как землю новую обрел,
И из пещеры вынес веру
На крыльях медленных орел,
И всё кружил над пенсой белой,
И отлетел в свой Горний Град.
С тех пор на Патмосе закат
Стоит средь волн осипотелых.

Поэзия, не ты ль всему виной,
Тебя ль не осуждает голос мой?
В земную немоту изнеможенья
Ты посылаешь тень стихотворенья,
Она мелькнет и взор вещей погас,
И долго ты не навещаешь нас,
Всю эту землю странную, больную,
Как будто бы стыдясь, иль негодуя.

* *
*

Таится грех под розовым окном
И заползает в сердце легким сном,
В луче рассветном, в первой летней тени,
Во взгляде, воздухе, прикосновении...
Кленовый лист несет земле свой тлен
И трещина идет средь наших стен —
Несовершенств печальная забота!
И плачет и поет над миром кто-то.

Странник

НА БЕРЕГАХ НЕВЫ*

На берегах Невы
Несется ветер разрушеньем вея.

Георгий Иванов

Ф. К. СОЛОГУБ

С Сологубом я познакомилась, как это ни странно, не в Петербурге, а в Москве. Это было в июле 1921 года. Я тогда гостила у моего брата. Гумилев, бывший в Москве проездом из Крыма, немедленно повел меня на какое-то чтение стихов, а потом к Пронину, бывшему хозяину «Бродячей Собаки».

...Все размещены по рангам. Сологуб восседает, а не просто сидит, на кресле с высокой прямой спинкой, которое Пронин только что втащил из прихожей в почти лишенную мебели комнату. Рядом с Сологубом, на венском стуле, его жена Анастасия Николаевна Чеботаревская, маленькая, смуглая, вечно встревоженная — чаще всего без всякого основания. Но сейчас ее тревога вполне обоснована. Скоро-скоро, через несколько дней, они наконец вырвутся за границу. И начнут новую жизнь. Для того, чтобы скорее вырваться из «этого ада», они с Федором Кузьмичем и явились в Москву.хлопоты увенчались успехом. Завтра же они с Федором Кузьмичем вернутся в Петербург и будут готовиться к отъезду.

Сколько ей еще предстоит тревог и волнений! И она, нервно поводя плечами, ежится и шурится, куря папиросу за папиросой. Да, тревог и волнений предстоит столько, что она не выдержит их бурного натиска и в день, когда наконец будет получено разрешение на выезд в «заграничный рай», выбежит из дома без шляпы и побежит стремглав к Тучкову мосту. Там, постояв в задумчивости, будто решая вопрос:

* См. кн. 68, 71, 72, 74 «Н. Ж.»

куда же теперь идти? Что теперь делать? — она вдруг широко взмахнет руками и бросится с моста в Неву.

Но все это произойдет через несколько недель. После того, как умрет Блок и будет расстрелян Гумилев. Пока же Гумилев, веселый и загорелый, только что вернувшийся из Крыма, каждым словом и жестом подчеркивает свое почтительнейшее отношение к Сологубу.

Гумилев сидит на некрашеной табуретке. Сам хозяин без пиджака, в неестественно белой по тем временам рубашке пристроился на углу большого кухонного стола. Мне досталась низенькая скамеечка, с которой я и смотрю на Сологуба снизу вверх — вся внимание и слух.

Конечно, прозвище «кирпич в бюстике» найдено удачно. Но он все же похож скорее на статую командора, на каменного гостя, чем на кирпич.

Разговор, несмотря на дружные старания Гумилева и Пронина, совсем не клеится. Сологуб величаво, с невозмутимым спокойствием, холодно, каменно молчит. Гумилев, переходя с темы на тему, стараясь всеми силами вывести Сологуба из молчания, коснулся вскользь сорванного имажинистами посмертного юбилея, не помню уж какого, писателя.

— Безобразие! Мерзавцы! — шумно возмущается Пронин.

И тут вдруг неожиданно раздается каменный, безапелляционный голос Сологуба:

— Молодцы, что сорвали! Это имажинистам надо в актив записать. Для писателя посмертный юбилей — вторые похороны. Окончательные. Осинный кол в могилу, чтобы уже не мог подняться. Надо быть гением, титаном, как Пушкин или вот еще Толстой. Тем ничто повредить не может. Никакие посмертно-юбилейные благо- и подло-глупости и досужие домыслы. А для остальных писателей посмертный юбилей свинцовая стопудовая крышка. Даже мороз по коже, как подумаю, что обо мне напишут через десять или двадцать пять лет после моей смерти. Ужас!

Он не спеша достает из кармана пиджака большой серебряный портсигар и закуривает папиросу о спичку, подчеркнуто-почтительно поднесенную ему вскочившим со своей табуретки Гумилевым.

— Из-за страха посмертного юбилея главным образом и умирать не хочу, — важно и веско продолжает Сологуб и, выпустив струю дыма из ноздрей, медленно прибавляет: —

Хотя и вообще умирать-то не очень хочется. Еще по Парижу погуляю... Подышу легким воздухом земным...

От звука голоса Сологуба Чеботаревская еще нервнее дергает плечами и, рассыпая пепел по полу, звонко и быстро говорит, сверкая глазами:

— Конечно, Федор Кузьмич прав. И, конечно, Толстой гений и титан. Тургенев его недаром слоном назвал. Но, — она вызываяще закидывает голову, — но всем известно, что он был неумен и необразован. Он даже университета не окончил! И что за слоновую чушь он нес о Шекспире. Нет, не спорьте, пожалуйста! Не спорьте!

И она, раздраженно фыркнув, обиженно замолкает.

Но никто и не думает спорить. Толстой забыт. Разговор о славе пожизненной и посмертной уже катится неудержимо, как с горы.

Кстати, Сологуб напрасно страшился посмертного юбилея. Этот страх, как, впрочем, большинство страхов, не оправдался. И в России, и в эмиграции ничем не отметили и не отпраздновали ни его десятилетнего, в 1937 году, ни его двадцатипятилетнего, в 1952 году, посмертного юбилея. Сологуба забыли «всерьез и надолго». И теперь кажется странным, что он когда-то считался среди поэтов «первым из первых». Сологуб непоколебимо верил и в свою прижизненную и посмертную славу, тогда как Гумилев только мечтал завоевать и ту и другую. И, надеясь прожить еще лет сорок, не предчувствовал, как близка к нему смерть. И как велика будет его посмертная слава.

Но я сейчас, сидя у ног Сологуба, не думаю о славе — ни о пожизненной, ни о посмертной. Вопрос о посмертных юбилеях совсем не интересует меня. Я смотрю на Сологуба, я слушаю его, и мне трудно поверить, что он, восседающий так каменно-величественно передо мной, написал эти легкие, качающиеся, тающие, превращающиеся в музыку стихи:

Друг мой тихий, друг мой дальний,
Посмотри —
Я холодный и печальный
Свет зари.

Я напрасно ожидаю
Божества.
В этой жизни я не знаю
Торжества.

Одинокий и печальный
 По утру,
 Друг мой тихий, друг мой дальний,
 Я умру.

Как он мог? Я не понимаю. Я повторяю про себя его сомнамбулические строки:

Лила, лила, лила, качала
 Два тельно-алые стекла.
 Белей лилей, алее лала
 Была бела ты и ала...

Как может он произносить: — лила, лила, лила, качала своим каменно-тяжелым, деловым, трезвым голосом? Мне страшно хочется попросить его прочесть какие-нибудь его стихи. Но я не решаюсь. Я перебираю в памяти его стихи, отыскивая строки, которые так чудовищно-резко не противоречат его внешности. И нахожу:

В тени косматой ели
 Над сонною рекой
 Качает черт качели
 Мохнатою рукой.
 Качает и смеется...

Да, я могу себе представить, что Сологуб написал это. Я могу даже себе представить, как он это читает. Наверно, хорошо. Но разве можно произнести его голосом:

Откуда такая нежность?
 И что с нею делать, отрок?

Да. Откуда у Сологуба эта, как снежинка тающая, ангельская нежность? В стихах? А, может быть, и в жизни?

Пронин, жестикулируя так, что белые рукава его рубашки мелькают, как крылья ветреной мельницы, восторженно-возмущенно рассказывает о том, как здесь в Москве, на вечере Блока имажинисты кричали ему: «Мертвец! Мертвец! В гроб пора!» На что Блок спокойно сказал: — Да, они правы. Я давно умер.

— Я давно умер, — медленно и веско повторяет Сологуб, прерывая неистовый поток рассказа Пронина.

Минута молчания. И снова раздается размеренный тяжелый голос Сологуба:

— Да. Ощущение своей смерти — я давно умер — иногда посещает поэтов. Особенно нестарых. Ведь поэты постоянно думают о смерти — своей и чужой. В сущности, у них только две темы: смерть и любовь. Но вот я, чем дальше живу, тем больше начинаю сомневаться в своей смерти. Мне все чаще кажется, что я не умру. Совсем не умру. Никогда. Какая-то во мне появилась надежда на бессмертие. Даже уверенность, что не все люди смертны, что самым достойным — одному на сотни миллионов — будет даровано бессмертие.

Сологуб говорит, все более вдохновляясь и оживая. Его окаменелость передалась его слушателям. Все окаменели, застыли, не смея шевельнуться. Только что буйно взлетавшие рукава белой рубашки Пронина теперь безжизненно повисли. Рука Анастасии Николаевны с потухшей папиросой — в воздухе. Ведь нельзя курить, когда Федор Кузьмич говорит.

— Возможно, что бессмертие выпадет именно на мою долю, — убедительно продолжает Сологуб. — У меня о бессмертии возникла целая теория. Видите ли... — Он задумывается: — Нет, это слишком сложно. В двух словах не объяснишь. К тому же пора расходиться. Завтра нам предстоит трудный день. Завтра мы с Анастасией Николаевной, да и вы, Николай Степанович, пускаемся в обратный путь. И потому...

Он встает со своего трона. И все, как по команде, оживают, встают, начинают двигаться и говорить. Пронин бросается к Сологубу, восторженно тряся его руку:

— Спасибо, что навестили меня, Федор Казьмич. И как интересно вы говорили. Я тоже убежден в бессмертии, — и спохватившись, — в вашем! в вашем, не моем! Спасибо!

Я тоже встала со своей скамеечки и стою перед Сологубом, выжидая, что он и со мной попрощается. Его маленькие ледяные глаза останавливаются на мне. Он осматривает меня с головы до ног своим строгим «инспекторским» взглядом. И вдруг лицо его оживает — губы раздвигаются, обнаруживая крепкие, будто тоже каменные зубы, большая бородавка на щеке медленно поднимается к глазу, и он улыбается.

Не мимолетно, не «улыбка блеснула и исчезла». Нет, улыбка застывает на его лице и так и не исчезает, пока он говорит со мной:

— Вас совсем недавно еще можно было в угол ставить.

С вашим бантом. А правда, что вы пишете стихи, как уверяет Николай Степанович?

— Правда. — От смущения я картавлю еще сильнее, чем обычно.

Он, продолжая улыбаться, качает головой:

— Напрасно. Лучше бы учились чему-нибудь путному. Только ведь, я сам знаю, поэтов не переубедишь. Главное, не торопитесь стать взрослой. Лучшее время жизни — ранняя молодость. Это понимают, когда она прошла. А вы постарайтесь сейчас понять и радоваться, что вы так молоды.

Мы вчетвером спускаемся по лестнице. Пронин успел опередить нас и распахивает перед Сологубом входную дверь.

К подъезду, будто они только и ждали нашего появления, подкатывают несколько извозчиков. — Пожалуйте, граждане, пожалуйста!

— Пожалуйте, барин! Прокачу на резвой! — звонко кричит самый шеголеватый из них.

И Пронин широким распорядительским жестом приглашает Сологуба и Анастасию Николаевну сесть в эту пролетку и бережно подсаживает их обоих. Происходит новый обмен прощальными приветствиями и пожеланиями счастливо-го пути. Только после отбытия Сологуба Гумилев принимает за выборы достойного возницы для нас. Делает он это со вкусом и знанием дела. — У этой буланой, верно, хорошая рысь, по ушам вижу.

Я сажусь в пролетку. Меня никто не подсаживает — ни Пронин, ни Гумилев. Мы прощаемся с Прониным. Он машет рукой: — Кланяйтесь Петербургу!

Гумилев смеясь цитирует: — «Извозчик шелкнет кнутом — И двинутся в путь с трудом». Нет, в путь мы двигаемся без труда. Буланая бежит резво и весело, а не «трусит усталой рысцой», как в моей балладе. Мы едем по незнакомым ярко освещенным улицам. Здесь в Москве НЭП уже цветет пышно, не то, что у нас в Петербурге. Гумилев рассказывает мне о своем плавании с адмиралом Немицем.

— Чудесно было. Сплошное наслаждение. Во мне на корабле заговорила морская кровь. Ведь мой дядя по матери тоже был адмиралом, а отец морским врачом. Вот я и почувствовал себя настоящим морским волком. Если бы вы видели, как красивы берега Крыма, особенно на закате. А утром...

Я не перебиваю его. Но мне хочется говорить о Сологубе, а не о красотах Крыма. Он, должно быть, замечает, что я слушаю «без должного интереса». И недовольно морщится.

— Устали? Спать хотите? Ничего. Сейчас приедем.

Но я совсем не устала и не хочу спать. Я спрашиваю быстро:

— Скажите, насчет своего бессмертия он серьезно или только чтобы удивить?

Гумилев снисходительно улыбается:

— Ах, вот вы о чем. А мне показалось, что вы отвыкли от меня, одичали, разучились слушать. Ну, слава Богу, все в порядке, раз вам по-прежнему необходимо знать «отчего и почему». И в кого только вы такая ненасытно-любопытная уродились?

Вопрос риторический, не в первый раз мне задаваемый и не требующий ответа. Гумилев продолжает:

— И почему это вас так интересует? Ведь это какая-то декадентская чепуха. Я о ней уже слышал. Мы с Сологубом как-то возвращались вместе из Всемирной Литературы. Он вдруг стал, как сегодня, говорить о бессмертии и даже разволновался. Но тут нас нагнал Лозинский. Мы пошли вместе. И как я ни старался, мне не удалось заставить Сологуба вернуться к его «теории бессмертия». Он очень трудный собеседник. Если его прервут, он сразу замолкает. А иногда может без конца говорить и до странности искренно и просто.

Я живу у брата на Бассманной. К сожалению, это недалеко, и мы уже приехали. И уже надо прощаться. На целых три дня.

— Не вздумайте откладывать отъезд, — говорит Гумилев. — Чего вам тут сидеть? У меня куча проектов. Откроем Дом Поэтов. Весело заживем. А знаете, — прибавляет он неожиданно, — вы можете гордиться — вам улыбнулся Сологуб. Он крайне редко улыбается. Заслужить его улыбку лестно. Вроде ордена. Ну, спокойной ночи. И, надеюсь, до скорого. Чтобы не позже, чем через три дня, вы были дома. Непременно!

В эту ночь я плохо спала. Я вспоминала рассказы Гумилева и Георгия Иванова о Сологубе. Их было много, очень много. Как, впрочем, и о всех поэтах. Я действительно была «ненасытно-любопытна», мне хотелось знать все, решительно все до самых мелких мелочей, все, что касается поэтов. В этом отношении мне очень повезло. Гумилев, как впоследствии и Георгий Иванов, с удовольствием отвечали на все мои бесчисленные вопросы и с увлечением рассказывали о тех баснословных аполлоно-бродяче-собачьих годах. Они

вводили меня в тот зачарованный надзвездно-подводный мир поэзии и поэтов, о котором я мечтала с самого детства.

Да. Рассказов о Сологубе было много. Вот несколько из них. Прежде всего о том, кто был Сологуб. Сологуб — псевдоним. И зачем ему понадобилось брать графскую фамилию и еще писателя? Правда, он отбросил титул и второе «л», но все же... Настоящая фамилия его Тетерников. Ну и был бы, скажем, Терников.* Он сын портного и прачки. Говорили даже, что незаконный. Но я не берусь утверждать. Ему удалось окончить учительскую семинарию и стать учителем. Сначала в провинции, потом в Петербурге. Строгим и нелюбимым учителем. Потом он стал инспектором. Еще более строгим и еще менее любимым. Грозой уже не только учеников, но и учителей. Писать он стал поздно, но быстро прославился. И стал зарабатывать хорошо. Конечно, не стихами, а прозой. Стихами прокормиться удалось одному Блоку в первые годы женитьбы. Правда, Блок писал невероятно много стихов, и питались они с Любовью Дмитриевной изо дня в день исключительно гречневой кашей и пили шоколад. Но все же другого случая существования на поэтические гонорары я не знала.

А Сологуб своим «Мелким бесом», «Навьими чарами», «Жалом смерти» и прочим почти разбогател, бросил инспекторство и зажил не только в «палатах каменных», но и в «золотом терему», по собственному определению.

Вся квартира Сологуба была обставлена золоченой мебелью, на стенах картины и зеркала в широких золоченых рамах. Золоченые люстры и консоли. Портьеры бархатные или атласные, пунцовые с золотыми кистями. От золота в глазах рябило. Все это было довольно и даже очень аляповато, явно с Апраксинского рынка.

*В 20-х годах в Берлине, в «Доме Искусств» Н. М. Минский так рассказывал о происхождении псевдонима «Сологуб». Свои первые стихи Ф. К. Тетерников, за своей подписью, прислал в журнал, где отделом стихов заведывал Н. М. Минский. Стихи редакции понравились, но подпись Минскому показалась для поэта «невозможной», и чтоб найти к. н. «подходящую для поэта» фамилию, Минский обратился к лежащей на столе газете. В ней он увидел фамилию «Соллогуб», и подписал стихи Тетерникова этой фамилией, но с одним «л». Так, по рассказу Н. М. Минского, родился в русской литературе поэт Федор Сологуб. РЕД.

— Как пышно, как богато! — воскликнула Зинаида Николаевна Гиппиус, стоя среди раззолоченной столовой и поднося лорнетку к своим зеленым, русалочьим, близоруким, но все подмечающим глазам. — И чашки золоченые и ложки, и в пti-фуры, наверно, золотые пятирублевики запечены!

Сологуб каменно поклонился. — Непременно воспользуюсь вашим советом насчет пятирублевиков. Сознаюсь — люблю золото. Я бы и лысину себе с удовольствием вызолотил, да доктора говорят вредно — талант пропадет и стану завистливым. А хуже этого я ничего не знаю.

— Вам ведь тоже не нравится? — спросил как-то Сологуб Георгия Иванова — Ведь вы эстет. А я о такой именно обстановке мечтал, когда сидел у себя в своей учительской каморке. На трясучем столе гряда ученических тетрадей. И до чего они мне осточертели! Сажу под керосиновой лампой и ставлю болванам двойки и единицы — с удовольствием. Авось, его за мою двойку или единицу папенька с маменькой выпорят. Пятерки редко ставил и всегда с минусом. А печка чадит. Из окна дует. И такая тоска. Такая тоска. Закрою глаза и представляю себе, что я сажу в алом шелковом кресле с высокой спинкой резного позолоченного дерева, по стенам зеркала и картины, на полу ковер в розы — точь-точь, как у меня здесь теперь. И казалось мне, что в этом золотом тереме я, если его добьюсь, буду проводить золотые дни. Ну, конечно, слегка ошибся. А все же жаловаться не могу. Недурно, совсем недурно себя чувствую. Конечно, в мечтах все много волшебнее, а все же я доволен.

А как-то в другой раз Сологуб говорил Гумилеву:

— Вот часто удивляются, как я мог создать Передонова. Какая жуткая, извращенная фантазия. А я его большей частью с себя списывал. Да, да, очень многое. И даже «недотыкомку». То-есть она, наверно, появилась бы, материализовалась, если бы не было стихов, как отдушины. Впрочем, и с поэзией надо осторожно, тоже многих к гибели приводит. А мне вот помогает... Вы меня поймете, Николай Степанович, вам самому поэзия мать, а не мачеха. Оберегает вас, помогает вам. А вот Блока ведет к гибели. И не его одного. Надо быть очень сильным, чтобы суметь справиться с поэзией, не дать ей проглотить себя: — «В мерный круг твой бег направлю — укороченной уздой», — мне всегда кажется, что это Пушкин о поэзии. Он-то умел с ней справиться. А Лермонтов — нет, не мог. Оттого и погиб.

Гумилев, хотя он совсем не был согласен, слушал не

перебивая, не споря. Перебьешь — насупится и замолчит. Надо ждать, пока Сологуб сам задаст вопрос. А Сологуб продолжал отчеканивать:

— Вот еще меня упрекают в жестокости. Будто «Мелкий бес» жестокая книга. Но ведь без капельки жестокости не бывает великих произведений. Это, как вы знаете, Николай Степанович, еще Лопе де Вега сказал. И как это правильно. Капелька жестокости необходима. Без нее, как без соли — пресно.

Сологуб, устроившись роскошно, завел у себя журфиксы, на которых бывал весь цвет тогдашнего артистического мира. Сологуб был радушным, но чрезвычайно важным хозяином. Гости не могли не чувствовать, что он оказывает им немалую честь, принимая их у себя.

Анастасия Николаевна же совсем не годилась для роли хозяйки «раззолоченного терема». По внешности — типичная курсистка, синий чулок, небрежно причесаная и одетая, с вечной папиросой в руке, она всегда была чем-то взволнована и боялась каких-то интриг и заговоров против обожаемого ею Федора Кузьмича.

— Ах, Федору Кузьмичу все завидуют. Все хотят повредить ему, подкопаться под него. Но пока я жива, я не позволю его врагам... Но как обнаружить врагов? Они часто скрываются под видом друзей.

Самое трудное в положении бедной Анастасии Николаевны было то, что Сологуб требовал от нее равно-любезного отношения ко всем гостям, а у нее сердце разрывалось от любви к друзьям и от ненависти к врагам. Но показывать чувства нельзя — Федор Кузьмич рассердится, не дай Бог. Страшнее этого она ничего представить себе не могла.

Гумилев сочувственно качал головой: — Не легко, не сладко быть женой великого поэта. И, откровенно говоря, вообще поэта. Даже, к примеру, моей женой.

И еще рассказ о Сологубе. Я вспомнила рассказ Гумилева о том, как он еще до революции вздумал вместе с Городецким издать какой-то альманах. Осведомившись по телефону, не помешают ли они, Гумилев и Городецкий не без робости отправились к Сологубу просить стихи для альманаха.

Сологуб принял их в своем раззолоченном кабинете, в пунцовом шелковом халате. На письменном столе, среди ру-

кописей, стоял крохотный серый котенок, пушистый клубочек шерсти, еле державшийся на тонких лапках, и усердно лакал молоко с блюда, а Сологуб, нагнувшись над ним, внимательно и восторженно-удивленно наблюдал за ним.

— Нет, посмотрите, как старается! — проговорил Сологуб, кивнув им наскоро. — Почти всё блюдо вылакал. Ах, ты маленький негодяй. Утопить тебя хотели.

Он осторожно поднял котенка и посадил себе на ладонь. Городецкий слегка погладил котенка по шейке:

— Прелесть. И глазки зеленые, — лъисто восхитился он.

Сологуб отвел руку Городецкого.

— Осторожно, Сергей Митрофанович. Не трогайте. Вы ему спинку сломаете. Ведь у него такие нежные косточки, а у вас грубые пальцы, — и, распахнув халат, Сологуб спрятал котенка на груди. Лицо его приняло умиленное выражение. — Я его вчера на лестнице нашел. Дворничиха четырех котят уже утопила, а этот неизвестно как добрался до ступенек и мяучит, жалуется. Я нагнулся, взял его, а он открыл рот и стал сосать мой мизинец. Язык у него шершавый, теплый. И так странно я себя вдруг почувствовал. Будто во мне что-то утробное зашевелилось где-то там внутри. Что-то такое влажное, материнское, женское. Нет, даже кошачье. Во всем теле отдалось. Смешно и странно. Я хотел положить котенка на ступеньку и не могу. Жаль мне его. Ведь утопят. Принес его домой. И вот второй день вожусь с ним. Он меня уже узнаёт, такой шустрый.

Гумилев, начав с похвал котенку: — Да, удивительный котенок, — перешел к делу. Сологуб благосклонно согласился.

— С удовольствием, с большим удовольствием дам. Вот выбирайте любые стихи. — И он протянул Гумилеву красную сафьяновую тетрадь. — Сколько хотите — берите, берите!

Обрадованный Гумилев стал громко читать стихотворение за стихотворением и восхищаться ими.

— Если позволите эти пять. И как мы вам благодарны, Федор Кузьмич. Это такое украшение для нашего альманаха. Как мы вам благодарны...

— Только, к сожалению, — Городецкий откашлялся и продолжал быстро, — к большому нашему сожалению мы можем платить только по семьдесят пять копеек за строчку.

Конечно, для вас это не играет роли, но мой долг предупредить.

Лицо Сологуба вдруг снова окаменело.

— В таком случае, — он не спеша, но решительно протянул руку и отнял тетрадь у растерявшегося Гумилева. — Анастасия Николаевна, принесите там на рояле стихи лежат, — крикнул он в зал.

Дверь открылась и вошла Анастасия Николаевна — с двумя листками в руке.

— Вот эти могу дать по семьдесят пять. А остальные, извините...

Опешившие Гумилев и Городецкий поспешно откланялись и покинули квартиру Сологуба. Только на лестнице они прочли стихотворения, полученные для альманаха. Я запомнила строфу из первого:

За оградой гасли маки,
Ночь была легка-легка,
Где-то лаяли собаки
Чужая нас издадека.

Второе кончалось загадочной строкой: — «Не поиграть ли нам в серсо?» — не имевшей никакого отношения к содержанию стихотворения и даже ни с чем не рифмовавшейся. Гумилев недоумевая взглянул на Городецкого.

— Что же это значит, Сергей Митрофанович? Объясни пожалуйста.

Но Городецкий безудержно хохотал, держась за перила, чтобы не скатиться с лестницы.

«Не поиграть ли нам в серсо?» — повторяли потом в течение многих месяцев члены Цеха в самых разнообразных случаях жизни. А альманах, для которого предполагались эти стихотворения, так и не вышел.

— А что стало с котенком? — спросила я, выслушав Гумилева. Но о дальнейшей судьбе котенка Гумилев ничего не знал.

То, что Анастасия Николаевна бросилась с Тучкова моста в Неву, выяснилось лишь весной 22-го года. После жедохода ее труп прибило к берегу. Тогда же обнаружился и очевидец-свидетель — какой-то матрос видел, как пожилая гражданка «из бывших барынь, наверно», без шляпы, в черной разлеталке вбежала на Тучков мост и остановилась. Шел

дождь. Торопиться, бежать естественно, а останавливаться и смотреть через перила в воду — и чего в ней увидишь? — странно. Он уже хотел подойти к ней, спросить, не потеряла ли она что-нибудь, как вдруг она перегнулась и бросилась в воду. Он подбежал. Но ее уже не увидел. Только круги по воде. Потонула, что тут поделаешь? Ведь не сигать же за ней в Неву?

Неизвестно, сообщил ли он властям о происшествии. Во всяком случае, Сологуб о том, что какая-то «из барынь» утопилась, ничего не знал. Все его поиски не дали результатов. Впрочем, мало ли женщин бесследно исчезали в те дни. Милиция этим не интересовалась. Ничего контрреволюционного в таких исчезновениях не усматривалось.

Анастасия Николаевна ушла, когда Сологуба не было дома. На вопрос прислуги: Скоро ли она вернется, она ответила: — Не знаю. Совсем не знаю. — «Не знаю» — значит, предполагала, что может задержаться. Задержаться надолго. И Сологуб стал ее ждать. Она вернется. Она непременно вернется.

Обед по-прежнему готовился на двоих и на стол ставилось два прибора. Постель Анастасии Николаевны ежедневно стелилась. Сологуб сердился, если прислуга забывала менять простыни на ее постели, как было заведено, два раза в месяц.

Вернется. Теперь уже скоро вернется. По вечерам он писал стихи и переводил французские бержереты, вроде:

Что со мной случилось ночью,
Знает только Ипполит.
Но наверно милый мальчик
Эту тайну сохранит.

Весной, когда стало известно, что Анастасия Николаевна никогда не вернется, Сологуб недели две не выходил из дома. И все опасались за его жизнь. Но навещать его никто не решался.

Появился он совершенно неожиданно, и к всеобщему изумлению, в Доме Литераторов. Спокойный и каменно-важный, как и прежде. На вопрос, как поживаете? — он просто и уверенно отвечал: — Хорошо, спасибо.

Все недоумевали. Уж не сошел ли Сологуб с ума? Но нет никаких признаков ни сумасшествия, ни нервного расстройства он не проявлял. И стал даже приветливее, чем прежде.

Вскоре выяснилась причина его хорошего настроения. Оказалось, что две недели, проведенные им безвыходно дома, он не переставая работал, разрешая вопрос о существовании загробной жизни. Подошел он к этому вопросу «научно» и с помощью высшей математики разрешил его для себя, убедился в существовании загробной жизни. Результатом чего и явилась уверенность в неминуемой встрече с Анастасией Николаевной и — хорошее настроение. Ведь он скоро, очень скоро встретится с Анастасией Николаевной. Навсегда.

В эту мою последнюю «петербургскую зиму» мне приходилось встречать Сологуба то тут, то там. Он стал заходить в Диск, в Дом Литераторов, даже бывал на поэтических вечерах, хотя сам и не соглашался выступать на них — сколько его ни упрашивали.

Да, я видела его довольно часто, но разговаривала с ним только один раз. Это было почти накануне моего отъезда за границу.

Мы с Георгием Ивановым зашли в Дом Литераторов в поисках тех, с кем еще не успели проститься. Уезжали мы «легально» и отъезда своего не скрывали. Конечно, мы не предчувствовали, что уезжаем навсегда. Все же мы прощались как перед длительной разлукой, полагая, что год, а может быть, даже и два будем в отсутствии. Но, во всяком случае, никак не больше. Ведь НЭП уже начался и, как тогда говорили, Россия семимильными шагами идет по пути к буржуазной республике. Может быть, мы вернемся и гораздо раньше домой.

Уезжали весело и беспечно. Ведь так интересно увидеть Берлин, Париж, а, может быть, и Венецию. И прощались так же весело и беспечно. Принимали заказы на подарки, которые привезем, когда вернемся.

— Духи. И пудру... Парижскую шляпу... Галстук в крапинку... Шелковое вязаное зеленое кашне...

Я аккуратно записывала, кому что привезти.

— Кланяйтесь от меня Парижу. — Те, кто бывали в Париже, добавляли, щеголяя своим знакомством с ним: — Особенно кланяйтесь Елисейским Полям — или — Булонско-му Лесу — или — Сорбонне.

Ирекий горячо настаивал:

Непреренно побывайте в Италии. Непреренно. Без Италии заграничное путешествие не в счет. Италия — венец всего.

Рукопожатия. Поцелуи. Объятия.

— Счастливая! Как я вам завидую! — вздыхают остающиеся.

Я понимаю. Странно было бы не завидовать мне, уезжающей в Париж. Мы шумной гурьбой обходим все комнаты. В гобеленной столовой, возле окна сидит Сологуб. Сидит и курит, задумчиво, глядя в небо. Спокойный и величественный, как всегда.

Мне вдруг приходит в голову дерзкая мысль. Я хочу попрощаться с Сологубом. Очень хочу. Хочу пожать ему руку и чтобы он пожелал мне счастливого пути. Я сейчас же признаюсь в своем желании Георгию Иванову, пусть он пойдет и скажет Сологубу, что я хочу проститься с ним. И Георгий Иванов подходит к Сологубу. Сологуб кивает. И я уже иду к нему — с замиранием сердца. Он поворачивает голову и смотрит на меня небольшими водянисто-ледяными глазами. Под его взглядом мне, несмотря на жару, становится холодно. Не надо было. Не надо было. Зачем я это выдумала? Но он уже протягивает мне руку.

— А я вас узнал, — говорит он, держа мою руку в своей тяжелой, каменной руке. — По банту. Вы успели замуж выйти за Георгия Иванова, но с бантом не расстались. Это хорошо. А что за поэта замуж вышли — плохо. В поэзии толка нет. Один обман и ложь. За нее слишком дорого платить приходится. А знаете, — добавляет он, — Анастасии Николаевне тоже понравился ваш бант. И как вы картавите. Она очень забавно передразнивала, как вы произносите «прррравада» через четыре «р». А я так не могу. У меня не выходит.

— Я уезжаю, — говорю я растерянно, только чтобы сказать что-нибудь. — В Берлин. И в Париж.

Он кивает.

— И вы, конечно, думаете, что скоро вернетесь? Только прокатитесь по Европе? Да? А вернетесь вы лет через пятьдесят. Если вообще вернетесь. Запомните. Это пррррравада, через четыре «р».

Каменный раскат четырех «р» еще больше смущает меня. Я чувствую, что краснею. Сологуб явно доволен моим смущением.

— Раз вы захотели со мной проститься, — продолжает он, не спуская с меня своего ледяного взгляда, — что мне лестно и приятно, я вам сделаю подарок. Подарю два совета. Первый — бросьте писать по-русски. Вы ведь, наверно, знаете иностранные языки? Да? Ну, так вот. Начинайте сейчас

же, как обоснуетесь, писать по-немецки или по-французски, или по-английски. На языке страны, в которой живете, а не по-русски. Непременно. А второй совет — научитесь курить. Не сейчас. Если бы вы теперь вздумали курить, вас за это надо было бы в угол поставить. Нет, потом, когда вас уже в угол ставить нельзя будет и вы перестанете носить бант. Вот тогда непременно начните курить. Табак единственное удовольствие. И утешение в старости. И в горе.

Он снова протягивает мне руку.

— Ну, прощайте, прощайте, а не до свидания. Мы никогда больше с вами не увидимся. Да и вряд ли вы увидите кого-нибудь из ваших здешних молодых приятелей. Ну, ну, не огорчайтесь. Я ведь могу и ошибиться. Я же не пифия и не цыганка, чтобы знать будущее. Могу и ошибиться.

Неужели правда? Неужели больше никогда не увижу всех тех, кого я так люблю? И Петербурга больше не увижу?.. Мне было так весело, когда я подходила к Сологубу. А теперь у меня от смущения и грусти даже в носу щекочет.

— Не огорчайтесь, — повторяет он. — Это ни к вашему банту, ни к вашим веснушкам не идет. Кто может знать? Может быть, еще и вернетесь? Во всяком случае — счастливого пути. — Он крепко, до боли, пожимает мою руку своею каменной рукой и улыбается. Вторично улыбается мне.

— Пусть не прощай, а до свидания. До свидания — если не на этом, так на том свете.

— До свидания, Федор Кузьмич. Спасибо за советы.

— Обязательно исполните их. Не забудьте.

Я не забыла. Но я не стала писать по-французски. Георгий Иванов воспротивился этому — чтобы русский писатель писал не по-русски? Он считал это чем-то вроде измены. Я послушалась его, хотя теперь и жалею. Зато я не жалею, что не последовала второму совету Сологуба и не научилась курить.

Сологуб умер в 1927 году в Царском Селе. Но я и сейчас еще вижу его, бредущего по аллеям Царскосельского парка между статуями, похожего на ожившую на время статую. Кругом тихо и пусто. Деревья легко шумят, падают золотые осенние листья, кружатся в осеннем воздухе и ложатся на землю шуршащим ковром. Он идет, устало опираясь на палку, и вполголоса бормочет:

Подыши еще немного
Тяжким воздухом земным,
Бедный, слабый воин Бога,
Весь истаявший, как дым.

Что Творцу твои страдания?
Капля жизни в море лет!
Вот — одно воспоминанье,
Вот — и памяти уж нет.

Но как прежде — яркие зори,
И как прежде — ясен свет.
«Плещет море на просторе».
Лишь тебя на свете нет.

Ирина Одоевцева

ПИСЬМО АНТИПОДУ

Уже над миром ночь
Играет в белый мяч.
Скитайся, одиночь,
По улицам маячь.

Помедли где-нибудь
У пристани речной,
Где блещет Млечный путь
И небоскреб ночной.

Бумажную труху
Несет по мостовым.
И спутники вверх
Летают по кривым.

А человек внизу,
А человек на дне,
И жметя навесу
Над ним стена — к стене.

И у бетонных плит
Стоит он одинок,
И звездами облит
Он с головы до ног.

Вот так и я стою
Под звездами один
В моем глухом краю
Заборов и рябин.

Как город мой хорош!
В нем улеглась метель.
А где-то ты живешь
За тридевять земель.

И между нами тишь
И между нами гладь,
И если ты кричишь,
То мне не услыхать.

Ты от меня далек,
Ты в городе своем,
И между нами лег
Могучий водоем.

Кораллы там цветут,
Там плавают киты.
Когда я крикну тут,
То не услышишь ты.

В снегу тут ель и вяз,
Тут снег на сотни верст.
Мой дом в снегу увяз,
Мой дом в сугробы вмерз.

А там, где ты живешь —
Тень пальмовых ветвей,
И звезд иной чертеж
Над головой твоей.

К лотку я подошел,
Газету я беру,
Хоть знаю хорошо,
Что это не к добру.

Пускай я наугад
Газету разверну,
Я знаю — там трубят
Про новую войну.

Я на любой волне
Включаю аппарат,
Но знаю — о войне
Там тоже говорят.

Принадлежит статья
Не моему ль перу,
И разве же не я
По радио ору,

Выкрикиваю ложь,
Несу галиматью,
Что ты меня убьешь,
Что я тебя убью.

Как бы двойное дно
Устроено внутри,
Подумаешь одно,
Другое говори.

Как бы двойное дно,
Как будто две души,
Подумаешь одно, —
Но о другом пиши.

И ты проходишь там
Под звездами один
В своем краю реклам,
В своем краю витрин.

И ты берешь с лотка
Газетный динамит,
Где с каждого листка
Поджогами дымит.

Газетчик за пятак
Тебе всучает бред
С угрозами атак,
Со схемами ракет.

И ты читая ложь,
Несешь галиматью,
Что ты меня убьешь,,
Что я тебя убью.

Пусть спутник надо мной
Все выше, все сложнее,
Но спутник мой земной
Небесного важней,

И знаю я одну
Из всех земных забот,
Кто не убьет войну,
Того война убьет.

Кто там над Тихим и Атлантическим
В небе снарядам свистит баллистическим!

Лучше давайте запустим шутихи
Над Атлантическим или над Тихим.

Или к созвездьям качели подвесим,
Чтобы визжа пролетать поднебесьем,

Иль над заливом Беринговым льдистым,
Гулким мостом прозвением, как монистом.

А у Камчаток и у Алясок
Выстроим базы детских колясок.

И откровенно заявим мы парням,
Тем, что взрывают за кругом полярным,

Все ваши бомбы сложите огулом,
Все ваши бомбы швырните акулам!

Мой сопланетник! давно уж пора нам
Небо вечернее сделать экраном,

Чтобы показывать миру оттуда
Фильмы Парижа, Москвы, Голливуда,

Мы стадион с колоссальной трибуной
Соорудим на поверхности лунной,

И кораблей межпланетных армаду
Вышлем на лунную олимпиаду.

Только все эти мечтания всеу,
Стих мой, кому я тебя адресую?

Стих мой, куда тебя волны угнали
В легкой бутылке, в стеклянном пенале.

Стих мой, плывешь при попутных ли ветрах,
Кто тебя выловит — друг или недруг?

Я забросил бутылку в воду,
А в бутылке — письмо антиподу,

Иль себе самому письмо
Я послал от себя самого.

И бутылка — кусок стекла
Закачалась и поплыла.

Иван Елагин

ЧТО ТАКОЕ РЕАЛИЗМ?

1

«Реализм» в теории и истории литературы является одним из самых неясных понятий. Историки и теоретики литературы, в особенности русские, по большей части вовсе не пытаются разъяснить, что они под словом «реализм» подразумевают. Обычно ограничиваются такими характеристиками, как «реализм — изображение действительности, как она есть на самом деле». Большинство русских критиков и историков литературы к тому же немедленно переходят к характеристике социальной и политической тематики реалистических произведений. Между тем, конечно, не тематика, не тенденции, не содержание литературных произведений определяют их принадлежность к тому или иному литературному течению. Часто реализмом называют просто всякую «хорошую» литературу. Если следить за историколитературными работами из Советской России, то не проходит недели, чтобы не пришлось читать о «реализме» Шекспира, Мольера, Боккачио или даже греческих трагиков и Гомера. Таким образом «реализмом» оказывается просто всё ценное, всё «вечное» в мировой литературе.

Поклонники реализма считают, что с реализмом литература достигла наивысшей ступени развития, к которой писатели и поэты прежних веков только приближались. Все уклоны, отходы от реализма в русской литературе нашего века (символизм, футуризм, акмеизм, имажинизм и т. д.) только явления упадка или временные и случайные ответвления великого реалистического потока. Мы, живущие в Западной Европе и Америке, должны обратить внимание на тот для поклонников реализма непонятный факт, что в мировой литературе 20-го века господствуют нереалистические течения и что, таким образом, «реализм», очевидно, не «вечное» в литературе, а только одно из возможных преходящих течений. Существо этого течения следует понять. Но не только сторонники, но и противники реализма (например представители упомянутых русских литературных течений) удовлетвори-

тельного ответа на вопрос о существовании реализма не дают. Между тем ни преклонение перед реализмом, ни отрицание его не освобождают нас от обязанности выяснить, что надо считать реализмом в литературе.

«Изображение действительности», т. е. определенная **тематика** литературных произведений не может считаться существенным, «конструктивным» признаком реалистического произведения. Если какой-либо писатель или поэт, вводит в рамки своих произведений изображение новых, до тех пор литературой игнорировавшихся сфер действительности, то в этом нельзя видеть непременно реализм. Между тем так поступают историки литературы, считающие «реалистическими» произведения, в которых впервые (или после долгого перерыва) появляется изображение игнорировавшихся литературой сфер, напр. изображение купцов и крестьян в русской литературе 18-го века. Такие произведения, как знаменитые комедии «Мельник-колдун, обманщик и сват» Аблесимова (1779 г.) или «Щепетильник» (т. е.) торговец «галантереей») В. Лукина (1765 г.) можно, конечно, считать симптомами «народничества» в русской литературе того времени, но о их «реализме» говорить невозможно. Точно также первые рассказы о «мелком чиновнике» князя Вл. Одоевского, очерки и рассказы И. И. Панаева, в которых впервые в русской литературе появляются «девицы легкого поведения» и их спутники — имеют значение в развитии литературы, расширяя сферу, из которой писатели на основе «прецедента» «имеют право» брать персонажей для своих произведений, но «реализма» в этой тематике как таковой нет. Вряд ли можно считать реализмом и появление в литературе смелых эротических сцен, которые раньше заменялись многоточиями или оставались в удел воображению читателя. Введение таких сцен по большей части дело порнографов, а не реалистов.

Открыватели реалистических элементов у писателей прошлых веков, установители их «бессознательного реализма» и т. п., собственно говоря ничего не открывают: само собою разумеется, что краски и звуки для самых фантастических сцен и образов то «эвклидовское пространство» (Достоевский), из которого они только и могли быть взяты. О звуках, цветах и фигурах **вне** пределов нашего человеческого опыта поэт может только мечтать и вынужден искать способы передачи своей мечты в пределах «эвклидовского опыта». Легко убедиться в этом, знакомясь с литературой утопических и фантастических романов и с так называемой «научной беллетристикой», с

изображениями «жителей планет» и вообще представителей «иных миров», безразлично, созданы ли эти произведения талантливыми писателями (начиная с Сирано де Бержерака в 17 веке и до современных Г. Уэльса и С. С. Льюиса*) или поставщиками легкого чтения для читателей, которым наскучили детективные романы, или рассматривая все более и более распространяющиеся каррикатуры, представляющие пилотов и матросов «летающих тарелок» и иных межпланетных кораблей. Такие изображения не дают ничего иного, как только **варианты земных** существ с различными изменениями отдельных органов и частей тела. Значит ли эта неспособность земных писателей выйти за границы «эвклидовского опыта», что их произведения реалистичны?

Конечно, нет! Очевидно, сущность реализма не в материале, т. е. не в действующих лицах, сюжетах, мотивах, пейзажах и обстановке, взятых из действительности, а в каких-то стилистических приемах, отличающих реализм (в частности русский) от литературного стиля иных эпох.

2

«Определение» реализма: «изображение действительности, как она есть на самом деле» не только неясно, но является совершенно недопустимой тавтологией, — ведь слова, «как она есть на самом деле» равнозначны словам «как она

* Элементы родственные нашей современной научной фантастической литературе имеются у позднего античного греческого писателя Лукиана в его «приключенческом романе» «Правдивые истории». Кеплер оставил рассказ о жизни на луне, Сирано де Бержерак — автор остроумных фантастических романов «Путешествие на месяц» и «Государства на солнце». В русской литературе, как кажется, «научную фантастику» впервые дал Фаддей Булгарин в рассказе «Путешествие к средоточию земли» («Северный Архив» 1825, 10-12), вошедшем под новым заглавием «Невероятные небылицы» в «Сочинения» Булгарина (1828, том 5, стр. 125-170), в тех же «Сочинениях» появился и второй утопический этюд Булгарина «Правдоподобные небылицы» (том 5, стр. 1-89). Русские *социальные* утопии существовали раньше.

Уже существуют обзоры фантастической «научной беллетристики» — напр. в книге J. O. Bailey: *Pilgrims through Space and Time*. New York. 1947.

есть в действительности». Таким образом это «определение» является только мнимым разъяснением понятия. Мы имеем дело с основной трудностью определения реализма: сначала надо выяснить, что же такое «действительность» и как ее понимают реалисты.

Многие реалисты не задумываются над этим вопросом. Между тем в понимании действительности у большинства реалистов есть невысказанная предпосылка: это представление о действительности, как об «одноэтажном», одноплоскостном бытии, отрицание «иерархии» в бытии, т. е. отрицание существования в действительности различных слоев или ступеней, «высших» и «нисших» форм бытия. Именно поэтому у реалистов часто материалистическое или позитивистическое мировоззрение, для которого ничего более высокого или более низкого по качествам, по ценности или по «достоинству» в мире нет и быть не может, и все мировые процессы состоят в движении в одной и той же плоскости бытия: причины и следствия связываются в бесконечную цепь, лежащую целиком в одной плоскости. Позитивисты-скептики (и таких было немало) утверждают, что мы ничего определенного о иерархии бытия и о «высших мирах» не знаем и знать не можем...

Но представления об «одноплоскостности» бытия не разделяют как раз самые значительные представители русского реализма: для Достоевского, Льва Толстого, Лескова, конечно этот повседневный, обычный, одноплоскостный мир связан с какими-то **высшими** сферами и без них невозможен. К «действительности» для них принадлежат также и «иные миры», о которых знает и учит мораль и религия. Для Достоевского в «иных мирах» заключены те «семена», из которых «вырастают наши мысли». Толстой, конечно, имеет весьма рационалистическое представление о божественном бытии, но представление о Боге играет в его мировоззрении **огромную** роль. И для Лескова на всем сложном пути его духовного развития религиозные представления были весьма существенны. Все эти три наиболее яркие представители русского реализма, знали очень многое и о тех глубинах душевной жизни, о тех душевных состояниях, которые стоят вне «нормальной» повседневной психики человека, но могут вторгаться в нее, ее разрушая или перестраивая в основе. И это знание также, как и религиозная вера, ничего общего не имеет с тем представлением о существе человека, которое было у реалистов типа Решетникова или Слепцова или критиков-реалистов вроде Писарева,

Добролюбова или наименее одаренного, но наиболее последовательного из них, Варфоломея Зайцева, или у тех наших современников, для которых душевное бытие человека определяется его классовой принадлежностью или даже попросту партийным билетом. Но ведь и мировоззрение других крупных писателей-реалистов: Писемского, Тургенева, Гончарова, Островского было очень далеко от представления об одноплоскостной действительности. Тургенев, например, знает о душевных глубинах и надчеловеческом бытии, которые он, вероятно не назвал бы «божественными», но которые — вне повседневности и скорее всего можно (неточно, приблизительно) назвать силами «неумолимой судьбы». Таким образом реализм нельзя связывать с определенным философским или религиозным мировоззрением.*

Только самые наивные поклонники реализма связывают литературный реализм с определенным **политическим** мировоззрением, но так как и таких наивных поклонников много, то стоит сказать несколько слов и о них. Конечно, литература периода реализма от конца 50-х до 80-х годов (и литература позднейших эпигонов реализма) на первый взгляд является литературой оппозиционной, «левой» и даже в существе почти-революционной. Но этот «первый взгляд», как часто все первые взгляды, ошибочен. Не забудем, что именно самые значительные русские реалисты написали ряд «контрреволюционных романов»: «Бесы» Достоевского», «Некуда» и «На ножах» Лескова, «Взбаламученное море» Писемского, конечно, принадлежат к реалистической литературе. Не следует забывать и отдельных сцен в «Дыме» Тургенева, Марка Волохова в «Обрыве» Гончарова, незаконченную комедию Толстого «Зараженное семейство», если даже не упоминать о мало значительных, но написанных несомненно в реалистическом стиле реакционных романах В. Крестовского, Виктора Ключников и иных забытых литераторов. Конечно, большинство этих авторов плохо знали или вовсе не знали «подполья», революционной среды и поэтому изображали ее неверно, но ведь достаточное количество столь же неверных образов и картин из различных областей действительности

* Интересно отметить, что и у польских реалистов (реалистическое течение в польской литературе носило название «позитивизма») атеизм, материалистическое или скептическое мировоззрение никоим образом не были господствующими.

имеется и у авторов, в реализме которых никто не сомневается.

Те сторонники реализма, которые хотели бы вычеркнуть из реалистов всех верящих в «миры иные», и «реакционеров», рискуют остаться только с Решетниковым, Помяловским, Слепцовым (и даже зубоскалом Николаем Успенским). Нелзя отрицать литературного дарования писателей этого типа, но, конечно, не им обязан русский реализм своим мировым значением!

3

Если содержание произведений не определяет существа реализма, то, очевидно, надо обратиться к вопросу о **форме** и **стиле** реалистической литературы. Как видно из приведенных примеров, реализм, очевидно, не требует от своих последователей **определенного** мировоззрения. Романтики были связаны общностью мировоззрения; точно также обстояло дело в эпоху барокко. Реализм (как и классицизм) допускает в свои ряды представителей различных мировоззрений.

Единство реалистического **стиля** обычно историками литературы оставляется в стороне или отодвигается на задний план.* Прежде всего надо отмежеваться от тех «теоретиков» литературы, которые говорят об «описании» **действительности реалистами!** Слово «описывать» употреблено здесь только по недоразумению. «Описание» — невыполнимая задача! Это утверждение может показаться странным: но ведь описание должно состоять в перечислении **всех** признаков подлежащего описанию объекта, а всякий отрезок действительности, как бы он ни был мал, обладает **бесконечным** множеством черт и признаков. Попробуйте «описать» пишущую машинку, на которой вы пишете или любой клочек бумаги. Вы должны будете «описать», как признаки клочка бумаги его цвет (очень трудно словами обозначить тот оттенок белого цвета, который имеет именно эта бумага), его неправильную форму (например «приблизительно» треугольную), указать размер его сторон (точно! в миллиметрах), не забыть упомянуть всяческие пятнышки на его поверхности, случайно приставшие к ней волоски и т. д. О том, что «описание» — бесконечная и следовательно невыполнимая задача, было давно изве-

* Особенно неубедительны попытки анализа в марксистской литературной критике. Об этом стоило бы поговорить особо.

стно философам (напр. Гуссерлю). Поэтому «описание» заменяется одним из реально-выполнимых способов характеристики объекта.

В практической жизни такой способ — например указание номера машинки, часов, автомобиля, сорта бумаги, записанного мною номера на клочке бумаги (если он принадлежит к моему научному аппарату) или записанного на нем слова, цитаты и т. п. Описание дома заменяют названием улицы и номером (Кузнечная 9) или указанием на имя владельца дома (Кузнечная, дом П. И. Алексеева) и т. п. Описание человека — его именем и фамилией (в Америке, а сейчас и в Европе прибавляют еще указание на возраст, рост и даже вес)... Но такой способ характеристики вряд ли часто встречается в литературе и, во всяком случае не играет в ней существенной роли. Иногда он употребляется в пародиях.

Вместо «описания» надо говорить об **«изображении»** объектов и событий. «Изображение» же возможно только потому, что поэт или писатель может заменить перечисление признаков объекта указанием только на **некоторые характерные**, яркие, существенные его признаки. Он имеет право сделать выбор из содержания объекта, и дать многостороннюю, но, конечно, не «исчерпывающую» его характеристику (если слово «исчерпать» понимать в буквальном смысле: — исчерпать без остатка), так как каждый, самый незначительный отрезок действительности неисчерпаем. Выборка предлагаемых читателю в изображении объекта признаков делается с какой-то определенной точки зрения, предмет изображается в какой-то «перспективе». Всякое «изображение» не есть отражение действительности, но своего рода «стенограмма», сокращенная запись о действительности.

Ни один реалист не может «описать» объектов своего произведения, «исчерпать» их содержания. Он может только дать изображение в том смысле, как сказано выше. Многие реалисты это понимают, но этого не понимают многие их поклонники и даже те из них, кто считают себя «теоретиками».

Значит ли все это, что реализм невозможен и что его нет? Конечно не значит. Что же такое наконец реализм?

4

Словесное изображение может идти двумя путями. Эти пути, эти средства художественного изображения известны давно: о них писал и Аристотель, и Гораций, и индийские

теоретики грамматики и стиля, и одним из этих путей идет каждый — никакого представления о теории стиля не имеющий — поэт, и писатель, да, собственно говоря, каждый говорящий человек.

Первый из этих путей состоит в том, что мы пытаемся дать представление о предмете, переходя к другому предмету, и даже в «другую плоскость» бытия. **Сравнение** — основной тип этого рода стилистических средств изображения — простая замена обычного наименования предмета другим словом носит название **метафоры** и все способы изображения, уводящие нас к иному объекту, в иную сферу, назовем в широком смысле слова **«метафорическими»** способами изображения. Таковы всякие традиционные «девы-розы», огненные глаза, «стрела», от которой собирается погибнуть Ленский (эта стрела — просто прозаическая пуля), Петр Петрович Петух (из «Мертвых душ») — «арбуз», Собакевич — «медведь» небольшого роста и т. д. Мастер метафорического изображения — Лермонтов: его изображение «Пленного рыцаря», заключенного в темнице, кончается раскрытием, разъяснением метафор:

Быстрое время — мой конь неизменный,
шлема забрало — решетка бойницы,
каменный панцырь — высокие стены,
щит мой — чугунные двери темницы...

Несчастливо влюбленного Лермонтов изображает как «нищего» «у врат обители святой», получившего вместо хлеба камень:

Так я молил твоей любви
с слезами горькими, с тоскою;
так чувства лучшие мои
навек обмануты тобою!

Но нужно ли приводить дальнейшие примеры?

Мы можем назвать «метафорическими» и другие приемы художественного изображения, носившие уже в древности различные наименования. Такова напр. «гипербола» — преувеличение, и она уводит нас в другую плоскость бытия — почти в сказочную сферу величественного и огромного; например у Пушкина, Баратынского, Дельвига, Лермонтова и других, поэт — жрец, пророк, царь, Бог, у Гоголя рост чело-

века — в «арку генерального штаба» (арка в четыре этажа вышиною), в карманы гоголевских персонажей можно поместить арбуз, быка, целую лавку с товарами, их штаны «шириною с Черное море» и т. д. Все это «переходы» в другие сферы, хотя бы только количественные.

Точно также подстановка вместо одного образа другого в так называемой «персонификации», олицетворении. Имея неживых, и неличных объектов употребляются вместо слова «человек». «Парус» Лермонтова только потому может «искать счастья» или «бежать» от него, что здесь парус поставлен на место человека; «утес», на груди которого «ночевала тучка золотая», конечно также олицетворен, «очеловечен»... Персонификация также один из метафорических способов изображения. В иных случаях объектам неживой природы приписываются человеческие чувства или действия: у Тютчева «зима напрасно злится», ветер ночной «сетует безумно», дальние зарницы «ведут беседу меж собой», «как демоны глухонемые». И здесь та же смена разных плоскостей бытия. Реалист должен оставаться в одной и той же плоскости. Поэтому метафорическое изображение всякого рода ему не симпатично!

Но весь наш язык (т. е. всякий язык в мире) насквозь метафоричен: метафора — одно из средств создания новых слов, и мы говорим не только прозой, не зная об этом (как герой Мольера), но и метафорами, не замечая этого: рядом со мной лежит портфель с **ручкой**, я пишу пером, вставленным в **ручку**, у дверей моей комнаты — **ручки**, ручки есть у множества предметов, которые мы за эти ручки можем схватить, поднять, нести... И все эти и ряд дальнейших слов связаны с рукой — этим одним из важнейших орудий культурного творчества человека (наряду с мозгом и гортанью, как речевым аппаратом). Мы носим одежду снабженную **рукавами** (которые неожиданно оказываются и у реки), с рукой связано и слово **обруч**, первоначально браслет, в наши дни только уже скрепа клёпок бочки. **Рукобитие** при заключении сделок уже отошло в прошлое, но осталось **вручить**. **Ноги** (ножки) есть у столов, стульев, табуретов и т. д. **Поля** у шляпы, книги или рукописи. Вспомним **«ходьбу»**: по сходству (неустанное движение) говорим «часы идут», «идет» дождь и снег, журналы и газеты «выходят», не имея ног, время «уходит» или «проходит», «проходят» и наши чувства и т. д. Такая замена значений по **сходству** — изменение «метафорическое». Этих уже остывших и застывших мета-

фор, которыми переполнен язык, мы уже не замечаем, но поэт может их «оживить», воскресить, «актуализировать».

Наряду с метафорическими методами изображения употребляются и иные: уводящие нас от объекта к иному предмету не сходному с первым, но с ним «соседствующему», близкому в пространстве или времени. И этот способ изображения не нов: он сводится или (1) к указанию на отдельные черты «входящие в состав» объекта или (2) к указанию на «обстановку» объекта, его прошлое, если угодно, и на его будущее и т. д. Пушкин вместо «девы-розы» лицейских стихотворений видит позже перед собой «стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу», «воспитанную на французских романах» («Метель»). Таков же, но более яркий и богатый чертами портрет Татьяны Лариной в «Евгении Онегине». Быт и характер Онегина раскрывается Татьяне, посещающей оставленное им имение, в деталях и мелких чертах:

. . . забытый в зале
кий на бильярде отдыхал,
на смятом канapé лежал
манежный хлыстик (. . .)
и лорда Байрона портрет,
и столбик с куклою чугунной
под шляпой с пасмурным челом,
с руками, сжатыми крестом (. . .)
и груди книг (. . .)

Для Чичикова, героя «Мертвых душ», Гоголь считает характерным не только его психологическое развитие, но и содержание его дорожной шкатулки, для Ноздрева — обстановку имения, начиная со смазливой няньки его детей и до испорченной шарманки, которую он хотел бы всучить Чичикову. Такой переход к соседним (в широком смысле «соседним») с изображаемым объектом предметам — является существенным для **метонимических** средств изображения.

И «метонимия», как и метафора, содействовала обогащению нашего языка (как и всех языков мира). И мы не только сравниваем вкусный обед с амброзией — пищей богов, но рассказываем о нем метонимическими словами: «я три **тарелки съел**», проглотил **ложку** супа, выпил **стакан** вина. (Ноздрев — четырнадцать **бутылок** шампанского), «прекрасное (или вкусное) **блюдо**» и т. д. Но после обеда и тарелки, и ложки, и стаканы, и блюда будто бы (по буквальному значению нашей метонимической речи) нами «съеденные и выпитые» оста-

ются на столе! Мы читаем Пушкина и Достоевского (в действительности — их произведения), говорим: «вся Москва вышла на улицы», знаем «верность до гроба» (вместо — до смерти), «произведение **пера**» такого-то писателя (самое слово «стиль» обозначало первоначально палочку для писания). Вместо имени человека употребляем, говоря о нем, или с ним, его звание или профессию («доктор», «профессор»). И метонимические слова застыли, мы не думаем о частых нелепостях буквального значения наших фраз («я три тарелки съел»). Но и эти слова поэт может, если это нужно для пластичности изображения «оживить».

5

Даже небольшое число приведенных выше примеров показывает, что литература пользуется обоими способами изображения. Своеобразие реализма именно в том, что он, едва ли не впервые в таких размерах, пытается освободиться от метафорического способа изображения и отдает решительное предпочтение метонимическим средствам.* Эту характеристику мы и попытаемся несколько уточнить и детализировать.

Реализм, как сказано, пытался освободиться от метафорических средств изображения, в основе которых лежит представление о иерархическом строении мира. Как мы видели это представление сохранено многими реалистами (Достоевским, Толстым, Лесковым, Тургеневым и т. д.). Но даже и они включились в систему реалистического стиля. Достоевский говорит о Боге, о Христе и вере не непосредственно, но путем изображения веры и неверия, **переживаний** своих героев: Алеши и Зосимы, Ивана Ракитина и Смердякова и др., т. е. как-то косвенным путем (*modo obliquo*). Как будто бы только такой взгляд со стороны, подглядывание через повседневность, через душу героя, позволяет реалистам, верующим в существование «миров иных», говорить о них и открыть их читателю.

*На это особенно настойчиво указывал Р. Якобсон в небольшой ценной статье, оставшейся мало замеченной. Статья эта «О художественном реализме» была напечатана по-чешски (в журнале *Cerven 4*, (1921), затем по-украински (журнал «Воплите» 1927, 1) и в 1962 г. перепечатана по-русски в интереснейшем сборнике «Michigan Slavic Materials», выпуск 2-ой, Энн-Арбор, издание Мичиганского университета.

Но даже и просто душевный склад человека, его характер легче и лучше всего дается реалистами через изображение мелочей его окружения, условий его жизни. Так, очевидно, думает Тургенев (уже отказавшийся от лирических тонов своих ранних стихотворений и рассказов) и рисует он не только обстановку 18-го века в домике Фомушки и Фимушки, но и обстановку «современных ему действующих лиц. Варвара Павловна Лаврецкая окружена предметами не менее ярко характеризующими ее, чем охарактеризован Лаврецкий примым рассказом о его переживаниях. Варвара Павловна в имении Лаврецкого немедленно заводит «прелестные дорожные несессеры, . . . восхитительные туалетные ящики и кофсийники», в Париже «мужу сшила такой шлафрок, какого он еще и не нашивал . . . , приобрела восхитительную каретку, прелестный пианино . . . носила шаль, раскрывала зонтик и надевала перчатки не хуже самой чистокровной парижанки», после бегства из Парижа она приезжает в имение мужа «с запахом пачули» и «высокими сундуками и баулами», и теперь она выступает «в бледнолиловых перчатках» и «прелестной мантилье», и Марье Дмитриевне Калитиной она показывает «снявши перчатки своими гладкими, вымытыми мылом *à la guimauve* руками, как и где носятся воланы, рюши, кружева, шу; обещалась принести склянку с новыми английскими духами *Victoria's Essence*». Не следует думать, что это изображение характера Варвары Павловны через ее вещную обстановку должно отражать ее внутреннюю пустоту. Тот же прием применяет Тургенев для характеристики Инсарова или Лизы Калитиной (ее «комнатка») и, конечно, ряда персонажей второго плана (отец Базарова, Павел Петрович Кирсанов, Феничка и т. д.).

Именно такие характеристики действующих лиц через их обстановку требуют широких рамок; Тургеневу удалось не слишком расширить рамки своих романов. Но весь поток эпического метонимического повествования мог плыть только в широчайшем русле и нашел его у представителей русского реалистического романа — Толстого, Достоевского, Гончарова. Особенно большую роль в расширении русла повествования играют требования «метонимической» характеристики героя, через изображение его среды и «генезиса», развития его характера.

«Среда» становится в центре внимания писателя, особенно писателя с социологическими интересами. Со средой бы-

тие отдельного человека связано, по мнению позитивистических социологов, чрезвычайно тесно. За счет социологического интереса следует отнести знаменитую формулу «среда заела»! И если Достоевский не верит в **зависимость** индивидуума, в частности верующего христианина, от среды, то и он полагает, что индивидуум тесно **связан** со средой: «Каждый за всё и за всех виноват» — именно выражение этого убеждения, в известном смысле «обращение» тезиса позитивистов в духе идеалистического христианского миропонимания. То же встречаем у Льва Толстого, и если не всегда, то часто — у Лескова. А представление о всемогущей среде принадлежит к основным социальным верованиям русского интеллигента того времени.

Среда становится неизменным предметом художественного изображения. Романы разрастаются за счет изображения «среды» и «ближних» героя. К «среде» в широком понимании принадлежит и прошлое героя и даже его предков. И это, конечно, не ново. В романтике (напр. в «Страшной мести» Гоголя) семья и предки часто были носителями какой-то «судьбы»; над семьей или родом «тяготел рок», она могла быть осуждена на страдание или даже на гибель. Позже Гоголь, приоткрывая читателю прошлое Чичикова, как будто уже становится на путь «объяснения» характера героя его прошлым. Вряд ли это так: Чичиков уже как школьник — завершённый, законченный тип. Совершенно по-иному подходит к прошлому героев (и даже иногда случайных действующих лиц) автор первого последовательно-реалистического романа А. И. Герцен в «Кто виноват?»* Уже самое заглавие показывает, что автор хочет дать объясняющий ответ на этот вопрос. Именно этот вопрос о причине возникновения того или иного характера является одним из основных требований, предъявляемых к реалистическому изображению действительности. Отсюда все «предыстории» героев в романах: Обломова, Лаврецкого, братьев Карамазовых. Достоевский, правда, и здесь в известном смысле исключение: в его романах есть **«двойная причинность»** — кроме объяснений характера и действий героев причинами этого мира, эти же черты и события объясняются (вернее **осмысляются**; причины «этого мира» очень

* Несмотря на несколько публицистическую окраску стиля, Герцен сделал своим романом существеннейший шаг на пути к русскому реалистическому роману!

часто бессмысленны!) входя в связь и отношения «миров иных»: Иван Карамазов, конечно «сошел с ума!» (в связях этого мира), но он же «прозрел» (глазами своего чорта) истины высшего мира...

Но для реалистов — и для Достоевского — совершенно необходимо такое внимание к связям и отношениям этого мира, какого никогда не требовали от себя писатели-романтики и еще меньше — писатели (ныне не читаемые) классицизма и — в русской литературе слабого — барокко. В поэтическом рисунке реалиста всё должно быть «мотивировано», только мотивировка создает в эпоху реализма впечатление **правдоподобия**, которое требуется от реалистического произведения.*

Старая литературная традиция (начиная уже с романов античности) разрешала писателю обращаться со своими героями, как с шахматными фигурами, переставляя их на шахматной доске романа по произволу (и в этом произволе бывали возможны прекрасные шахматные ходы). Именно за недостатки мотивировки Лев Толстой возненавидел Шекспира. Писатель-реалист хорошо знает родословную своего героя, знает план его квартиры и города, в котором происходит действие. Извне вторгаются, конечно, неожиданные и случайные события (их особенно любит Лесков), но и они служат мотивами действий героев и помогают раскрыть их характер. Важен не смысл действия, а его причина (Достоевский и Толстой не забывают и о смысле). Вспомним гоголевские «немотивированные» сцены в «Носе»: все «совершенно покрывается туманом» и что происходит далее остается неизвестным, или фантастику связей в «этом мире» в «Метели» Пушкина, фантастику, вызвавшую негодование даже у современников: как ошибся священник, обвенчав чужую невесту с неизвестным проезжим, как этого не заметили свидетели и т. д. Теперь мотивировано, и именно «метонимически», причинами лежащими в той же плоскости бытия должно быть всё: — и «типичные» характеры и события (напр. у Тургенева) и характеры и случаи исключительные, стоящие на грани нормального (у Достоевского, Лескова).

* * «Правдоподобие» не есть соответствие действительности, но только иллюзия такого соответствия.

6

Вдвигая всё изображенное в литературном произведении в одну плоскость, реалисты избегают излюбленных приемов романтики и даже той «натуральной школы» (1842-1855), к которой многие из них (Григорович, Тургенев, Гончаров, Достоевский и др.) ранее примыкали: исчезает богатая метафорика и «метафорические приемы» — так исчезает гротеск, функцией которого остается только сатирическое изображение, исчезает гиперболика. Современники это замечали и отмечали. Каролина Павлова, посвящает романтику С. Шевыреву (интересному, родственному Тютчеву поэту) стихотворение, в котором причину его исчезающей в 40-х годах популярности видит в том, это он «метафоры любил»! В 60-х годах самые обычные метафоры и персонификации, еще не ставших реалистами, поэтов вызывают уже никому непонятные издевательские пародии. Если Случевский писал —

я смотрю, как в ясном небе надо мной
обнимается зеленый клен с сосной...

то пародист немедленно пишет, не обратив даже внимания на то, что слово «обнимается» не обязательно имеет метафорическое значение —

... в объятьях березу дуб держал...
всё с березами амурились дубы...

или строки Случевского

ходит ветер избочась,
вдоль Невы широкой...

дают повод Д. Минаеву написать **несколько** пародий; в них читаем, например:

подбоченья ходит месяц...
и прищуря томно глазки,
со звездой звезда болтает...
по эфиру без ботинок
бродят звезды босиком,
бродят ночью без опаски,
сняв чулки и сняв подвязки...
месяц крадется бочком... и т. п.

Оставляем в стороне пародии на стихотворения Тютчева, вызывающие сейчас чувство стыда за тех, кому это зубоскальство казалось остроумным. И излюбленные поэты эпохи реализма не могли совсем обойтись без метафор, но Некрасову или Надсону метафоры прощались за «благородство» содержания стихов.

И Чехову доставалось за слишком «нереалистические» мотивировки действий его героев, — как врач он понимал, что от ничтожных внешних влияний в душе человека могут возникать переживания и за ними следовать действия совершенно несоразмерные с этими «ничтожными» причинами... По поводу очаровательной «Степи» Чехову пришлось выслушать поучение реалистического критика, который находил его «импрессионистические» пейзажи «неясными» и требовал от него подробных «описаний»!

Конечно, чеховский импрессионизм рисунка был основан на совершенно правильном понимании невозможности и нехудожественности «описаний»: все реалистические изображения давали всегда только «выборки» отдельных штрихов действительности и путь Чехова, который сознательно стал работать над этой выборкой мелких и незаметных деталей из бесконечного богатства и разнообразия действительности был именно тем путем, на котором реализм мог стать более тонким, более изысканным и дающим более яркие картины действительности. Чеховский реалистический импрессионизм характеризовался некоторыми **новыми** для реализма чертами: намеренная неясность общего рисунка, состоящего из отдельных (часто разрозненных) черт и штрихов, большая чем ранее роль «тонких» эмоциональных элементов («дифференциалов настроения»), стремление давать картины на фоне искусно созданного общего настроения, очень часто несколько расплывчатого и колеблющегося.

Но чеховский реализм не нашел в свое время гениальных подражателей. К тому же «метонимический» стиль реализма (в особенности у второстепенных писателей, оставшихся одинокими на сцене конца 80-х годов) вызвал уже в половине 90-х годов иную оппозицию, оппозицию **новой метафорики**, — ибо именно эта новая метафорика и получила название **«символизма»**, и не без основания: «символ» и «метафора» родственные и близкие понятия. Но как мы знаем, и символизм, даже в период своего максимального влияния, вытеснить реализма не мог. Но что реалистический стиль 20-го века отка-

зался от сухой последовательной **метонимики**, этого почти не заметили ни символисты, ни поздние реалисты, считающие себя без достаточных оснований законными наследниками великой русской реалистической литературы 19-го века.

*Гейдельберг
Январь 1964 г.*

Дмитрий Чижевский

О СЮЖЕТЕ И ФАБУЛЕ

О сюжете. Откуда и как рождается у писателей сюжет? Из жизни? Но разве Толстой видел всех людей, которые проходят через его «Войну и Мир» — Болконского, Пьера, Наташу, Ростовых? Разве он видел Наполеона, умершего за десятки лет до написания «Войны и Мира»? Разве Гофман видел архивариуса Лиднерста и студента Ансельма, посаженного архивариусом в стеклянный сосуд? Разве Достоевский видел Карамазовых? Разве Андрей Белый видел своего геометрического сенатора Аполлона Аполлоновича, и Липанченко, и Александра Ивановича, и всех других действующих лиц из «Петербурга»? Разумеется, нет. Все эти люди — живые люди — и Болконский, и Пьер, и Наташа, и Ростовы, и Карамазовы, и сенатор Аполлон Аполлонович — все они рождены писателем из себя.

Правда, у того же Толстого в «Детстве» фигурируют действительно существовавшие люди; у Горького, в его «Детстве» — тоже; в других его вещах — тоже часто зарисованы живые, взятые из жизни, люди. Правда, такое, как будто бы — непосредственное перенесение людей на страницы книги — мы встречаем у реалистов, особенно, в произведениях автобиографического характера. Но даже и здесь — можно сказать с уверенностью — события и лица изображены не так, какими были на самом деле: действительные события и лица — служили писателю только материалом. Тем более это нужно сказать о писателях символистах и нео-реалистах, у которых мы часто встречаем фантастику и гротеск, т. е. то, чего в действительности не бывает.

Жизнь служит для писателя только материалом. Всю форму постройки, всю ее архитектуру, всю ее красоту, весь ее дух — создает сам автор. Архитектор Браманте построил собор св. Петра в Риме из камня: но камень — только мерт-

* В 1920-21 годах в «Доме Искусств» в Ленинграде Е. И. Замятин читал «Лекции по технике художественной прозы». Лекция о сюжете и фабуле прислана нам Л. Н. Замятиной. Эта лекция нигде напечатана не была. РЕД.

вый материал, жизнь в этот камень — вдохнул Браманте. Репин в своей картине «Иоанн Грозный» писал Иоанна с какого-то натурщика; но из этого, взятого из жизни, натурщика — он сделал Иоанна. Так и для писателя: наблюдаемые в жизни события, встречающиеся живые люди — являются не более, чем был камень для Браманте, не более, чем натурщик для Репина. Писатель, который может только описывать жизнь, фотографировать события и людей, которых он действительно видел — это творческий импотент, и ему далеко не уйти.

Из этих камней, которые писатель берет из жизни, сюжет складывается двумя путями: индуктивным и дедуктивным. В первом случае, индукции, процесс развития сюжета идет так: какое-нибудь мелкое и часто незамечательное событие — или человек — почему-нибудь поражает воображение писателя, дает ему импульс. Творческая фантазия писателя в такой момент, очевидно находится в состоянии, которое можно сравнить с состоянием кристаллизующегося раствора: в насыщенный раствор достаточно бросить последнюю щепотку соли — и весь раствор начнет отвердевать, кристалл нарастает на кристалл — создается целая прихотливая постройка из кристаллов. Так и здесь: такой импульс играет роль последней щепотки; ассоциация — роль связующего цемента между отдельными кристаллами мысли. Углубляющая весь сюжет идея, обобщение, символ — являются уже после, когда большая часть сюжета кристаллизовалась.

Другой путь — дедукция — когда автор сперва задается отвлеченной идеей и затем уже воплощает ее в образах, событиях, людях. Как тот, так и другой путь — одинаково законны. Но второй путь, дедукция — опасней: есть шансы сбиться на схоластическую форму. Как на пример первого пути создания сюжета — индуктивного, укажу на факт, рассказанный Чуковским в его воспоминаниях о Л. Андрееве. Однажды Андреев прочитал в записках Уточкина: «При вечернем освещении наша тюрьма — необыкновенно прекрасна...» Отсюда — «Мои записки», кончающиеся как раз этой фразой. Еще пример — «Чайка» Чехова. Однажды он был в Крыму вместе с художником Левитаном — на берегу моря. Над водой летали чайки. Левитан подстрелил одну из чаек и бросил наземь. Это было такое ясное зрелище — ненужно, зря умирающей, убитой красивой птицы, что оно поразило Чехова. Из этого мелкого факта, запомнившегося Чехову — создалась пьеса «Чайка».

Иногда факт, послуживший импульсом для сюжета — совершенно выпадает из произведения. Так случилось с моей повестью «Островитяне»...

Примером дедуктивного пути создания сюжета — могут служить многие произведения символистов, — хотя бы пьеса Минского «Альма» или «Навыи Чары» Сологуба, явно написанные *à thèse* — чтобы доказать преимущества Дульцинеи перед Альдонсой. Сюжеты Арцыбашевских «Санина» и «У последней черты», и Горьковской «Матери» — тоже явно созданы дедуктивным путем; этим путем создаются вещи проповеднического типа. Как я уже говорил — этот путь опасен, и сюжеты создавшиеся таким путем, редко выливаются в безукоризненно-художественную форму.

Итак, теперь мы имеем представление о том, как зарождается сюжет. Но вот сюжет — в эмбриональной форме — уже есть. Что же делать дальше? Нужен ли дальше план, схема повести или рассказа?

Решить этот вопрос в общей форме трудно. Но на основании моего опыта скажу, что торопиться с планом не следует. Составленный в самом начале работы план — стесняет работу воображения, подсознания, ограничивает ассоциативную способность. Творчество приобретает слишком обдуманый, чтобы не сказать — надуманный характер. Я рекомендовал бы начинать с другого: с оживления людей, с оживления главных действующих лиц. Второстепенные персонажи, разумеется, могут появиться и ожить во время дальнейшей работы; но главные персонажи — всегда есть уже в самом начале. И вот надо добиться — все тем же самым приемом «сгущения мысли», о котором говорит Флобер — надо добиться, чтобы эти главные персонажи стали для вас живыми, ожили. Надо, чтоб вы видели их — видели прежде всего, видели в каждом из них всё бросающееся в глаза. Надо, чтобы вы знали, как кто ходит, улыбается, здороваётся, ест. Затем вы должны подметить особенности в манере говорить у каждого из действующих лиц. Т. е. вы должны судить о своих персонажах так же, как вы судите о незнакомом человеке: вы наблюдаете его извне, и отсюда, индуктивным путем, от частных — восходите к общему. Когда вы узнаете действующих лиц снаружи — вы уже будете детально знать их и внутри; вы будете детально знать характер каждого из них; вам будет совершенно, безошибочно ясно: кто что из них может и должен сделать. Тогда и определится — сюжет

— и определится окончательно и правильно. И только тогда можно набросать план.

Практически следует, стало быть, поступать так: сперва вы делаете эскизные портреты главных действующих лиц, обдумываете — или правильной, почувствуете — все их особенности. Затем, если имеете дело с большой вещью — хорошо набросать эскизы отдельных сцен — все равно, м. быть даже начиная с конца. А затем — разработать план и, пользуясь эскизами, начать все писать с начала.

Когда вы пишете первый черновик — лучше писать быстро, по возможности не останавливаясь над отделкой деталей. Места, затрудняющие чем-нибудь лучше пропускать и доделывать потом: важно дать законченную форму сюжету, фабуле. Не беда, если в первом черновике у вас будут длинноты, повторения, излишние детали: это все можно убрать при дальнейшей работе. А этой дальнейшей работы — не мало. Надо твердо запомнить: всякий рассказ, роман или повесть, не считая предварительных эскизов — надо переписать по крайней мере два раза и непременно прочитав себе вслух. Читать вслух нужно: 1) чтобы использовать в рассказе, где это нужно, музыку слова; 2) чтобы исправить все неблагозвучия; 3) чтобы не было ритмических ошибок. Но для того, чтобы добиться правильной конструкции фразы, правильной расстановки слов, точности эпитетов — недостаточно одного чтения вслух: это процесс слишком быстрый. Тут требуется переписать вещь — один раз, два, три — сколько понадобится.

Во время такой переписки — выступает на сцену сокращение и вычеркивание. Уметь вычеркивать — искусство, пожалуй, еще более трудное, чем уметь писать: 1) тут надо иметь очень зоркий глаз, чтобы решить, что лишнее, что надо убрать, а 2) тут нужна безжалостность к себе — величайшая безжалостность и самопожертвование: надо уметь жертвовать частностями во имя целого. Иногда какая-нибудь деталь, какой-нибудь вставной эпизод — кажется страшно ценным и интересным, и так жаль выбросить его. Но в конце концов, когда выбросишь — всегда оказывается к лучшему. А выброшенное — всегда пригодится потом, в другой вещи.

Всегда лучше **недоговорить**, чем **переговорить**. У читателя, если он не чурбан — всегда достаточно острые зубы, чтобы разжевать самому то, что вы ему даете: не надо преподносить ему пережеванного материала. Не следует писать в расчете на кретинов. Повесть, рассказ — вы можете счи-

тать совершенно созревшими и законченными, когда оттуда уже нельзя будет выбросить — ни одной главы, ни одной фразы, ни одного слова. Все что можно выбросить — надо безжалостно выбросить: пусть останется только одно яркое, одно необходимое. Ничего лишнего: только тогда вы можете сказать, что ваше произведение создано и живет.

Если кажется, что какой-нибудь эпизод, какой-нибудь анекдот, какое-нибудь действующее лицо — очень интересны и ценны сами по себе, нужно суметь этот эпизод или это действующее лицо связать с фабулой какими-то неразрывными, живыми нитями, а отнюдь не белыми нитками, нужно изменить фабулу, так, чтобы этот эпизод или эпизодическое действующее лицо — стали необходимыми.

Для развития фабулы — в современном романе или повести — тот же самый психологический закон, что и в драме: завязка, действие, развязка. Для романа и повести — это является нормальным. Впрочем, в современных романах и повестях последний член этой формулы — развязка — часто выпадает: занавес закрывается перед последним действием, читателю предлагается угадывать развязку самому. Этот прием допустим только в том случае, когда все психологические данные для развязки уже выяснены, и читатель без труда может судить о ней по первым двум членам формулы.

Большой рассказ — тоже часто содержит в себе все три элемента драмы: завязку, действие, развязку. Но в рассказах небольших, в новеллах — обычно берется только какой-нибудь один из членов этой формулы: либо одна завязка, либо одно действие — без завязки и развязки; либо, наконец, сразу — одна развязка. Пример рассказа со всеми тремя элементами: «Беда» Чехова; «Сирена» Чехова. Рассказ с одной завязкой: «Егерь» Чехова. Рассказ с одной развязкой: «Злоумышленник». Рассказ с одним действием: «Пасхальная ночь» Чехова. Но в большинстве случаев даже и в небольших рассказах — все три элемента.

Известно, что в классической драме — был закон единства — единства времени, места и действия. С развитием театральной техники — эти строгие требования смягчались и, наконец, современная драматургия уже не требует того, чтобы действие происходило в течение 24-х часов и в одном и том же месте. Но закон единства действия, единства действующих лиц — остался, потому что в основе его лежат соображения не технические, а психологические.

Так же закон единства действующих лиц — сохраняет

свою силу и для романа, для повести, для рассказа. Театральных технических затруднений здесь нет: вы не стеснены требованием единства времени или места, но единство действующих лиц для современного романа, повести — обязательны. Одни и те же — или м. б. одно и то же главное действующее лицо должно проходить через все произведение. Вокруг главного лица могут вращаться и действовать сколько угодно второстепенных. Эти второстепенные по миновании надобности, могут исчезать, могут быть эпизодическими, но главное лицо — или лица — остаются все время. Надо, при этом отметить, что случайные, эпизодические лица — являются недостатками произведения: это нарушает его архитектурную стройность. И искусство автора всегда сумеет сделать так, чтобы эпизодические лица оказались необходимы в фабуле, в развитии сюжета. Я нарочно подчеркнул, что это требование — единства действия лиц — является обычным в современном, в новом романе и повести.

Когда художественная проза находилась еще в первоначальной стадии развития — это требование обычно не выполнялось: прозаические произведения средних веков, 18-го века — строились по принципу эпизодичности. Шехеразада, Декамерон. «Жиль-Блаз» Лесажа — как будто связан единым действующим лицом: но связь, в сущности, почти та же как в Шехеразаде — все время одно и то же лицо рассказывает сказки.

В драме есть еще закон, который я назвал бы законом эмоциональной экономии. То же — в художественной прозе — закон этот основан на том, что у человека после сильных ощущений — получается реакция, утомление и эмоциональная восприимчивость понижается. Потому наиболее сильные психологические эффекты — нужно переносить в конец повести, романа, рассказа. Если такой момент дать раньше — читатель не в состоянии будет воспринять последующих, эмоционально не столь напряженных моментов. Из этого закона эмоциональной экономии — вытекает другое требование: требование интермедий. Эмоциональные подъемы в художественных произведениях должны сменяться какими-то роздыхами, понижениями. Нельзя все время держать читателя на *forte*: он оглохнет. Должны меняться и темп, и сила звука. Это требование относится к роману, повести и большому рассказу. Небольшие рассказы, типа новелл, 2-3 страницы — могут быть восприняты читателем и в том случае, если рассказ ведется все время в очень напряженном тоне: внимание читателя еще

не успеет устать. Он может воспринять рассказ без передышки, залпом. В более крупных вещах — требование такой передышки, интермедии — осуществляется несколькими способами.

Самый простой способ, но вместе с тем и наиболее грубый, наиболее примитивный — это эпизодические вставки. Т. е. в ход рассказа вводятся еще особые добавочные, вставные рассказы, не связанные, в сущности, или очень мало связанные с фабулой. Примеров много. Рассказ о купце Воскобойникове у Достоевского. Рассказ Ахиллы в «Соборях» — о том, как он самозванцем был. Там же — рассказ Плодомас карлика о Царе, о женитьбе. Все это достигает цели, но как я уже говорил — это портит архитектуру, стройность рассказа. Другие приемы, чтобы дать нужную передышку вниманию читателя — это лирические отступления и авторские ремарки. Такие отступления очень часто применял Гоголь: вспомните его «Тройку». Из новых авторов мы увидим такие отступления у берущих свое начало в Гоголе — Ремизова и А. Белого. Но этот прием, достигая своей цели, т. е. давая передышку, отвлекая на время внимание читателя от развития фабулы — опять-таки имеет недостаток: он на время позволяет проснуться читателю, производит расхолаживающее действие, ослабляет очарование. Все равно, как если бы актер среди игры снял грим, сказал несколько слов своим голосом, а затем снова... Очень дурной прием — авторские ремарки, рассказывающие о тех ощущениях героев, которые уже **показаны** в действии. Это — всегда лишнее; это — разжевывание. Пример — «Муж» Чехова. Дальше, в качестве интермедий пользуются пейзажем или описанием обстановки, в которой происходит действие. Этот прием гораздо уместнее и лучше предыдущих. Цель также достигается, но при этом не вводится в рассказ никакого инородного тела; пейзаж и обстановка — могут войти в качестве жизненного, необходимого элемента. Но для этого автор должен позаботиться, чтобы пейзаж или описание обстановки были органически связаны с фабулой.

Очень хорошо понимал это Чехов. В одном из писем он говорит: «Описание природы только тогда уместно и не портит дела, когда оно кстати, когда оно помогает сообщить читателю то или другое настроение». Нужно, чтобы пейзаж или обстановка не были нейтральны: они должны быть связаны с фабулой, с переживаниями действующих лиц, или по признаку сходства или по признаку контраста. Тогда помимо

прямой цели — дать интермедию — достигается еще и побочная: читатель вводится, готовится к последующим событиям. Таким образом достигается художественная экономия. Примеры: «Спать хочется» Чехова, «Агафья» Чехова, «Островитяне» Замятина, «Весенний вечер» Бунина.

Во всяком случае, и пейзаж, и описание обстановки — должны быть сделаны кратко, в нескольких строках. Чехов: «Море было большое». Надо уметь увидеть в пейзаже и обстановке или что-то очень простое и потому не бросающееся в глаза — или оригинальный образ. Самый трудный и сложный, но вместе с тем наиболее искусный и достигающий наибольшего эффекта прием интермедии — это прием переплетающейся фабулы. В рассказе, повести или романе — несколько главных персонажей, связанных между собою, все время проходят параллельно, создавая три романические интриги. Читатель устал следить за переживаниями одной пары — вы переносите его внимание на другую, третью. Примеры: «Островитяне» (М-с Дьюли и Кембл, Кембл и Диди; Диди и О'Келли, — все связаны между собой неразрывными нитями). «В сарае» Чехова.

Чтобы покончить с фабулой, мне остается сказать еще об одном недостатке, свойственном большинству русских писателей, включая самых крупных мастеров художественного слова: это бедность фабулы, интриги в русских романах, повестях и рассказах. Особенно это относится к писателям новейшего периода. Богатейшая фабулистическая изобразительность была у Толстого, у Достоевского, у Лескова, из второстепенных авторов — у Болеслава Маркевича. А затем русская литература занялась усовершенствованием формы, языка, углублением психологических деталей, разработкой общественных вопросов; фабула же — была забыта. Форма и психологическая сторона в художественной прозе — развивались и ушли, может быть, даже дальше западно-европейских образцов — но это произошло за счет обеднения фабулы. Таких мастеров фабулы и интриги, как Дюма, позже Мопассан, Флобер, Бурже, Конан-Дойль, Уэллс, Генрих Манн — в русской литературе теперь нет. Фабулой интересовались и фабулу культивировали у нас в последнее время писатели третьестепенные, скорее даже бульварные, вроде Вербицкой и Нагродской. Настоящие же мастера художественного слова — как-то пренебрежительно относились к фабулистической стороне и как будто даже считали ниже своего достоинства интересоваться фабулой. И совершенно напрасно: результатом было то, что по

статистическим данным библиотек — больше всего читались именно бульварные, третьестепенные писатели, вроде Вербицкой. А такие мастера и художники слова, как Бунин — стояли на полках. У Бунина — фабула часто скучна. Нельзя забывать этого неоспоримого афоризма: «Все роды литературы хороши — кроме скучной». Писателю нынешнего дня на фабулу придется обратить особое внимание. Прежде всего — меняется читательская аудитория. Раньше читателем был главным образом интеллигент, способный подчас удовлетвориться эстетическими ощущениями формы произведения, хотя бы развитой в ущерб фабуле. Новый читатель, более примитивный, несомненно, будет куда больше нуждаться в интересной фабуле. Кроме того, есть еще одно — психологическое — обстоятельство, которое заставляет теперь писателя обратить больше внимания на фабулу: жизнь стала так богата событиями, так неожиданна, так фантастична, что у читателя вырабатывается невольно иной масштаб ощущений, иные требования к произведениям художественного слова: произведения эти не должны уступать жизни, не должны быть беднее ее.

Из искусственных приемов повышения интереса читателя к фабуле — я обращаю ваше внимание на три приема. Первый — это то, что я назвал бы фабулистической паузой. Обычно это бывает при наличии переплетающейся фабулы: рассказ прерывается на очень напряженном и драматическом месте — и автор обращается к развитию второй, параллельной фабулы; этим развитием и заполняется намеренная пауза. Такая пауза, естественно, усиливает нетерпение читателя узнать: чем же кончится так неожиданно прерванное изображение какого-нибудь очень драматического события. Пример: Лесков, «Запечатленный ангел».

Второй прием — задержание персонажей.

Третий прием — заключается в намеренном запутывании фабулы. Путем искусных намеков автор заставляет читателя придти к ложному выводу о разрешении какого-нибудь фабулистического конфликта — и затем неожиданно обрушивается на читателя действительным разрешением конфликта. Пример: «Север» (Замятин).

Евг. Замятин

ВОЛШЕБНЫЕ ЗВУКИ

Может быть современные поэты и их истолкователи слишком подчеркивают звучание стихов (фонику). Но звуковые повторы или эвфония, инструментовка — прием не новый, а очень старый, известный еще во времена доисторические. Есть звукопись в древних заклинаниях, заплачках, колыбельных песнях, пословицах, поговорках. В латинской и греческой поэзии звучание не подчеркивалось, к тому же — классики презирали «уличные» рифмы, т. е. самые распространенные звуковые повторы. Но северные варвары обольщались звуками. Инструментовка была организующим принципом древне-германского эпоса (аллитерации). А славяне и, в частности, русские?

Чтение и истолкование древне-русских памятников связано со многими трудностями. Переписчики искажали тексты и мы не знали произношения некоторых звуков. Всё же нельзя сомневаться в эвфоничности «Сказания о Борисе и Глебе»: багряница и брячины (пиры)... брашна чьстная и быстры кони... Или повторение л и м в молении Бориса: блаженны начать молитися и миль ся имъ дѣяти, глаголя: братия моя милая и любимая... То же звучание слышится и в словах юного Глеба: Молю вы ся и миль ся дѣю.

В «Слове о Полку Игореве» — везде очень яркая инструментовка. Аллитерации: Уже сънесе ся хула на хвалу; туга и тьска сыну Гьльбову! Или этот фрагмент, громкий, торжественный: струны... славу рокотаху: старому Ярославу, храброму Мьстиславу... Имеется в «Слове» и менее заметная, очень тонкая, звукопись:

Уныли голоси, пониче веселие, —
Трубы трубять Городьчскыѣ.

(Тексты из «Слова» даны в реконструкции Р. О. Якобсона). Здесь мягкие л, с, н тихой печали противопоставляются громкому (трубному) рокоту р.

Русские поэты 18-го века и ампира (пушкинской эпохи) постоянно обсуждали звучание и пользовались звукописью в поэзии. Державина за пристрастие к раскатистым **р** называли Тромпетиным. Но в статье «Лирическая Поэзия» он предлагает устранить «р, делающую некоторую громкость» из тихого, нежного стихотворения Капниста, и слово «придел» заменяет словом «удел».

В «Евгении Онегине» поэт ищет

..... союза

Волшебных звуков, чувств и дум.

Пушкин не был одержим звуками, как многие современные поэты, но все же часто поддавался их волшебству и отмечал звукопись в чужих стихах. Ему нравились звуки «вла-вла» (влаги властелин) в стихотворении Вяземского («Нарвский Водопад», 1825). Его восхищает стих Батюшкова «Любви и очи, и ланиты...» («К другу», 1815). «Звуки итальянские. Что за чудотворец этот Батюшков!» Написал он на полях его книги.

«Италофил» Батюшков в письме к Гнедичу жаловался на неблагозвучие некоторых русских звуков: «Что за ы? что за щ, ший, ший, тры? Варварство...» Но вкусы бывают разные.... Так, у Некрасова было пристрастие к ненавистным Батюшкову русским «щам» в причастиях:

От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви

(«Рыцарь на час», 1860 г.)

Рокот **р** и шипение шипящих любил Маяковский и здесь он неожиданно перекликается с поэтом Фелицы — Державиным. Об этом часто говорилось, но приводились ли примеры? Вот один:

То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.
(последние стихи Державина,
1816 г.)

Хлебища дайте жрать ржаной,
Давайте жить с живой женой!

(Маяковский)

В этих риторических стихах тот же самый грубо-выра-

зительный глагол (пожрется, жрать фонетически «поддержан» другими **ж** и **р**). Стихи эти, по содержанию — величины не-соизмеримые, но всё же близкие — по звучанию, по риторичности тона.

Символисты иногда увлекались очень грубой, затемняющей смысл, инструментовкой, например, Бальмонт (Чуждый чарам черный челн). Но с 900-х г.г. до наших дней русская поэзия изобилует звуковыми повторами в самых разнообразных комбинациях. То же самое наблюдается и в западной поэзии.

Часто смысловые ассоциации возникают по звуковым признакам:

Льни! — на лыжах! — Льни! — льяной!
(Марина Цветаева, «После России»,
стихотворение 1922 г.).

Из наших младших современников, кажется более всего одержим звуками Андрей Вознесенский. В стихотворении «Бог» он «нанизывает» свистящие **с**:

Сибирь?..
Соболь — Сибирь?
Сабля — Сибирь?
Староверы — Сибирь?
Сталевары — Сибирь?

Языковеды и литературоведы школы формалистов (Брик, Якубинский, Якобсон и другие) очень много сделали для изучения русской звукописи, но тема эта остается неисчерпаемой.

При истолковании звуковых повторов следует устранить одно, очень распространенное заблуждение. Некоторые думают, что звуки сами по себе могут иметь определенный смысл. Так, неверно, что мягкие **л** в русском языке выражают преимущественно нежность, хотя они и окрашивают слова любить, лелеять. Вяземский в «Записной Книжке» рассказывает, что одного итальянца, не знавшего русского языка, спросили в Москве, как на его слух звучит «телятина». — «О нет сомнения, это слово ласковое, нежное, обращаемое к женщине», ответил итальянец. Но звучание мягкого **л** — не вообще в языке, а в данном тексте, может быть «ласко-

вым», например, в Плаче Ярославны или в колыбельном припеве: люшеньки, люлюшеньки, люли.*

При определении функции звукописи необходима осторожность, но всё же нельзя устранять интуицию, риск... Фоническая статистика не заменит интуитивного подхода, хотя и может принести известную пользу. Так, следовало бы определить частоту звуков в каждом языке. Ведь случайные звуковые повторы встречаются в любых прозаических текстах, например, в газетных передовицах!

2

Нельзя дать полный список функций звукописи в поэзии, а также и в прозе. Звуковая сокровищница неисчерпаема и творческое воображение неистощимо. Укажу на один часто встречающийся прием. Назовем его: «эхо». Поэт вводит в стихи ключевое слово и, чтобы еще более подчеркнуть его значение, откликается на него сходными по звучанию словами.

Мандельштам, приблизительно между 1913-1915 г.г., воспевал Рим, как языческий, так и христианский. Подход его к этой теме — не глубокомысленно-философический, а восторженно-эстетический. Заметим, что в то время, да и позднее, его вдохновляли не одни только образы Вечного Города, но и многое другое в великом прошлом Европы: Эллада Гомера, Византия в Айа Софии и на Афоне, готическая Нотр-Дам, Шотландия Оссиана, лютеранство, Бах, Бетховен, французский классицизм, Англия Диккенса, императорский Петербург, Царское Село... Всё вообще наследие нашей иудео-эллинско-латинской культуры он осваивал в стихии русского языка, в стиле торжественном, иногда архаическом, но также и в стиле непринужденно-разговорном. В его великолепном «Адмиралтействе» древняя «**ладья** воздушная» соседствует с «мачтой-**недотрогой**» просторечия.

* «...в стихотворно языковом мышлении», пишет Л. Якубинский, «звуки всплывают в светлое поле сознания; в связи с этим возникает эмоциональное к ним отношение, которое в свою очередь влечет установление известной зависимости между «содержанием» стихотворения и его звуками; последнему способствуют также выразительные движения органов речи» («Сборники по теории поэтического языка», 1, 1916 г.).

Первое из римских стихотворений Мандельштама начинается так: — «Поговорим о Риме — дивный град!» (1913 г.) Здесь последний (ударный) слог первого слова целиком включает основу первого: поговорим-**рим**. Это — предваряющее эхо: сперва — отклик и потом уже слово, на которое поэт отзывается! Существенно, что Мандельштам выбрал такое простое обиходное выражение. О чем можно поговорить? — О чем угодно, о детских проказах, о житейских неприятностях, о важных делах... То же выражение, но с другой интонацией, прозвучало в пушкинской «Лицейской Годовщине» (19-го октября 1825 г.):

Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви.

Здесь тон беседы — непринужденно-дружеской, но и возвышенной, поэтической; и эти стихи достаточно хорошо известны читателям Пушкина. Поэтому мандельштамовское обращение «поговорим...» вызывает ассоциации, как бытовые, так и литературные; и благодаря этим ассоциациям образ Рима переносится в русскую атмосферу, русеет... В третьей строфе того же стихотворения можно расслышать еще одно эхо: — «Над форумом огромная луна...» **ор-мом : ром**.

В следующем стихотворении: «римские перуны» и «Рима ржавые ключи». Здесь тоже звуковые повторы: рокот **«р»**. Заметим: перуны, этот стилизованный под русскую древность оссиановский образ конца 18-го века, в данном случае, ассоциируется и с римской империей, и с империей российской екатерининской эпохи, с Державиным, воскресившим славянских перунов. Также и в других стихотворениях того же периода Вечный Город часто возникает в окружении рокошующих **рцы**: «русский в Риме»; «Природа — тот же Рим». Мандельштам вообще никогда инструментальной очень не увлекался, не «перебаршивал». Другие его римские ассоциации — не звуковые, а смысловые: Рим и снег («О временах простых и грубых...»; «Посох»). Это Рим изгнанника Овидия, который на Дунае, в снегах, мечтал о родном Городе на далеком Юге. Но существенно, что в первом (вводном) стихотворении римского цикла, Мандельштам на слогно Рим отзывается выражением обиходным, но и связанным с поэзией, с пушкинскими стихами («поговорим»).

Поэтическое обрусение классических имен, образов началось еще в 18-м веке, в рококо Богдановича: в его поэме «Душенька» греческая Психея превратилась в просторечиво-бытовую Душеньку. У Дмитриева:

Амуры, утирая
 Ручонкою глаза,
 Уж выются воздыхая
 Под самы небеса

(«К Хлое», 1792 г.).

Здесь **ур** (в слове Амуры) отзываются в **ра** нейтрального глагола (утирая) и в **ру** уменьшительного (ручонкою). Так, латинские Амуры утирают глаза русской рученкой! (Ведь диминутивов в классической латыни нет).

Запоздалые мотивы рококо прозвучали в «Идиллиях» Владимира Панаева (1820). Литературная аристократия («пушкинская плеяда») его не признавала, между тем в его стихах немало прелести. Вот пастушка, примирившись с пастушком, —

У Амурова кумира
 Молвила ему тишком,
 Что уж больше не сердита,
 И просила пособить
 Жертвенник малютке богу
 Вязью миртовой обвить.*

И здесь — обрусение Амура — бытового «малютки», а не более «книжного» или нейтрального «младенца»! «Амурова» переливается в «кумира» и еще слышится в «народном» глаголе «молвила» (во всех ударных слогах есть **м**: **мú**, **мí**, **мó**). А стилистически — иноземные амур и кумир противоплагаются просторечивому наречию тишком. Это смешение сти-

* Батюшков писал Гнедичу (в июле 1817 г.): «Кто такой Панаев? Напоминает мне мёд, патоку, творог, Шаликова и тмин, опрыснутый водой...» Но этот приговор никак нельзя считать окончательным. А цитированные выше стихи Панаева и по звучанию, и по стилю напоминают стихи Батюшкова («Ложный стыд», подр. Парни, опубликован в 1810 г., т. е. за 10 лет до выхода панаевских «Идиллий»):

Помнишь ли, мой друг бесценный,
 Как с *амурами* *тишком*,
 Мраком ночи окруженный,
 Я к тебе прокрался в дом

(курсив мой. Ю. И.)

Если в данном случае Панаев и подражал Батюшкову, то весьма удачно на его уровне.

лей я назвал бы языковым коктейлем. Такой коктейль был и в мандельштамовских двух словах (Поговорим о Риме...). Этим приемом пользовались многие поэты и писатели. Державин в «Жизни Званской» подкармливает деревенских детей, чтобы они «во мне не зрели буки». Гоголь в статье о Борисе Годунове писал: «запенившиеся уста горланят на торжищах». Здесь всюду смешение церковно-славянских выражений с просторечием (зреть и бука; горланить и уста, торжище). Функция такого рода коктейлей — прежде всего эстетическая. И у Державина, и у Гоголя было пристрастие к барочным контрастам высокого и низкого стилей, им зачастую хотелось любой ценой усилить выразительность речи! Но есть здесь и комизм: деревенщина, которая боится буки, горланит на сходках, посажена рядом с учеными архиереями, которые зрят торжище и вкушают устами! Эта «бурда» отзывается семинарской шуткой, бурсацкими пародиями.

Контрасты в коктейлях резче всего в тех случаях, когда звуковые повторы отсутствуют. Ведь инструментовка сглаживает контрасты между стилями. Вот поразительный пример стилистического смешения, в котором звуковые повторы не подчеркнуты:

О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!

(опубликовано в 1836 г.).

Греческий хаос — слово книжное и во времена Тютчева им еще не злоупотребляли, как в современном языке (хаотическое ведение дела, хаос в комнате, в голове). В пушкинском словаре — хаоса нет. У Тютчева хаос Гесиода в интерпретации романтической философии (Шеллинга): темная первооснова мира. Вообще русских местных красок, например, в ландшафте, в речи, у Тютчева мало, и только изредка проскальзывают в его речь выражения народные и разговорные (тужить, ненароком). А тут философский, но и очень реальный, ветровой хаос награждается эпитетом **родимый** (да еще после архаизма «песен **сих**»). Батюшка, матушка — **родимые** в крестьянском обиходе, в народных песнях, а не «чуждый» народу хаос! Это книжное слово, в данном контексте, **снижено** эпитетом, заимствованным из просторечия и фольклора. Но хаос здесь не только обрусел, «омужичившись»! Хаос в этом стихотворении согрет народной «лексикой ласковости»,

переведен с языка ума на язык сердца и, тем самым, из плана классической мифологии и романтической философии перенесен в живую стихию русского языка и в лирическую поэзию. Существенно, что хаос, ветер, гроза для Тютчева не только отвлеченные символы, но и его интимное творческое переживание, которое, несомненно предшествовало его мыслям, идеям о жуткой, но и чем-то притягательной первозданной тьме. Книжный язык этого переживания передать не может, и Тютчеву, жившему тогда в Германии, могли вспомниться слова, слышанные им в детстве, в юности, например, родимая сторонushка! Но я, — и вовсе не из одного почтения к великому поэту, считаю его «лексику ласковости» вполне уместной: хаос — страшный, но душа «внимает повести любимой» о **родимом** хаосе. Всё же это мое утверждение бесспорным не считаю. Приближение к поэзии несовместимо с самоуверенностью.

Предвижу одно возражение — общего характера. Нужно ли вообще анализировать искусство? Эту игру или это чудо? Анализ — не от лукавого ли? Да, наивное чтение неискушенных читателей имеет некоторые преимущества (свежесть восприятия).

Буря мглою небо скрсить,
Вихри снежные крутить,
Аж как зверь она завоет,
Аж заплачет как дитё...

Так читает эти пушкинские стихи Петруха (в повести «Хозяин и работник»)! Чтение — варварское, но, несомненно, этот малограмотный читатель стихами одержим, он — в поэзии, а не за пределами ее. Губят стихи не такие восторженные варвары, а невнимательные, быстро читающие интеллигенты. Между тем, в стихах — даже частицы речи что-то значат в игре слов, звуков и не все секреты сразу разгадываются даже в очень простых, казалось бы, стихах. Поэтому необходим анализ. Постижение правил и загадок художественной игры утончает понимание и обостряет наслаждение...

Юрий Иваск

ШЕСТЬ ЛЕТ В ГАЗЕТЕ ВСНХ *

Я сказал, что после моего заявления об уходе от заместительства — все осталось попрежнему. Это не совсем так. Кое в чем моя работа была облегчена. Выпускающему газет было запрещено телефонными обращениями тревожить меня после 12 часов ночи. Было установлено, что для решения возникающих ночью больших вопросов следует обращаться к самому Савельеву, а по вопросам меньшей важности — обращаться к Спиваковскому, назначенному моим помощником, в качестве заведующего редакцией. Все остальное осталось для меня как прежде. Четыре молодых коммуниста (Спиваковский, Роках, Лейтес, Хавин), посланные отделом печати для обучения у меня «газетному знанию» и усиления партийного состава в редакции — были хорошими, прилежными учениками, неукоснительно выполняющими все мои указания, но собственной инициативы у них не было.

Один из них (Роках), которого я попытался выдвинуть на пост заведующего редакцией, показал себя для этого совершенно негодным. Его пришлось заменить — Спиваковским. С ним стало немного лучше, но все же не то, что нужно. Не совсем оправдал надежды и приглашенный новый сотрудник, которому я предлагал поручить чтение и правку статей. Словом, не вдаваясь в подробности, скажу, что редакционный комитет из 18 сотрудников, считая в том числе репортеров, не был настолько силен, инициативен, активен и подготовлен, чтобы без постоянного подталкивания, наблюдения, без руководства им, был бы способен поддерживать завоеванный престиж «Тор.Пром.Газеты». В его составе я не видел никого кто мог бы стать заместителем редактора и освободить меня от того, что я называл «каторжной работой». Бросить же газету на произвол судьбы я ни за что не хотел. При этом искании себе заместителя — станет понятно, что я обратил большое внимание на появившегося в 1926 г. в газете нового сотрудника В. С. Богушевского. Партийный стаж

* См. кн. 74 «Н. Ж.»

его не был велик. Он сделался коммунистом после октябрьской революции, но благодаря своей интеллигентности, некоторым знаниям, способности «ораторствовать» и (хотя очень трафаретно) писать — стал постепенно подниматься по лестнице партийной иерархии. И вдруг его карьера оборвалась. Он имел неосторожность написать в «Большевике» статью, в которой доказывал, что деревенский кулак «не общественный слой, даже не группа, даже не кучка, а вымирающие уже **единицы**». Статья, не лишенная аргументов и весьма правильных указаний, что в советской печати нет ясного определения — кого считать кулаком — вызвала припадок бешенства у Сталина: как смеет отрицать существование такого врага как кулак? Некому Сулкову было поручено в «Большевике» ответить Богушевскому и от имени начальства объявить, что его статья вредная, стремится спасти кулаков и их «ввести в состав полноправных советских граждан». Открывая собою знаменитую галерею кающихся, Богушевский униженно, почти слезно, просил прощения за написанную им статью, всенародно отказываясь от всех высказанных в ней мыслей. Секретариат партии всетаки согнал Богушевского с занимаемого им поста, сделав на несколько месяцев безработным, а потом передал в отдел печати ЦК, который постановил направить его на самую маленькую работу в «Торг.Пром.Газету». Когда об этом объявили Савельеву, тот всегда боявшийся, что ему подошлют какого-нибудь нежелательного, опасного для него заместителя — с неким страхом спросил: «на какую же должность вы присылаете к нам в газету Богушевского?» На это ему ответили: — «отдайте его под начало Валентинова. Пусть тот хорошенько ему шею мнет».

С усмешкой сообщая мне об этом, Савельев указал, чтобы я избрал для Богушевского такого рода работу, которая согласуется с высказанным на этот счет приказом Отдела Печати. «Мятеж шею» Богушевскому у меня никакого поползновения не было. Мне было жалко его. Он был послушен, скромен, напуган, унижен и об одном только молил, чтобы партийная пресса перестала его травить как «защитника кулаков».* Я давал Богушевскому править некоторые статьи, назначал темы, на которые он должен был писать без подписи передовые статьи, тщательно при нем их исправлял, требовал, чтобы он всегда — для получения газетного знания, присутствовал на всех редакционных совещаниях. В конце кон-

* Сталин в одной из своих речей назвал Богушевского «конченым человеком».

цов, я достиг того, что Богушевский кое в чем мне стал помогать. Однако, тяжесть моей работы от этого уменьшилась не на много, тем более, что я начал организовывать в газете новый большой отдел, посвященный прикладной науке и технике. Не работая столько, как прежде, я все-таки работал 13 или 14 часов в сутки и к концу 1927 г. мозговое переутомление дошло до крайней степени, сопровождаясь невыносимыми головными болями с судорогами и потерей сознания. Хирург, профессор Хорошко полагал, что нельзя обойтись без трепанации черепа, так как головные боли, были связаны, по его предположению, с опухолью в мозгу и являлись последствием удара по голове, в 1902 г. нанесенного мне полицейской саблей. В противоположность ему, доктор Краммер, тот самый, что лечил Ленина, находил, что такой операции делать не нужно, но необходимо очень надолго бросить всякую работу в газете, о ней абсолютно не думать и лучше всего для этого уехать за границу, например, в Германию, в какую-нибудь специальную санаторию. О моем состоянии здоровья через Савельева и сестру своей жены (она работала в секретариате «Торг.Пром.Газеты») узнал А. И. Рыков и снова, это уже второй раз, сделал всё, чтобы я смог отправиться за границу. Выехав туда в феврале 1928 г. я жил в санатории Либенштейн в Тюрингии, где меня с помощью сильнейших доз снотворного лечили главным образом сном — 10-12 часов в сутки. Доктора не без основания считали, что болезнь моя развилась на почве многолетнего недостатка сна. Оправляясь понемногу от болезни, я твердо решил ни при каких обстоятельствах больше не работать в «Торг.Пром.Газете», окончательно ее покинуть. Быть в ней только рядовым, простым сотрудником мне никак не удастся, а быть кем-то больше этого, т. е. опять иметь отношение к руководству — значило бы возвращение к губящей меня работе. Отказаться от какой-либо руководящей должности побуждали и другие мотивы.

С 1922 г., работая в ВСНХ, активно участвуя во всех его кампаниях, всемерно поддерживая их — я не делал чего-то, что резко противоречило бы моим убеждениям. Основную хозяйственную политику правительства, за исключением некоторых ее частей, я принимал, и то, что проводил в ВСНХ, например, Дзержинский считал правильным. Не могу сказать, чтоб совсем не было никакого «приспособленчества», важно что **большого морального разлада** с тем, что проводило правительство я не ощущал. Наоборот, был оптимистический взгляд в будущее и вера в спасительную, созидательную но-

вые формы, эволюцию. Но в особенности в 1927 г., в советской атмосфере начали появляться и укрепляться явления, веяния, со страхом оцениваемые в интеллигентской среде и создававшие в ней пессимизм, а потом и панику. Появляется мысль, что происходит очень опасный перелом государственной политики, уводящий ее от НЭПа, в какую-то неизвестную, необещающую ничего хорошего, сторону.

Я отталкивался от этих пессимистических выводов, находясь под влиянием одного очень большого и важного разговора с А. И. Рыковым. Не предвидя хода дальнейших событий, т. е. надвигающийся сталинизм, Рыков, опираясь на слова Ленина, что НЭП «всерьез и надолго», он возмущался паникерами, пускающими сплетни об уничтожении НЭПа, тогда как явно и на глазах у всех эта политика приносит блестящие результаты. Я слушал его и всё же мое прежнее самочувствие ломалось, появлялись сомнения и уже не было твердой уверенности, что, следуя за «генеральной линией» правительства, я не разойдусь с моими убеждениями. Отсюда естественное желание совершенно уйти из «Торг.Пром.Газеты», где не будучи рядовым сотрудником, мне пришлось бы проводить политику, за которую морально я уже не мог нести ответственность. **Ни на минуту** тогда не приходила в голову мысль, что я могу или хочу стать эмигрантом, но я думал, что стоит пожить за границей подольше, чтобы прочнее восстановить здоровье. Считая, что лучше всего мой категорический отказ от дальнейшего участия в «Торг. Пром. Газете» сделать до моего возвращения в Москву, я и послал Савельеву соответствующее заявление.

Как-то испарилось из памяти что я написал. Помню только, что после описания назначенного мне в санатории курса лечения, я писал, что начинаю себя лучше чувствовать и даже способен делать большие прогулки в обществе некоей очень глупенькой, но очень хорошенькой фрейлен Баумейстер. А после этого введения, я, в терминах весьма возможно неудачных, упраскивал Савельева не чинить препятствий моему уходу из газеты, так как продолжение в ней работы для меня будет «смертельной опасностью». В ответ на это я получил следующее письмо от М. А. Савельева.

— «Я получил на днях наконец-то Ваше письмо. Из него можно заключить, что Вы основательно лечитесь, довольны санаторием и даже фр. Баумейстер не нарушает правильного биения Вашего пульса. Я, конечно, этим не хочу опорочить ее наверно отличных качеств, особенно по линии —

киндер, кирхе, кюхе — трех К — как говорят немцы. В Вашем письме Вы опять и совершенно категорически ставите вопрос об уходе из «Торг.Пром.Газеты». Вы знаете, Николай Владиславович, что редакция предпринимала всегда все возможное, чтобы Вы, ее активнейший работник, остались в ее недрах. Но поскольку в этом письме Вы ставите это «как единственную Вашу цель» и считаете данный момент наиболее к тому подходящим — очевидно другого выхода нет. Я говорил по этому поводу с В. В. Куйбышевым и получил на этот счет его принципиальное согласие. Я хотел бы только думать, что Ваш уход из газеты ни в коем случае не нарушит длительных хороших отношений, которые установились у нас в процессе всё же многолетней совместной работы. Работать в газете стало мне очень трудно. Задачи усложняются, народа нет, штаты душат. После получения Вашего письма мы приступили к попытке наладить отдел науки и техники собственными силами. На это дело я поставил Розенблита. Стражевский сидит на статьях. Вы пишете, что не прочь бы остаться в Берлине или Париже. В Париже, как Вам известно, в качестве торгпреда Ю. Л. Пятаков, который, я не сомневаюсь, с величайшей охотой привлек бы Вас на работу. В Берлине я мог бы написать Бегге (торгпред) самое теплое письмо, если бы понадобилось.

Вал. Никол. (моей жене Н. В.) мы выплатили по 15 апреля. Очевидно, приблизительно к этому времени Вы будете здесь.

Привет М. Савельев, 27 марта 1928 г.»

Уверенность Савельева, что Пятаков «с величайшей охотой» возьмет меня к себе на службу подтвердилась очень скоро, но здесь не место говорить об этом.* Возвратясь в Москву после почти трех месяцев отсутствия из СССР, я был удивлен, что в разных кругах и разговорах все время приходится наткаться на имя Сталина. Первый раз об «Иосифе» я услышал от Савельева. Я пришел к нему, принеся для его жены духи какой-то модной тогда парижской фирмы. Советские дамы были очень падки на заграничные духи. Я не успел сказать Савельеву и десяти фраз, как раздался звонок и появился Молотов. Милостиво спросив меня о моем здоро-

* О том, как Пятаков пригласил меня быть редактором «La Vie Economique des Soviets» я рассказал в статье «Суть большевизма в изображении Ю. Пятакова», помещенной в 1958 г. в 52 книге «Нового Журнала».

вы, Молотов разлегся на диване и стал жаловаться Савельеву: — «Спать, спать хочу! Всю ночь провозился в спорах с Иосифом. Ты не можешь себе представить до чего Сталин **теперь** стал упрямым».

Считая, что мое присутствие может мешать их разговору о разных партийных делах, я поспешил уйти.

Недели через две после этого на квартире Савельева по поводу моего ухода из «Торг.Пром.Газеты» — был организован «прощальный вечер». На нем присутствовала вся редакция и почтить меня пришел с супругою Куйбышев — председатель ВСНХ. Он пил больше чем кто-либо из присутствующих и, сидя рядом со мною, обращался ко мне с вопросами, которые иначе как нелепыми назвать нельзя. Услышав от меня (мы пили в это время кофе), что самый крепкий кофе я пил в 1913 г. в Константинополе в кофейне на берегу Золотого Рога, — Куйбышев, поминутно прикладываясь к рюмке с ликером, спросил:

А зачем вы попали в Константинополь?

Попал туда в качестве туриста.

Но что там может быть интересного? Ничего.

Помилуйте — Константинополь — один из интереснейших мировых городов. Ведь это древняя Византия, сыгравшая такую роль в российской истории. В Константинополь стоит попасть ради хотя бы одного такого памятника как храм «Святой Софии», превращенный турками в мечеть. Остатков великого прошлого, исторических достопримечательностей там масса. Из памяти, например, не выходит существующая в подземельи старинная цистерна, производящая сказочное впечатление. Свод этого подземелья поддерживается множеством мощных, великолепных колонн. Можно с факелами в руках, — без огня там темь — в этом подземельи плыть на лодке. Вода этого резервуара — составляет целое озеро:

А зачем эта цистерна?

— В ней держали запасы воды на случай осады города.

— Константинополь стоит на проливе, на воде. Зачем тогда воду в цистернах держать. Просто помпами качать.

— Да ведь вода пролива — морская, соленая и помп тогда не было.

Узнав, что я был не только в Турции, но и в Греции, в Афинах, Куйбышев рассмеялся.

— Это уже чистая потеря времени! Ведь Афины теперь городишко вроде какого-нибудь нашего Бузулука.

— Ну, как можно сравнивать с Бузулуком Афины с их

Акрополем, Парфеноном, Эрехтеоном, Пропилеями, Никой Аптерос — ведь тут колыбель европейской культуры.

Куйбышев, все более и более пьяневший, отмахивался от моей попытки сказать хотя бы несколько слов об Афинах и греческой культуре и с пьяной настойчивостью бессмысленно повторял одну и ту же фразу:

— Это все вещи одного и того же порядка, одного и того же порядка. Это все никому теперь абсолютно не нужно. Нам нужны не Афины. Это все вещи одного и того же порядка. Что нам нужно? Вот Сталин недавно одной фразой всё замечательно определил: **Нужна индустриализация и настоящая, а не с плюгавенькими темпами.**

Я смотрел на Куйбышева и думал: этот маленький человек — председатель ВСНХ и стоит во главе страны! Не могу не указать, что год спустя «Торгово-Промышленная Газета» была переименована в «**За Индустриализацию**», и сделала своим лозунгом борьбу с «плюгавенькими темпами». Так как Савельев в это время стал редактором «Известий» на его место ответственным редактором газеты ВСНХ был назначен Богушевский. Его «кулацкий уклон» был забыт, он стал певцом «выше темпы». Это не спасло его и по дошедшим до меня слухам — Богушевский, как и тысячи других, был в 1937 году убит Сталиным.

Третий раз я услышал с особым ударением имя Сталина от Л. Г. Дейча, жившего, как ему и полагалось, в доме отдыха для ветеранов революции. Он мне рассказывал, что Плеханов, после 37 лет эмигрантской жизни за границей, приехав в Россию очень хотел побывать в деревне Гудаловка, недалеко от Липецка. Там в имении его отца протекли его детство и юность. Незадолго до смерти (1948 г.) он просил свою жену — Розалию Марковну — вместо него побывать в Гудаловке. В 1928 г. Розалия Марковна в сопровождении Л. Г. Дейча туда поехала второй раз, в связи с организацией в Липецке музея имени Плеханова. Дейч с ужасом рассказывал, что в деревню возвратились порядки военного коммунизма. Снова бесчинствуют отряды ГПУ, отнимают у крестьян хлеб, закрывают рынки, производят полавальные обыски.

«Мы с Розалией Марковной видели как сотни телег, растянувшись на километры, везут реэквизированное зерно в приемные пункты. Около телег с мрачными лицами шагают крестьяне. Сзади этого кортежа отряд ГПУ, а на передней телеге громадное красное знамя и плакат: красные обозы везут хлеб социалистическому правительству. Мы с Розалией Марковной в Липецке добивались узнать откуда идет распо-

ряжение реквизировать хлеб и организовывать эти насильственные обозы. Ведь НЭП не отменен, почему же снова воскрешаются приемы военного коммунизма? Нам по секрету объяснили, что распоряжение идет не по **«советской линии»**, а по **«линии партийной»** за подписью Сталина».

Четвертый раз услышал я о Сталине от Ю. М. Стеклова, с ним у меня были давние и хорошие отношения. В течение нескольких лет он был редактором «Известий» Центрального Исполнительного Комитета Союза СССР. «Известия» считались и считаются органом «советской власти», «Правда» — органом Цент. Комитета Партии. В половине 1925 г. Стеков был снят с поста редактора «Известий» и замещен И. И. Степановым-Скворцовым. В этой деградации Стеклова, в связи с его какими-то грехами, сыграл большую роль Сталин, к которому Стеков относился самым презрительным образом: он обычно называл его «невежественным грузином». Потеряв свое прежнее положение и получив назначение на маленькую должность председателя Комитета по заведыванию учебными заведениями ЦИК, Стеков все-таки остался жить, как при Ленине, в Кремле в прекрасной квартире, составлявшей часть бывшего женского монастыря (он назывался Вознесенским). Узнав, что я только что приехал из-за границы, Стеков попросил меня и мою жену его навестить. Стеков долго жил за границей и, в сущности, только о ней, о Париже, Берлине у нас и шла беседа. Но улучив момент, когда жена Стеклова повела мою жену показывать квартиру, я обратился к Стекову с просьбой «конфиденциально» объяснить, что такое происходит в СССР и почему, приехав из-за границы, я все время, теперь слышу имя Сталина.

«Что происходит? — прошипел Стеков. Вот что: нас, вас, все население скоро будет обучать марксизму бандит Сталин. А кроме бандитского понимания марксизма сей бандит другого не знает. Я вам все сказал и больше о том меня не спрашивайте. Перейдем к разговору на другую тему».

По дошедшим за границу слухам Стеков умер в тюрьме в 1941 году.*

Пятый раз на имя Сталина натолкнуло следующее случившееся со мною происшествие. Держа руки в карманах я

* В «Известиях» 27 авг. 1963 г. появилась статья акад. Струмилина «К 90-летию со дня рождения Стеклова». В ней говорится, что он погиб в 1941 г., став жертвой репрессий периода культа личности.

шел чрез Лубянскую площадь, переименованную в площадь Дзержинского, ибо на ней помещалось ГПУ, шефом которого он был до половины 1926 г. Вдруг ко мне подбегает кто-то, схватывает за обе руки так крепко, что рук из карманов я вынуть не мог. Это длится всего несколько секунд, я даже не могу себе дать отчет, что значит это нападение средь бела дня против здания ГПУ! Нападающий — бело-брысый парень в черном пальто, вежливо снимает свою кепку и просит прощения за беспокойство: он, видите ли, ошибся, принял меня за своего знакомого. Пробормотав это, парень скрывается. Недалеко от Лубянской площади — находилось помещение «Торг. Пром. Газеты», куда она перебралась в 1927 г. Я захожу туда к моим прежним сотрудникам и первого кого встречаю это — Зет. Его фамилию не хочу называть. В бытность мою в газете, я совершенно случайно узнал, что этот симпатичный и мягкий коммунист был обязан в качестве секретного сотрудника тайно посещать ГПУ и там докладывать обо всем, что могло казаться подозрительным в поведении и словах сотрудников «Тор. Пром. Газеты». Не знаю должен ли он был доносить о Савельеве, но обо мне он был обязан это делать (имею в виду период **после смерти** Дзержинского) и однажды я шутиливо спросил его — много ли он написал «доносов» на меня. Зет, с залившимся краской лицом, очень взволнованный, ответил мне — «клянусь жизнью моей матери, что никогда, никогда никакого вреда я вам не делал». Я уверен, что он говорил правду. Вреда не только мне, но и другим сотрудникам газеты — он не делал. Обязанности доносителя ему несомненно были неприятны, он ходил в ГПУ лишь повинаясь партийной дисциплине. Ведь говорил же Ленин: — «хороший коммунист должен быть чекистом».

Когда я рассказал Зет о происшествии на площади, он спросил — «около вас в это время проезжал какой-нибудь автомобиль?» Я ответил — «да, в нескольких шагах от меня, впереди меня, проехала закрытая машина». — «В таком случае я вам объясню в чем дело. В автомобиле несомненно ехал Сталин. Его передвижения теперь тщательно оберегаются. Вы шли, держа руки в карманах. Значит, могли незаметно в одной из них держать револьвер и, при удобных для этого обстоятельствах, стрелять в человека в автомобиле. Поэтому, агент ГПУ, увидев что вы идете не по тротуару, а посреди площади, держа руки в карманах, бросился на вас, ловко стиснул руки, дав в это время машине возможность далеко уехать.

— Но, спрашиваю я, — откуда у Сталина такая подозрительность? Почему он думает, что кто-то хочет на него покушаться и его нужно особо тщательно охранять? Почему нет этой подозрительности у других членов Политбюро — у Рыкова, Томского, Бухарина, Калинина? Я вчера встретился с Бухариным на Тверской, он без всякой боязни шел среди толпы как все простые смертные. Почему такой страх у Сталина? Еще недавно у него этого не было. Когда он читал лекции в Свердловском Университете, тот, кто хотел бы на него покуситься, мог бы это сделать вполне свободно.

Зет пожал плечами: — «Я человек маленький. Всего, что делается, особенно наверху, знать не могу. Знаю только, что два последних публичных выступления Сталина потребовали от ГПУ огромную мобилизацию охраны».

В заключение еще несколько слов о Савельеве. Ловко маневрируя, умея прислониться то к одной, то к другой важной верхушечной фигуре, он все-таки до конца 1925 года или начала 1926 г. главную свою «ориентацию» держал в направлении Рыкова. Возвратившись в 1928 г. из-за границы, я немедленно заметил, что равнение на Рыкова им явно отставлено. Рыков был у него полностью заслонен Сталиным и Молотовым. Через год, т. е. в 1929 г., к пятидесятилетию Сталина, вышел сборник статей Калинина, Куйбышева, Кагановича, Ворошилова, Микояна, Орджоникидзе и других, присягающих на верность Сталину и объявляющих его великим вождем партии и страны. В числе авторов этого сборника, коронующего Сталина был и М. А. Савельев, озаглавивший свою статью: «Сталин — продолжатель дела Ленина».

В 1929 г. Савельев был уже редактором «Известий» ЦИК СССР, а я служил в Париже в советском торговом представительстве и редактировал его орган «La Vie Économique des Soviets». Узнав, что я интересуюсь постановкой туризма вообще и, в частности, во Франции, Савельев обратился ко мне с просьбой непременно написать для «Известий» статью, в которой наметить, опираясь на опыт Европы, что нужно сделать для широкого привлечения иностранных туристов в СССР. Он указывал, что для этой цели в СССР образовано общество «Интурист», но как это дело поставить оно совсем не знает. Откакаясь на просьбу Савельева, я написал большую, свыше 600 строк статью. Под заглавием «Как привлечь иностранных туристов в СССР», она помещена в «Известиях» в № от 8 августа 1929 г. Основываясь на опыте туризма во Франции и Германии, я предлагал серию тури-

стических маршрутов по СССР, настаивая при этом что туристы должны быть обеспечены ресторанами и отелями. Моя статья имела очень большой успех и это понятно — весь вопрос для советской публики был совершенно новый. Но она абсолютно не подходила ко времени, была издевательски несвоевременной. Она могла бы подойти в 1959-1960 г., но отнюдь не в 1929 г. О каком привлечении иностранных туристов могла быть речь когда уже начиналась сталинская эпоха раскулачивания, террора, голода, холода. Страна на десятилетия замуровывалась, запиралась от взора иностранцев, а не открывалась для их приезда. Этой двусмысленной статьей и окончилось мое участие в московской печати...

Н. Валентинов

БУХАРИН О СТАЛИНЕ

28-го марта 1963 года в Нью Йорке на 85 году жизни скончалась Лидия Осиповна Цедербаум-Дан. Л. О. была сестрой известного лидера социал-демократов Ю. О. Мартова и женой другого лидера меньшевиков Ф. И. Дана. В с. д. движении Л. О. смолоду принимала активное участие, знавала тюрьму, ссылку, эмиграцию. В январе 1922 года Л. О. попала во вторую эмиграцию: тогда видная группа меньшевиков была выслана за границу. За границей Л. О. принимала участие в работе меньшевиков, одно время была представительницей заграничной делегации меньшевиков в Социалистическом Женском Интернационале. За последние годы жизни Л. О. пришлось перенести много горя. Муж ее умер. Все ее братья (видные социал-демократы меньшевики) и другие ее родные были расстреляны Сталиным в начале второй мировой войны. Л. О. написала ценные мемуары, но опубликовала из них очень мало. Эти мемуары хранятся в Британском Музее. Ниже печатаемая запись Л. О. передана «Новому Журналу» Д. Н. Шубом, которому Л. О. передала ее еще при жизни. Мы печатаем запись Л. О. без сокращений РЕД.

Началось это дело в 33-ем году; не знаю — я была уже в то время в Париже — было ли это в первые дни после прихода Гитлера к власти, или за очень короткое время до этого, но чувства тревоги и неуверенности все больше распространялись в среде немецких социалдемократов. Кое-кто начал собираться в путь, русские эмигранты одни из первых поднялись с насиженных мест, да и немецкие товарищи скорее поощряли их к этому — боялись всяких осложнений, преследования иностранных социалистов, в большей части евреев, хлопот и собственной беспомощности.

Если не ошибаюсь, первый из русских эмигрантов, Б. И. Николаевский, поднял вопрос о необходимости позаботиться о целостности архивов, об их спасении. Особенно беспокоил его вопрос об архиве и рукописях Маркса, которые сохранялись в партийном архиве в здании «Форвертса». Все были расте-

ряны, немецкие товарищи не знали, как взяться за дело, как вывезти архив, где сохранить его, но благодаря энергии и усилиям того же Николаевского весь архив удалось преблагополучно не только вынести из здания «Форвертса», но и вывезти из Германии. Не знаю, был ли он помещен в Париже или в Амстердаме. Не знаю также и того, каким образом слухи об этом архиве и вывозе его из Берлина дошли до Московского Института Маркса и Энгельса (не исключаю, что через того же Николаевского), но вдруг из этого Института поступило предложение, адресованное немецкой социалдемократии, передать весь архив «на сохранение» в Московский Институт: мне кажется, что это предложение было сделано тоже через Николаевского, но я не вполне уверена в этом. Быть может, Институт обратился и непосредственно к Центральному Комитету немецкой с. д.

Само собой разумеется, что у немецких с. д. и в мыслях не было передавать архив «на сохранение» в Москву, но мысль о возможности продать этот архив показалась им соблазнительной, тем более, что непривычная эмигрантская жизнь, организованная на широкую ногу, с бюро, с многочисленными, относительно, на эмигрантский масштаб, служащими, изданиями и т. п. требовала больших средств, а вывезено было, кажется, не очень много средств.

Я не знаю, кто первый подсказал мысль, что архив может быть не передан на сохранение, а приобретен Институтом в собственность, но так как переговоры, в конце концов, шли через меньшевиков или, по крайней мере, при их участии, то я очень хорошо помню все перипетии этого дела; помню и надежды, которые возлагались на него нашими меньшевиками — у нас средств было совсем мало, нам и вывозить было нечего, служащих, платных, у нас не было, но печатать «Социалистический Вестник» было надо, а денег было очень в обрез; не помню, откуда у нас получилось впечатление, даже уверенность, что немецкие с. д., в случае продажи архива, выделят какую-то часть, очень скромную, меньшевикам. Я очень хорошо помню, что никакая определенная сумма у нас не называлась. Не исключаю, впрочем, и того, что нам только казалось, что немцы что-то дадут нам, но, может-быть, об этом и был определенный разговор.

Сами немцы были в большом затруднении — как определить цену архива? Не помню, откуда выплыла цифра в 6 миллионов франков, больше 200.000 долларов, по тогдашнему курсу. Потом заговорили о 8.000.000. Потом постепенно

аппетиты разгорались и русским пришло в голову, что можно выставить и «политические» условия, правда, не очень большого размаха. В представлении товарищей об этом можно было говорить, так как у Николаевского были откуда-то сведения, что советские очень заинтересованы в приобретении архива, что будто бы даже «сам» Сталин стоит за это и т. д.

Особенно настаивал на постановке «политических» условий Абрамович; говорили о требовании освобождения Ежова, Евы Львовны Бройдо и еще кого-то. Ждали только какого-то ответа из Москвы, чтобы вплотную приняться за это дело. Но ответ не приходил и скептицизм все больше охватывал всех участников «дела». Один Николаевский верил в то, что советские, раз заинтересовавшись таким делом, уже не оставят его. И, действительно, вдруг долгожданная новость, — приходит взволнованный Николаевский и сообщает, что «по этому делу» в Париж приехали Адоратский, Тихомернов, Бухарин и еще кто-то (не помню фамилии), остановились в отеле «Лютетия», хотят видеть Николаевского, чтобы двинуть дело о покупке архива; тут же он прибавляет, уж не знаю из каких источников, что сам Сталин имеет к делу большой интерес, что он стоял за поездку в Париж, сам просил Бухарина участвовать в переговорах и т. д. Почему-то само собой разумеющимся было, что переговоры должны вестись через меньшевиков. Невольно возникал вопрос — зачем все это нужно? И покупка этого архива, и участие русских меньшевиков и посылка Бухарина? Кто-то упомянул о «провокации», но на этом не хотелось останавливаться, да и какая, в самом деле, провокация, когда все делается так просто, и все, если не ошибаюсь, высказались за то, чтобы благословить Николаевского подойти к этому делу вплотную.

Николаевский отправился на переговоры и, кажется, на другой уже день сообщил, что «они» просят и Дана принять участие в переговорах, так как приезжие хотели бы, чтобы он повлиял на немцев в том смысле, чтобы они не ставили сумасшедших требований и не слишком бы «дорожились». Дан приглашение принял.

Если не ошибаюсь, Дан на другой же день вместе с Николаевским отправился в Лютетию и встретился там с Адоратским, Тихомерновым и Бухариным. Присутствовал ли при этом их четвертый компаньон, я не помню, а может быть, и не знала. Тихомернова и Адоратского Дан видел впервые, Бухарина знал давно, хотя и не близко, встречаясь только на совместных заседаниях в 17 г. Близости, как с некоторыми други-

ми старыми большевиками, у него не было, но, тем не менее, его встретили, как старого приятеля, запросто, угощали шоколадом и пивом. Говорили исключительно «о деле», просили повлиять на немцев, чтобы они сократили свои аппетиты и даже просили привлечь к этому делу и Блюма, все для той же цели — «повлиять на немцев». И у Дана, и, тем более у Николаевского, который был настоящим энтузиастом этого дела, было впечатление, что намерение приобрести архив совершенно серьезно, что советские пойдут на многое, чтобы иметь его в Москве, хотя, может быть, и будут торговаться. Вскользь Тихомернов (а, может быть, и Адоратский) упомянул, что этим «делом» заинтересован «сам» Сталин, что он в курсе переговоров, что именно он говорил о необходимости серьезно поставить весь вопрос. Не было точно сказано, что Сталин знал, что посланцы должны были прибегнуть к посредничеству русских меньшевиков-эмигрантов, но у Николаевского было почему-то впечатление, что именно Сталин не только знал это, но и в какой-то мере и подталкивал на это. Прямого такого впечатления у Дана не было, но и ему казалось, что без этого ни Тихомернов, ни Адоратский не посмели бы явно якшаться с эмигрантами.

К Дану обратились со специальной просьбой — просить содействия Блюма, все с той же целью «повлиять» на немцев. И у Дана, и у Николаевского получалось такое впечатление, что Бухарин с Адоратским так плохо были ориентированы в европейских отношениях, что считали, что деловой контакт между немецкими с. д. и французскими социалистами (одна, мол, шайка!) и русскими эмигрантами так тесен и происходит немного на «коминтернский манер», так что Дан, если очень захочет, то сможет почти «распорядиться» и дело будет сделано так, как русские того пожелают... Во всяком случае, и у Дана, и у Николаевского крепло убеждение, что Институт Маркса и Энгельса, а, может-быть, кто-нибудь и из правительства, а, может-быть, и сам Сталин, очень заинтересованы в приобретении архива, хотя причины такого азартного желания и не были совершенно ясны. На какой-то недоуменный вопрос Дана, Бухарин, который, очевидно, стопроцентно верил в серьезность своей миссии, удивленно ответил: — «О как же? Подумайте — бумаги Маркса! Мы и могилу Маркса купили бы и перенесли бы ее в Москву. А тут — бумаги, рукописи Маркса!..»

Свидание с Блюмом Дан устроил — для этого его личный «деловой» контакт был совершенно достаточен! — про-

сто Блюм предложил вместе позавтракать в каком-то ресторане, в отдельном кабинете. Завтрак прошел очень оживленно, чисто политических, специфически «русских» тем старались избегать, но все же говорили о «фрон популер», о фашизме в Германии. Когда Бухарин прямо поставил вопрос о вмешательстве Блюма в переговоры о покупке архива и о попытке его «повлиять» на немцев, тот категорически отказался, сказав, что даже не представляет себе, как бы он мог приступить к этому делу и из чего исходить, прося «скинуть» цену. Так это ничем и не кончилось.

После этого завтрака Дан еще раз ходил в Лютетию, где они набросали «проект соглашения» (без всяких политических условий) и Адоратский сказал, что он должен обо всем известить Москву и ждать ответа, вероятно, телеграфного. В ожидании этого они решили оставаться еще недолго в Париже.

Вот после этого и произошло событие, о котором я хочу рассказать, воспоминание о котором я не считаю себя вправе унести с собой, а я знаю, что я последний человек, который знает о нем — остальные участники умерли: Бухарин, Дан. Что Дан никому не рассказывал об этом, я знаю наверняка, даже Николаевскому, которому было бы всего естественнее знать об этом, ибо он считал, что это может стать как-нибудь опасным для Бухарина и потому не сказал и ему. Полагаю, что и Бухарин унес с собой эту «тайну», так как решительно нигде и никогда об этом событии не упоминалось и даже теперь, на процессе Кравченко, Блюммель счел возможным сказать, что Бухарин «пострадал» за общение с Николаевским в Париже (странно, что его, как юриста, не поразила диспропорция расплаты за совершенное «преступление»), но, видимо, его коммунистические информаторы не могли сообщить ему еще об одном дополнительном «преступлении» Бухарина!

Возвращаясь, однако, к самому «событию». Как-то раз, совершенно не помню числа и не могу восстановить его, часа в два дня (время обеденного перерыва, почему я и была дома) раздается у нас звонок, я иду открывать и к своему величайшему изумлению вижу... Бухарина. В большом смущении он начинает извиняться, что пришел без приглашения и даже без предупреждения по телефону, что об его решении придти поговорить — «просто душа заперсила» (я хорошо помню это его выражение, несколько необычное и поразившее меня тогда; позже оно вошло в наш «домашний» язык), что об этом намерении придти никто не знает и, он думает,

и знать никто не должен... Я была так поражена, что не сумела, кажется, скрыть своего изумления и этим только увеличила и так бесконечно большое смущение Бухарина. Не меньше удивлен был и Федор Ильич, но все же мы не притворно обрадовались Бухарину и были с ним настолько рады, что он ушел от нас только около 8 вечера. Когда он уходил, Ф. И. спросил его: «А что же вы скажете, где было столько времени?», Бухарин простодушно ответил: «Как-нибудь отговорюсь»; повидимому, ему совсем не показалось странным, что его можно, как мальчика, спросить, где он пропал, и что ему придется «отговариваться»...

Начать разговор было нелегко; и Бухарин был уж очень смущен, и Ф. И. так удивлен, что ему было трудно войти в роль гостеприимного хозяина. Под каким-то предлогом я вышла из комнаты, чтобы не мешать, и, действительно, когда через час я вошла снова, чтобы предложить чаю, разговор уже шел самый оживленный.

Говорили о Сталине, вернее, говорил Бухарин, а Дан только удивленно слушал. Когда я зашла, Дан сказал: — «Конечно, я знаю Сталина меньше, чем вы, в особых симпатиях к нему меня вы не можете заподозрить, но все-таки — так, как вы о нем думаете и говорите, я думать и говорить не мог...»

Волнуясь и спеша, Бухарин сказал: «Вот именно, что вы не знаете его так, как я, как мы его узнали... вот давеча я сказал, что и могилу Маркса купили бы и в Москву перенесли бы... Да, перенесли бы и даже памятник поставили бы... не очень большой, но поставили бы, а рядом поставили бы большого Сталина, ну, скажем, читает «Капитал» или еще что-нибудь... И карандашик бы был у него, у Сталина, чтобы, если понадобится, делать пометки, ну, скажем, поправки... К Марксу поправки!!.. Вот вы говорите, что мало его знаете, а мы-то его знаем... он даже несчастен от того, что не может уверить всех, даже самого себя, что он больше всех, и это его несчастье, может-быть, самая человеческая в нем черта, может-быть, единственная человеческая в нем черта, но уже не человеческое, а что-то дьявольское есть в том, что за это самое свое «несчастье» он не может не мстить людям, всем людям, а особенно тем, кто чем-то выше, лучше его... Если кто лучше его говорит, он — обречен, он уж не оставит его в живых, ибо — этот человек вечное ему напоминание, что он не первый, не самый лучший; если кто лучше пишет — плохо его дело, потому что **он**, именно он, должен быть первым русским писателем; Марксу, конечно, больше ничего от

него не грозит, разве только показаться русскому рабочему маленьким по сравнению с великим Сталиным... Нет, нет, Федор Ильич, это маленький, злобный человек, нет, не человек, а дьявол»...

Никогда не забуду выражения лица Бухарина в эту минуту — и страх, и злоба совершенно исказили его, в общем, добродушное лицо.

Когда совершенно потрясенный Дан спросил его, как же, при таких обстоятельствах, при такой оценке Сталина, он, Бухарин, и другие коммунисты так слепо доверили этому дьяволу и свою судьбу, и судьбу партии, и судьбу страны, Бухарин заволновался, сразу изменился и сказал: — «Вы этого не понимаете, это совсем другое, не ему доверено, а человеку, которому доверяет партия; вот так уж случилось, что он — вроде как символ партии, низы, рабочие, народ верит ему, может, это и наша вина, но так это произошло, вот почему мы все и лезем к нему в хайло... зная наверняка, что он пожрет нас. И он это знает и только выбирает более удобный момент...»

Тут уж и я не сдержалась и вмешалась в разговор и сказала:

— Но, в таком случае, почему же вы лезете в хайло? Почему возвращаетесь?

Помню, как наивное недоумение осветило лицо Бухарина. Он как-то даже досадливо отмахнулся рукой и сказал: «Как не вернуться? Стать эмигрантом? Нет, жить, как вы, эмигрантом, я бы не мог... Нет, будь, что будет... Да, может, ничего и не будет»... И тут он торопливо добавил, обращаясь к Ф. И.: «— Но вот что, Федор Ильич, если здесь разыграется фашизм, вы прямо идите в наше полпредство, там вас укроют...»

Тут уж пришла очередь Дану удивляться Бухарину, его наивности и непониманию конкретных условий, и он сказал: — «Что вы, Николай Иванович, вы, верно, забыли, что я исключен из советского гражданства и, стало быть, должен быть немедленно расстрелян, лишь только появлюсь на советской территории, а ведь полпредство — та же советская территория»... Это возражение до Бухарина как-то не дошло и он пресерьезно ответил: — «Ну, что вы, Ф. И., кто же это всерьез принимает, это самое лишение гражданства»!..

Так мы и расстались, не до конца поняв друг друга. Он ушел от нас с явной жалостью, что такая сила, как Дан, «про-

падает зря», мы остались с ощущением, что навсегда прощаемся с чистым человеком, уже обреченным.

Потом пошла полоса процессов. Наступил и процесс, в котором фигурировал Бухарин. С опаской мы ждали, что в числе обвинений против него будет и обвинение — злоумышлял с эмигрантами; просто отрицать факт встреч ему было бы невозможно, а всякое объяснение было бы встречено с недоверием и только подтверждало бы и другие, самые нелепые обвинения. Но, хотя власти несомненно знали, по крайней мере, о свиданиях и переговорах в Лютении, о свиданиях Бухарина и других там с Николаевским и Даном, на процессе об этом не было ни словом упомянуто.

И теперь, как и тогда, для меня остается непонятным зачем коммунистам, а, может быть, и самому Сталину, ибо без его участия, или по крайней мере, без его молчаливого согласия, не было бы ни этих переговоров, ни этих поездок, ни этих встреч, — зачем им понадобилась вся эта история? Провокация? — как это думали некоторые из нас, так почему же она не была доведена до конца и не всплыла на процессе?

Нет необходимости добавлять, что к этим переговорам — о приобретении архива — ни в какой форме, насколько мне известно, советские коммунисты не возвращались и весь этот архив, как и прежде, находится во владении немецкой социалдемократии.

* * *

Совсем недавно, в ноябре 49 г. мне пришлось говорить на эту тему с Ф. Адлером, которому я показала перевод этой записи. Он хорошо помнил весь этот эпизод, в котором тоже принимал некоторое участие. Так он мне напомнил, что и он принимал участие в этих переговорах, так как немецкие с. д., в частности, Вельс, хотели избежать непосредственного контакта с советскими уполномоченными. Поэтому они пригласили его, как секретаря Интернационала в то время, быть их уполномоченным в этих переговорах. Он, в частности, принял участие в поездке, вернее, полете, в Копенгаген, где тогда хранился этот архив, так как «советские» хотели ознакомиться с архивом, не только по описи, но и в оригинале, так сказать. В этой поездке приняли участие Адлер, Николаевский, как «эксперт», Бухарин и Адоратский. Благодаря этому Адлер целый день провел с Бухариным.

По словам Адлера, Бухарин проявлял живой интерес к разговорам всякого рода и даже сказал: — «Ну, знаете, я бы очень охотно вместо этого архива, подискутировал с Вами

на разные темы», на что Адлер, который не мог отделаться от ощущения, что вся эта история затеяна именно, как провокация **против** Бухарина, очень сдержанно ответил: — «Нет, уж знаете, сначала дело, а после уж удовольствие»!..

Если всё это было какой-то провокацией, жертвой которой должен был пасть Бухарин, то, может-быть, становится понятным, почему к делу был привлечен Дан, почему были сделаны попытки привлечь и Блюма. Если по мысли какого-нибудь «дьявола» из этого должно было выйти преступное деяние, заговор, измена, то участие и Дана и Блюма, конечно, могло сыграть роковую роль и послужить основой для «интернационально развитого заговора»...

Л. Дан

САВИНКОВ И ОППЕРПУТ *

В одно декабрьское утро 1920 г. в моей квартире в Лу-нинце зазвонил телефон. Говорил пограничный сотрудник «Со-юза Защиты Родины и Свободы» с ж.-д. станции Микаше-вичи. Он доложил мне, что только что реку Случь** перешел какой-то человек, по виду комиссар, с увесистым чемоданом; держит себя таинственно, но самоуверенно. Говорит, что должен как можно скорее ехать в Варшаву, к Борису Савин-кову. Этот разговор заинтриговал меня. И я просил доста-вить перебежчика на наш пункт. Вскоре перебежчика при-везли. Я внимательно его разглядывал. Это был сравнительно молодой человек в серой бекеше, хороших сапогах и бараш-ковой шапке военного образца. Глаза серые, взгляд при-стальный. Был он выше среднего и даже высокого роста, до-вольно плотный, с военной выправкой, ловкий, решительный и быстрый в движениях. Открытое лицо скорее располагало чем отталкивало. За столом, на котором вскоре появилась закуска и водка, я не задавал гостю никаких вопросов, вы-полняя только роль радушного хозяина. Однако гость сам начал рассказывать о себе.

— Вас, видно, интригует кто я и откуда взялся, — ска-зал он, назвавшись Смоляниновым, и тут же добавил, что это его псевдоним... Я к Вам из Гомеля. Моя официальная должность — комиссар 17-ой стрелковой дивизии.*** В дей-ствительности же я возглавляю подпольную организацию ва-шего Союза. Многие военные не только нашей дивизии, но и всего Западного Округа принадлежат к ней. И у меня

* Мы печатаем отрывок из готовящейся к печати книги И. Микулича «Борцы и провокаторы». РЕД.

** Пограничная река между Польшей и Сов. Россией в 1920 г.

*** Как выяснилось впоследствии в действительности он зани-мал пост помощника начальника штаба командующего войсками внутренней службы Западного фронта.

теперь поручение установить контакт с антибольшевистскими организациями заграницей.

При этом Смолянинов достал из внутреннего кармана темно-синего френча туго набитый бумажник. Документ, который он мне показал, удостоверял, что он командирован центральной группой Западного Областного Союза Защиты Родины и Свободы для установления контакта, в целях совместной борьбы с «поработителями свободы». Бумажка была подписана В. Спекторским (за председателя), подпись секретаря неразборчива. На документе стояла печать Западного Областного Комитета СЗРС почти тождественная с той, какие ставил наш центр в Варшаве.

Человек, назвавший себя Смоляниновым, сообщил, что члены «потустороннего» Союза прекрасно отдают себе отчет в невозможности успешной работы без поддержки извне: подавление Стрекопытовского восстания в марте 1919 г. в Гомеле наглядно доказало это. И такую поддержку, они естественно ждут от Б. В. Савинкова, возглавляющего СЗРС заграницей.

Из дальнейшей беседы мне удалось установить, что гость действительно из Гомеля и что по национальности он латыш. Последнее обстоятельство несколько насторожило меня, т. к. роль латышей-военных в захвате власти большевиками была хорошо известна. Я задал незнакомцу несколько вопросов по существу. Спросил, какие еще группы, кроме Гомельской областной организации, активны по ту сторону границы. Смолянинов ответил, что особенно продуктивно работает их группа в Могилеве и отделы в Смоленске и Витебске. Хороши также ячейки и партизанские группировки в Горках, Орше и других пунктах на периферии. Все это звучало убедительно, так как наш пункт знал о деятельности партизанских отрядов именно в этих уездах...

Сказанное Смолянинов захотел подтвердить документами. Он опять достал свой толстый бумажник и начал в нем рыться. Пограничный сотрудник, звонивший по телефону и доставивший Смолянинова на пункт, скосив глаза, старался заглянуть в бумажник. Да и я пристально следил за гостем. Мне показалось, что руки у него дрожат. Смолянинов явно почувствовал эту напряженность, неожиданно быстро спрятал бумажник, встал и решительно подошел к своему чемодану, стоявшему в углу. Быстрым движением открыл его и проговорил, — Этот чемодан я везу в подарок Савинкову. — Прием оказался эффектным. Даже поверхностная «демонстрация» документов говорила о драгоценности такого подарка:

чемодан был полон секретными приказами, инструкциями, распоряжениями, докладными записками и даже мобилизационными планами дислокации войск различных военных округов, не говоря уже о фотографиях «военных объектов»... Поражало только количество документов...

Мне было трудно решить достоин ли доверия этот уверенный в себе обладатель битком набитого чемодана... — Что ж тут думать, — сказал Смолянинов, как бы угадывая мои колебания везти или не везти его к Савинкову. — Время не ждет, а у меня всего недельная командировка, там в Варшаве видно будет.

Теперь надо было обо всем уведомить поручика З. — представителя второго отдела польского генерального штаба. Все трое мы отправились к нему, захватив чемодан. — А что представляет из себя этот поручик? — спросил по дороге Смолянинов. — Очень симпатичный, культурный офицер, во время войны был прикомандирован к штабу Экспедиционного Корпуса во Франции. Впрочем, сами увидите...

Поручик принял нас весьма любезно, и очень заинтересовался содержимым чемодана Смолянинова. Заметив это, Смолянинов предложил ему оставить у себя особенно заинтересовавшие его бумаги. Прощаясь со мной, поручик шепнул, что он не доверяет этому «гостю оттуда», но, что Варшава во всем сама разберется... Оформив документы на проезд и предупредив Варшаву, мы отправились на вокзал. Я решил лично сопровождать Павла Ивановича Смолянинова к Савинкову. Дорогой Смолянинов расспрашивал меня о Стрелкопытовском восстании, о причинах его поражения, говорил о тактических и организационных ошибках, допущенных руководителями. И тут же похвастался, что везет Савинкову подробно разработанный план совместных действий против большевиков на территории Западного Округа. О Савинкове Смолянинов говорил с глубоким уважением, почти благоговением: с юных лет, со школьной скамьи он считал его идеалом террориста-революционера, всегда готовым на подвиг во имя народа. Осведомленность Павла Ивановича о жизни Савинкова, о его политической деятельности была удивительна и наводила на размышления. В дороге Смолянинов расспрашивал и о русской эмиграции в Польше, о ее политической программе, о пригодности для совместной борьбы против советского режима. Так как в благонадежности Смолянинова я всё еще не был уверен, то на все его вопросы отвечал довольно скупое. В Варшаве наш поезд остановился на Восточном вокзале в Праге.

А вот и гостиница Брюль. Смолянинов был представлен Б. В. Савинкову и имел с ним долгий разговор наедине. Когда он, наконец, вышел, Савинков пригласил в свой кабинет меня, и с озабоченным видом спросил меня, что я обо всем этом думаю. Бегло суммируя свои впечатления, и рассказав о беседе со Смоляниновым в поезде, я откровенно высказал свои сомнения и опасения. И предложил послать кого-нибудь из верных людей в Гомель и попытаться проверить его на месте. Савинков задумался. Потом стал еще быстрее четким шагом мерить свой просторный кабинет. Наконец, он решительно остановился и сказал: — Ничего, мы сумеем проверить его и здесь; он еще слишком молод... Последнюю фразу можно было понять так, что и Савинков сам относится к приезжему «гостю» с некоторым недоверием. Затем он поручил не оставлять Смолянинова, показать ему город, хорошенько накормить и проводить назад в эту гостиницу, где он и будет ночевать. На этом аудиенция была закончена и я вышел к поджидавшему меня в фойе Павлу Ивановичу. Я предложил ему поужинать в ресторане «Под Вехой», где хорошо кормят. Тот ответил, что предпочел бы русскую столовку, так как ему интересно посмотреть на здешних эмигрантов. Тогда я предложил поехать на Маршалковскую № 68, где была столовая и работал Русский Политический Комитет. Смолянинов сказал, что хотел бы неспеша пройти пешком, чтобы полюбоваться городом. Отправившись на Маршалковскую через Саксонский Сад. Польская столица явно произвела на гостя «оттуда» сильное впечатление. Центр города в самом деле был очень хорош зимой, когда улицы освещены цветными рекламами, по гротуарам движется оживленная, торопливая, нарядная толпа.

В сравнительно большой столовой было многолюдно и шумно. Смолянинов жадно рассматривал публику, спрашивая, что они все делают, как и чем живут, на что надеются. Мои ответы его явно не удовлетворяли. Эмигранты ему не понравились. Выйдя из столовой, на вопрос об его впечатлении, он вдруг проговорил: — Да ведь это всё хлам, негодный ни для какой борьбы. Собрать бы их всех, облить бензином, обсыпать пухом и сжечь. — От его выходки меня внутренне передернуло. И явно желая смягчить ее, Смолянинов стал доказывать, что осколки русской интеллигенции никакой реальной поддержки в жестокой борьбе с большевиками оказать не могут. В свою очередь я спросил его, что же он думал найти в этой столовке: готовые кадры боевой дивизии?.. Дальнейший разговор как-то не клеился, но

Смолянинов медлил с возвращением в гостиницу Брюль, как бы давая время Савинкову и его сотруднику полковнику Гни-лорыбову лучше ознакомиться с содержимым чемодана, остав-ленного им у Бориса Викторовича. До гостиницы дошли молча и распрощались. Никакого доверия к новому перебежчику у меня не было и не могло быть.

На другой день утром я опять пришел в гостиницу Брюль в надежде повидать Бориса Викторовича, но это не удалось. На мой вопрос, где сейчас «гость оттуда», все искренно уди-вились, не давая никакого прямого ответа. И я скорее почув-ствовал, чем понял, что в Брюле в эту ночь произошли ка-кие-то перемены, вероятно, связанные с чемоданом Смоля-нинова. Ничего не добившись, я отправился назад в Лунинец и в поезде всю ночь думал, стараясь разгадать «проклятое инкогнито».

По возвращении в Лунинец я через несколько дней по-лучил из Варшавы срочное сообщение и приказ немедленно приготовиться к приему и переброске через границу боль-шого количества литературы. Такое сообщение значило преж-де всего, что надо как можно скорее связаться с главным представителем местной администрации в пограничной воло-сти, который симпатизировал работе и идеям СЗРС. На сле-дующий день с пассажирским поездом прибыла обещанная «литература». И с тем же поездом приехал Смолянинов, улы-бающийся, с новеньким чемоданом в руках. Немедленно на-чалась перегрузка материала на другой поезд, идущий до станции Лавва, откуда его надо было переправлять дальше на лошадях. Но на станции Павел Иванович заявил нам о своем намерении продолжать путешествие на лошадях пря-мо из Лунинца. Он просил как можно скорее нанять ему сани, так как по ту сторону границы у него назначено сви-дание в определенный час. Мешки же с «литературой» он просил доставить на ту сторону, до усадьбы священника Д., — откуда он собирался везти «литературу», как захвачен-ную на границе, «контрреволюционную пропаганду» до самого Гомеля. Ответственность за безопасность возницы и лошадей в советской зоне Смолянинов брал на себя. На-ши переговоры с волостным старшиной, от которого зависел успех операции, закончились скоро. С «грузом» поехало два наших сотрудника.

Вечерело, когда Смолянинов стал собираться в дорогу. Когда Смолянинов предложил вознице взять его новый че-модан, я запротестовал против такого явного нарушения вся-ких правил конспирации, что могло возбудить подозрение

местных властей. Но письмо, привезенное Смоляниновым из Варшавы от Савинкова, казалось бы рассеивало всяческие сомнения. Смысл его сводился к тому, что Смолянинов «проверен и ему надлежит оказать всяческое содействие, так как от благополучной переброски материала зависит очень многое». Не обращая внимания ни на какие мои предупреждения, Смолянинов уехал, буркнув на прощание, что «обдeldывал еще не такие дела».

Через несколько часов после отъезда «гостя», в ставни моей квартиры кто-то громко постучал. Я вышел во двор, открыл калитку и увидел заснеженного Смолянинова и его возницу. Павел Иванович заявил, что «раздумал ехать на лошадах», а поедет завтра утренним поездом. Он попросил разрешения переночевать. Было уже поздно. Ложась спать, Смолянинов стал расписывать как красивы и жутки зимою леса в Полесьи. Под влиянием звона бубенцов и шопотов леса он задумался-де над сделанным ему предостережением и неожиданно для себя самого сказал вознице повернуть обратно... Все более оживляясь, Смолянинов стал передавать свое впечатление от Савинкова (очень сильное), говорить о планах будущей борьбы с большевиками, которая именно благодаря Борису Викторовичу может войти в совершенно новую и решительную фазу. Савинков был, по его словам, именно тем человеком, которого не доставало организации СЗРС 17-ой дивизии... С другой стороны именно 17-ая дивизия может помочь Савинкову ввести «зеленое» движение в организованное русло, объединить все партизанские отряды, придав работе те формы, которых требует обстановка, создавшаяся «по ту сторону»... Только тогда можно будет думать о массовом крестьянском восстании при поддержке красноармейцев. Смолянинов признался, что впервые в жизни встретил такую волевою, талантлиую и благородную натуру как Борис Викторович и что они скоро нашли общий язык и даже общих знакомых, и первоначальное недоверие к нему Б. В., повидимому, исчезло. Смолянинов превозносил Б. В. как практика-борца, противопоставляя его разным теоретикам и мечтателям типа Философова и ему подобных. Он с увлечением рассказывал, как старался убедить Савинкова в том, что бороться с коммунистами можно только их собственными средствами, без разбора, вплоть до... ядов. Это меня несколько озадачило. — Зачем же яды? — спросил я. — Как зачем? А чтобы травить как крыс чекистов, а если будет нужда, то отравить и колodцы, чтобы вызвать всеобщее возмущение,

чтобы все привести в расстройство... На Москву пойдем. Вот увидите. Французы и поляки обещали поддержку, — говорил он. — А когда я спросил, как ему удалось так быстро получить такой большой транспорт «литературы», Смолянинов ответил, что содержимое его старого чемодана было отвезено им и Савинковым во французскую военную миссию, где за него удалось получить большой куш. Эти деньги и пошли на печатание листовок и другие расходы. Полученными листовками Смолянинов был очень доволен. — А мастера у вас в Варшаве составлять такие воззвания, — говорил он, — вот, например, это обращение к красноармейцам. Читали? Так составлено, что, кажется, и мертвые подымутся на борьбу. Жаль, что это только половина дела, а для второй — я, к сожалению, не вижу у вас людей.

Проснувшись рано утром я невольно стал свидетелем того, как Смолянинов тихонько перекладывал содержимое своего нового чемодана в старый рюкзак. И я увидел две довольно большие банки кокаина, темные флаконы с характерными этикетками, употребляемыми для обозначения ядов, коньяк, ликеры и какие-то другие мелкие вещи. «Будем травить как крыс, будет нужда — отравим и колодцы», вспомнил я вчерашнее. Не сон ли это?.. Нет. На столике лежали два новых бельгийских браунинга. Флаконы с этикетками Смолянинов прятал в карманы, а все остальное засовывал в рюкзак. С таким грузом, конечно, лучше было не попадаться ни местным польским властям, ни каким-нибудь случайным любителям легкой наживы, которые могли встретиться ночью в лесу. Заметив, что я проснулся, Смолянинов сказал, что успел потихоньку собраться и освободиться от чемодана, который хочет пока оставить здесь. Затем он указал на пару «бельгийцев», что приобрел в Варшаве в подарок своим верным сотрудникам «там». Смолянинов попросил меня дать ему в провожатые своего человека. В пограничной польской волости Павел Иванович держался скромно и просто и особенного внимания к себе не привлек, хотя умный волостной старшина и определил его, как типичного комиссара... В ту же ночь состоялась переброска большого транспорта антибольшевистской литературы, привезенной Смоляниновым. На той стороне его действительно поджидало два пограничника. Возница вернулся оттуда благополучно.

И все же, всем членам Лунинецкого пункта «Дело» Смолянинова казалось сомнительным. Было даже решено принять кое-какие «контр-меры». Во-первых, наметили послать

в Гомель одного из активных сотрудников пункта для проверки личности Смолянинова. В Гомель вызвался сходить Ч., сам гомельчанин. Во-вторых, решили считать возможной крупную провокацию и быть начеку. В-третьих, на всякий случай сделали в моей квартире изнутри ставни...

Едва снаряжение Ч. в Гомель было закончено, как на пункт опять явился Смолянинов, который незамеченным перешел границу. На этот раз он предъявил документ на имя Александра Эдуардовича Опперпута. Почему такой странный псевдоним? — невольно подумал я. Не в ознаменование ли первой удачной операции? Опперпут был в заметно приподнятом настроении и очень словоохотлив. Он рассказывал о том, как удачно прошла операция. Потом перевел разговор на работу вообще, проводимую на нашем участке. Работников пункта, естественно, больше интересовали подробности операции, проведенной Смоляниновым-Опперпутым по ту сторону границы. — Всё прошло по выработанному плану, — возбужденно говорил Опперпут. — Мои ребята встретили меня в условленном месте. Мы быстро перегрузили транспорт на свою подводу и, отпустив вашего возницу, повезли груз на станцию Житковичи. Там мы потребовали двух агентов че-ка, чтобы они сопровождали, якобы, захваченный нами на границе груз, до станции Гомель. Здесь нас уже ждали наши люди на лучшей паре лошадей из 17-ой дивизии. Они моментально перегрузили к себе все мешки и уехали. Я же занялся отправкой сопровождавших нас агентов, обещая им не поднимать никакой истории. — Но куда же вы девали такое количество литературы? — спросил один из сотрудников пункта. — Этого к сожалению, я не могу вам открыть, — сказал Опперпут, — могу сказать только одно: у нашей организации есть своя центральная база, где хранится оружие, динамит, а также литература, кокаин, яды и многое другое. Всё это нам понадобится в момент восстания. Я уже при первом свидании докладывал Савинкову, что старыми методами нельзя свергнуть коммунистический режим, что с большевиками надо бороться их же оружием. Борис Викторович во многом со мной согласился. Возвращаясь к нашей последней операции, должен, однако признать, что один промах был нами все-таки допущен. Когда наши парни мчались, то один из них, не подумав, разбросал несколько пачек прокламаций в районе, где живут железнодорожники и рабочие. Это вызвало волнение среди рабочих депо. Боюсь арестов. Чем все это кончится, не могу сказать: я как раз уезжал к вам.

В одном могу вас уверить, что нашей центральной базы чекисты все равно не найдут. Когда все уляжется мы сумеем часть литературы распространить по нашим отделам. Ну, мне пора. А кто провожает меня в Варшаву? — закончил Опперпут. — С вами поедет Давыдов, наш новый сотрудник.

В тот же вечер Александр Эдуардович и Давыдов уехали. На другой день ушел и Ч., который сказал нам на прощание, что, если даже ему не суждено вернуться, то он все-таки постарается сообщить нам все, что узнает об Опперпуте-Смолянинове. Через два дня Давыдов вернулся из Варшавы и между прочим рассказал нам, что доехав до Варшавы, во время переезда через мост Кербедзя на Висле, Опперпут вдруг достал из кармана бекеши новую буденовку с яркокрасной звездой и надел ее себе на голову. Это, конечно, могло вызвать чуть ли не скандал, так как варшавяне хорошо помнили недавнее наступление красных на столицу. Но не слушая протестов Давыдова, Опперпут отшучивался и ни за что не хотел прекратить свою выходку. Только когда Давыдов припугнул его, что вместо гостиницы Брюль они наверняка попадут в полицию, Опперпут снял и спрятал буденовку. Трудно было сказать, что скрывалось за этой дикой выходкой? Вызов, озорство, какое-нибудь пари, условный знак, что он снова в Варшаве?

В Лунинце Опперпут-Смолянинов больше не появился, оставив нам свой варшавский чемодан. Почувствовал ли он наше подозрительное к нему отношение или хотел ознакомиться с другой линией связи СЗРС — неизвестно. Из второй поездки к Савинкову Опперпут вернулся в СССР через Столбцы. Этот второй визит к Савинкову был строго засекречен, и, за исключением полковника Гнилорыбова, никто даже из самого ближайшего окружения Савинкова ничего не знал о нем.

В конце лета на Лунинецкий пункт пришла, наконец, долгожданная записка от Ч. из Гомеля. В ней он сообщал, что перешел границу без проводника, но вынужден был отсиживаться в стоге сена, сильно простудился и с трудом добрался до Гомеля. Тут он слег с острым воспалением легких. Ему все же удалось узнать, что в городе были разбросаны антикоммунистические листовки заграничного происхождения и что с этим связывают многочисленные последовавшие за этим аресты. Позднее он узнал также, что тайно аресты производились среди военных и в других городах Западного Округа на той же почве. О главном он, однако, не узнал ничего, а потому

решил еще остаться дома. Много позже на Лунинецком пункте стало известно, что Ч. был арестован и погиб вместе с своей сестрой, у которой скрывался.

* * *

В заключение хочу сказать несколько слов об истории того потрепанного чемодана, с которым Смолянинов-Опперпут появился на Лунинецком пункте, а потом в Варшаве у Б. В. Савинкова. Содержимое этого чемодана, изученное Савинковым и его помощником Гнилорыбовым, сыграло роковую роль. Оно вселило в Савинкова доверие к Опперпуту. Документы в чемодане были так подобраны и подделаны (как потом оказалось), что создавали полную картину оперативной подготовки Красной Армии к наступлению на Запад.

Кроме того, материалы, «конспиративно» привезенные Опперпут-Смоляниновым в Варшаву, давали полное освещение «неустойчивости» внутреннего положения в Советской России.

А что вывез Опперпут из Варшавы в своем новом чемодане? Кроме бельгийских браунингов, коньяков, ликеров и наркотиков в нем был еще **цианистый калий**. Что же мы читаем в обвинительном акте, предъявленном Савинкову на его процессе в Москве в 1924 году?

«В 1921 г. членом организации Народного Союза Карповичем было получено при посредстве Савинковской организации из II-го отдела польского генерального штаба большое количество **цианистого калия**, предназначенного террористическим отделением для массового отравления частей Западного Фронта...» Это и было инкриминировано Савинкову по 9-му пункту, обвинявшему его в том, «что в продолжение всей борьбы подсудимый письменно и устно пропагандировал в направлении помощи буржуазии, пытаясь свергнуть советскую власть путем интервенции, террора и **массового отравления красных частей**».

ГПУ выиграло не только свою игру с Савинковым, в которой Опперпут был одним из главных действующих лиц. Опперпут сумел использовать этот свой выигрыш и в дальнейшей своей работе на Западе, приняв активное участие в организации пресловутого «Треста» и в провоцировании западных контр-разведок. Об этом много писалось. Это уже история. И все же мне представляется целесообразным вспомнить о первом появлении Опперпута, ибо времена меняются, меняются подробности, но сущность метода запуска чекистов на Запад — остается неизменной.

И. Микулич

МОСКОВСКИЕ ВЫСШИЕ ЖЕНСКИЕ КУРСЫ *

Материалом для этого очерка мне служили: сведения любезно присланные тремя бывшими слушательницами Курсов — В. Н. Буниной, П. Е. Мельгуновой и Е. А. Пастуховой; мои личные воспоминания; и статьи — Н. Молодых в журнале «История Педагогики», Москва, 1941 и К. Шохоль — в Журнале М. Н. Просв. 1912. Я была одной из слушательниц первого выпуска Курсов, а позже с 1907-1921 г. работала на Курсах в качестве ассистентки при кафедре ботаники.

Группа лиц во главе которых был проф. Московского Университета В. И. Герье получила разрешение открыть Московские Высшие Женские Курсы в апреле 1900 года. Новые Курсы, как все учебные заведения М. Н. Пр. в Москве, были подчинены Московскому Попечителю Учебного Округа. Проф. Герье был назначен директором Курсов. Таким образом этот поборник высшего женского образования вторично становился во главе высшей женской школы.

Для начала было разрешено открыть два факультета: историко-филологический, с отделениями историческим и филологическим, и физико-математический, с отделениями математическим и естественным. Учредители этого нового высшего учебного заведения должны были выискивать средства на его содержание. Первый год правительство выдало Курсам субсидию в размере 4.300 р. на администрацию. Позже сумма была увеличена до 8.600 р. Лица, подававшие прошения о зачислении их студентками Курсов должны были прилагать все обычные для студентов высших учебных заведений официальные бумаги.

Весной 1900 г. я как всегда уехала на все лето к родителям в деревню, в Тамбовской губ. Как и у других слушательниц закрывшихся «Коллективных Уроков», у меня не бы-

* Мы печатаем главу из готовящейся на английском языке книги С. А. Сатиной «Образование женщин в дореволюционной России».

ло никаких шансов, никакой надежды быть принятой на новые Курсы. Поставив на это дело крест я решила не подавать в это новое учебное заведение прошения; все равно не попаду. Но против этого восстала моя мать. Получив сама только домашнее образование она всегда всей душой сочувствовала стремлению женщин получить насколько возможно полное образование. Энергия ее была неиссякаемая! Она долго убеждала меня в том, что решение мое не подавать прошения — глупое и неправильное, говоря, что в жизни всегда приходится бороться, чтобы добиваться желаемого, что с моей стороны дико сидеть сложа руки, что никто не знает как будут происходить выборы подавших прошение и что может повлиять на эти выборы и т. п. В конце концов, видя мое упорство, она сама достала нужную форму прошения, заполнила его, ответив за меня на все нужные вопросы. Мне оставалось только подписаться и послать прошение в Москву.

Мать моя оказалась права. К великому моему изумлению и неопишуемой радости я получила в конце августа уведомление из канцелярии новых Курсов, что я зачислена в число студенток на естественное отделение ф. м. факультета и, что я должна явиться на Курсы к 15 сентября 1900 года.

Новые Курсы оказались в том же здании, где читались лекции ликвидированных весной Коллективных Курсов. Залето помещение было перестроено и расширено. Физико-математическому факультету была отведена часть нашей бывшей большой аудитории. В ней должны были читать лекции слушательницам естественного отделения, а в свободное от лекций время вести там же практические занятия по разным предметам. Комната это была отделена небольшой профессорской комнатой от очень большой аудитории, отведенной для лекций историко-филологического факультета. В этом помещении была еще небольшая комната для математичек. Кроме того был снят примыкающий к этому зданию дом, в котором на 2-м этаже помещалась канцелярия Курсов. С одной стороны канцелярии была химическая лаборатория, с другой вторая большая аудитория для и. ф. факультета. Нижний этаж этого дома оставался пока неотреставрированным, а 3-й этаж был приспособлен для общежития студенток, не имевших родных в Москве. Оба факультета не были разобщены друг от друга. Слушательницы их ежедневно встречались, обменивались мнениями и знали друг друга.

Приехав в Москву, я с грустью узнала, что никто из близких и хорошо знакомых мне слушательниц закрывшихся

Кол. Курсов на новые В. Ж. К. не попал. Узнала я также, что среди приглашенных к преподаванию лиц были кое-кто из лекторов Коллективных Курсов. Встретив одного из них случайно на улице, (химика Реформатского) я рассказала ему об огорчении его бывших слушательниц, москвичек, не попавших в число избранных студенток. Он принял в их судьбе горячее участие и вместе с другими преподавателями убедил директора принять дополнительно еще 6 человек на естественное отделение. К нашей радости Герье исполнил эту просьбу. Всего таким образом на ф. м. факультет было принято 56 студенток. Из них 14 были зачислены на математическое отделение, и 42 на естественное. Число принятых студенток на историко-филологический факультет было также значительно увеличено по сравнению с предположенным в начале числом 100 человек. Общее число принятых при открытии студенток было 250.

Московские Высшие Женские Курсы были открыты 17 сентября 1900 года. После молебна В. И. Герье обратился к студенткам с приветственной речью и просьбой беречь новые Курсы, открыть которые удалось только после долгих хлопот и большого труда. За этим последовали наставления о том, как мы должны вести себя в обществе и на Курсах. Он предостерегал нас от вмешательства в политику, убеждал не присоединяться к возможным в будущем забастовкам и беспорядкам студентов университета и других высших учебных заведений и, главное, настаивал на том, что нам необходимо всячески сторониться общения со студентами, избегать их компании и даже встреч на улицах.

Речь директора нас смутила и произвела крайне неблагоприятное впечатление. Мы конечно всецело разделяли его желание беречь Курсы и соглашались с его предостережениями о невмешательстве в студенческие забастовки. Но его наставления о том как вести себя в обществе, его указания как мы должны быть просто и опрятно одеты, показались нам более чем неуместными, странными и ненужными. Но сильнее всего нас возмутили его настойчивые советы, о том, что мы должны избегать общения со студентами. У всех нас были братья, родственники, друзья учившиеся в университетах, технических, сельскохозяйственных и прочих школах. Мы росли и развивались вместе, интересы и понятия у нас с ними были общие. Как можно было требовать и ожидать от молодежи, принадлежащей к одному и тому же поколению, чтобы мы сторонились друг друга.

По окончании речи директор вызывал по алфавиту всех принятых студенток и, выдавая билет, говорил с каждой по несколько минут. Когда настала моя очередь, он спросил меня в родстве ли я с одним из Сатиных, помещиком Тамбовской губ., добавив, что он принял меня на Курсы в память того, что последний был когда-то одним из самых близких его товарищей в университете и, что он, надеясь, что я в родстве с этим Сатиным, сделал это из-за их прежней дружбы. Таким образом я, наконец, узнала причину по какой я попала в число студенток. Моя мать действительно была права, когда настаивала на том, что никто из подавших прошение не знает как и по каким причинам попадет в число избранных студенток. Хочу еще добавить, что А. Сатин, бывший когда-то товарищем В. И. Герье и невольно сыгравший такую большую роль в моей жизни, нашим родственником не был и никого в нашей семье кроме моего отца не знал. Его имение было очень далеко от нашего.

На другой день после открытия Курсов начались регулярные занятия. Как и во всех учебных заведениях России в эти годы система преподавания на открывшихся Курсах была курсовая, а не предметная, а курс обучения был четырехлетний.

Мы проходили на первом курсе следующие предметы: анатомию растений, курс введения в биологию, неорганическую химию, физику, дополнительные главы по алгебре и тригонометрии, которые проходились в мужских гимназиях. Эти занятия по математике были необходимы так как уровень знания по математике у кончавших разные типы женских средних учебных заведений девушек был далеко неодинаков. У громадного большинства поступивших на Курсы студенток знания по математике были далеко не достаточны для усвоения лекций по высшей математике и физике, читавшихся на Курсах.

Лекции по высшей математике читались на 2-м курсе. Проф. Млодзеевский, строгий, но великолепный преподаватель, ведший этот курс, предложил нам кроме лекций вести еще курс практических занятий по своему предмету. Мы с радостью приняли его предложение. На этих занятиях мы решали задачи по аналитической геометрии, дифференциальному и интегральному исчислению. Делалось это обычно сообща, т. е. к черной доске выходила желающая студентка или кого-нибудь из нас вызывал профессор. Иногда, чтобы проверить наши знания, предложенные задачи решались каждой

из присутствующих в классе отдельно. Вскоре мы привыкли к этим упражнениям и они сделались одним из любимых нами занятий. Хорошо помню, как проф. Млодзеевский преследовал большинство естественниц за их неумение кратко и ясно выражать свои мысли, за употребление лишних, как он говорил, ненужных слов и за их склонность к описанию.

Физику читал довольно скучно наш декан. За отсутствием физического кабинета и нужных для демонстрации аппаратов эти лекции читались не на Курсах, а в Политехническом Музее. Администрация музея разрешила нашему декану пользоваться всеми имеющимися в Музее физическими аппаратами во время лекций. Химию мы слушали у знакомого нам, бывшим студенткам Коллективных Курсов, проф. А. Реформатского. Он не был большим ученым, но как лектор обладал удивительным даром заинтересовывать своих слушателей, в особенности первокурсниц. Лекции его обычно заканчивались демонстрацией какой-нибудь химической реакции для эффекта с громким, но, конечно, неопасным взрывом. Практические занятия по химии велись в химической лаборатории, которая была открыта для желающих в течение всего дня для анализа и опытов. Заведывал этой лабораторией молодой химик, М. И. Прозин, только что окончивший университет. А. Н. Реформатский посещал лабораторию от времени до времени в течение недели для того, чтобы проверить наши опыты и сделанные анализы и снабдить студенток новыми растворами для неорганического анализа. Места в лаборатории было много и каждая студентка первые два года, пока нас было мало, могла проводить в ней сколько угодно времени. Прозин вскоре сделался нашим близким и настоящим товарищем, разделяя с нами все наши радости и горести, и всей душой сочувствовавший нам в нашей борьбе с директором. Лаборатория сделалась единственным убежищем нашего курса, где мы могли свободно обсуждать и решать свои курсовые дела и проводить свободные часы между лекциями.

Мы были первыми слушательницами молодого лектора по анатомии растений, А. Н. Строганова. Он был рекомендован, как мы вскоре узнали, одним из известных профессоров университета, К. А. Тимирязевым, популярным из-за его долголетней оппозиции правительству и из-за его прекрасной книги «Жизнь растений». Наш молодой преподаватель в начале так сильно смущался, читая нам лекции, что было трудно следить за их изложением. Но мы скоро поняли, что за его смущением скрывается настоящее знание предмета. Дейст-

вительно через два-три года он сделался одним из лучших лекторов на Курсах. Кроме того мы были готовы все простить ему за практические занятия, которые он вел так умело и интересно, и особенно за его еженедельные демонстрации микроскопических препаратов. Новые Курсы приобрели или получили в дар те микроскопы, которыми мы пользовались на Коллективных Курсах. Таким образом каждую субботу, имея в распоряжении около 35 микроскопов, наш молодой лектор показывал желающим в течение 5-6 часов свои изумительно хорошие препараты, иллюстрирующие прочитанные в течение недели лекции. Каждый препарат был снабжен такими же хорошими рисунками. Мы, бывшие студентки Коллективных Курсов, были уже хорошо знакомы с анатомией растений, которую прошли под руководством блестящего лектора Петровской С. Х. Академии, Н. Н. Худякова. Изучая препараты Строганова мы естественно рассматривали их более сознательно, чем новые студентки. Нередко кто-нибудь из нашей сплоченной и дружной группы, заметив какую-нибудь подробность в препарате, неуказанную в приложенном рисунке, обращали на нее внимание других. За этим следовало подробное обсуждение вопроса, в котором принимал участие и наш лектор. Это будило интерес присутствующих. Он приносил другие препараты, рисунки, не только со строением тканей, но и книги и мы знакомились подробно с литературой поднятого вопроса.

На втором и третьем курсе мы проходили морфологию и систематику высших растений, на 4-м курсе низших растений. Читал эти лекции тоже наш старый знакомый по Коллективным Курсам, ботаник М. И. Голенкин. Он был теперь уже директором университетского Ботанического Сада. Излагал он свои лекции плохо, у него не было дара слова. Мы были однако очень признательны ему за его стремление приучить нас к чтению научных статей и просмотру новой литературы. Он всегда ссылался и указывал нам на только что вышедшие интересные работы по ботанике в России и за границей, убеждал интересующихся ботаникой не ограничиваться учебниками и поощрял нас насколько возможно чаще ходить на экскурсии для знакомства с природой и для сбора материала в окрестностях Москвы. Таким образом мы собирали в разное время года растения, изучали самостоятельно собранное и действительно к концу пребывания нашего на Курсах знали хорошо подмосковную флору. На Курсах, конечно, не было еще своей библиотеки, поэтому мы были принуждены посто-

янно осаждать нашего профессора просьбами привезти нам из Ботанического Сада разные статьи и книги. В этом он нам никогда не отказывал. Приезжал он всегда на извозчике, нагруженный растениями для демонстрации своей очередной лекции, книгами и журналами для нас. У него была странная привычка завязывать узелки на углах своего носового платка, которые напоминали ему о наших просьбах. Когда не хватало углов для всех просьб, узелки делались двойными. Я так хорошо помню, как, вынимая платок при новой просьбе, он с изумлением смотрел на него, качал с сомнением головой и сознавался, что вряд ли он сможет запомнить все просьбы. Но помнил всегда все! Почему-то он неоднократно отказывался от приготовленных нами списков интересующих нас статей и, предпочитал свои узелки. Его ассистентом, который помогал ему во время практических занятий, был оставленный при университете молодой ботаник, белорус, с очень горячим нравом.

Нашим любимым и наиболее уважаемым профессором в течение всего пребывания на Курсах, был профессор университета по сравнительной анатомии позвоночных и орнитолог М. А. Мензбир. У нас он читал введение в зоологию, курс позвоночных и анатомию человека. У студентов университета он считался грозой. Они распускали слух о его строгости и на занятиях и на экзаменах. На нас он производил совершенно другое впечатление. Мы свободно и не смущаясь обращались к нему за нужными объяснениями, в которых он нам никогда не отказывал. М. А. Мензбир был великолепный лектор и преподаватель. Он хотел уйти с Курсов через два года после их открытия, но, уступая нашим просьбам, остался на Курсах до нашего окончания. Прощаясь с Мензбиром мы поднесли ему в благодарность и на память красивый альбом с трогательным адресом. За год до ухода он передал свою кафедру, для преподавания следовавшему за нами младшему курсу, талантливому зоологу Н. Кольцову. Мы прослушали лекции последнего по беспозвоночным животным вместе с младшим курсом. Практические занятия по зоологии в течение трех лет вел опытный и знающий зоолог П. П. Сушкин. Мы были с ним в очень хороших отношениях.

Лекции по кристаллографии и минералогии читались на 2-м курсе. Они были очень содержательны и интересны. Их читал В. И. Вернадский, а практические занятия вела его ассистентка Ревуцкая. Мы были знакомы с проф. Вернад-

ским и Ревуцкой уже по Коллективным Курсам и я с увлечением занялась опять определением кристаллов.

Органическую химию на 2-м курсе мы проходили с проф. Реформатским, а на 3-м курсе с Н. Зелинским. Оба были опытными преподавателями и многие студентки нашего курса проводили все свое свободное время в химической лаборатории увлекаясь анализами.

Очень интересные лекции по физике на старших курсах читал А. А. Эйхенвальд. Устроить практические занятия по физике ему удалось только, когда мы перешли на 3-й курс. Этот профессор принимал позже активное участие в постройке великолепного главного здания наших Курсов. Он был большой знаток и любитель музыки и один из главных организаторов общества, занявшегося научными исследованиями о звуке, к чему были привлечены не только физики, но и несколько выдающихся музыкантов Москвы.

Физическую химию мы проходили на 4-м курсе. Этот трудный предмет читал С. Крапивин. Я была тогда уже очень увлечена биологией, и ограничилась только посещением его лекций и добросовестной подготовкой к экзаменам.

С большим интересом были пройдены нами на 3-м и 4-м курсах физиология растений, которую преподавал проф. Ф. Н. Крашенинников, а практические занятия вел С. Нагибин, покончивший с собой при большевиках. Также интересны были лекции и занятия по физиологии животных. На 3-м курсе мы слушали проф. А. Самойлова, переехавшего скоро в Казань. На 4-м курсе его заменил проф. Шатерников. Метеорологию мы прошли не то на 3-м, не то на 4-м курсе, не помню точно. Лекции читал проф. Е. Г. Лейст, так любивший остроумия и каламбуры.

Не повезло нам только с лекциями по геологии и петрографии. Эти предметы преподавал молодой геолог Павлов. Лекции его почему-то читались не на курсах, а в одном из больших музеев Москвы, который был на довольно почтительном расстоянии от наших Курсов. Лектор был неопытный и постоянно опаздывал минут на 40-45, приезжая вместо 9-ти утра обычно не раньше 9.45. Из-за этого он задерживал нас почти на час, кончая свои 2-часовые лекции вместо 11-ти часов около 12. А это обстоятельство не давало нам возможности возвратиться во-время на Курсы на интереснейшие лекции по описательной астрономии, которые читал для математичек проф. университета Церасский. Не желая пропускать эти лекции из-за опаздывающего Павлова, мы, за иск-

лучением двух студенток, перестали ходить на его лекции по геологии.

Согласно планам преподавания во всех высших учебных заведениях России студенты каждого факультета были обязаны сдать в течение своего 4-летнего пребывания в школе экзамен по Богословию. Весь наш курс сдавал экзамен по Богословию на 4-м курсе. Все студентки были также обязаны пройти и сдать экзамены по французскому или немецкому языку. Большинство всегда брало немецкий язык. Меня освободила от занятий преподавательница немецкого, т. к. это была моя учительница немецкого языка в гимназии. Она не захотела отнимать у меня время, говоря, что требования предъявляемые студенткам на Курсах слабее тех, которые были в нашей гимназии. Она предложила мне на первом же уроке просто сдать экзамен.

Как видно из изложенного преподавание на Курсах быстро и хорошо наладилось. Мы любили и уважали наших профессоров и преподавателей. Студентки ценили их серьезное отношение и стремление дать нам все, что было возможно при данных условиях в новом учебном заведении. Нас трогали их заботы и хлопоты, когда они привозили для иллюстрации своих лекций из своих лабораторий и библиотек книги, таблицы и разные нужные наглядные пособия. Они всегда шли навстречу всем нашим просьбам и желаниям.

К сожалению совершенно иначе обстояли взаимные отношения между директором и учащимися. Они были далеко не дружественные и неоднократные столкновения происходили в течение всего нашего 4-летнего пребывания на Курсах. В. И. Герье был сторонником либерального университетского Устава 1863 года, был деятельным членом городской Думы. Нет никакого сомнения, что он был горячим поборником женского образования, дважды доказав это на деле. Но в нем было что-то, что мешало учащейся женской молодежи оценить по-настоящему труд, положенный им в дело развития женского образования, что-то, что мешало ближе подойти к нему. Не умел и он подойти к молодежи. Было ли это следствием не то покровительственного, не то слегка презрительного тона с которым он говорил с нами, было ли это его глубокое недоверие, которое всегда чувствовалось при разговоре с ним, его настороженность и постоянные отказы и в серьезных и в мелких просьбах, с которыми студентки обращались к нему — не знаю.

Большинство студенток понимало и разделяло его опасе-

ния за целостность открывшихся Курсов, если бы они примкнули к одной из демонстраций студентов университета. Мы это доказали, ни разу за все четыре года нашего пребывания на Курсах не присоединившись в эти бурные годы к студенческим беспорядкам. Но мы не могли и положительно не хотели следовать советам директора, касающимся нашей частной жизни вне стен Курсов, сводившимся к отказу от всякого участия в пробуждающейся общественной жизни нашей родины.

Ведь в годы нашего пребывания на Курсах жизнь в России кипела. Естественно, что мы, студентки, не могли стоять в стороне от всего происходившего вокруг нас. И на Курсах, и дома, среди друзей и знакомых, в каждой семье горячо обсуждались происходившие события, шли споры. Мнения были, конечно, разные. Одни сочувствовали правительству, его упорству, другие осуждали его и были на стороне противившихся его реакционным мерам. Но кажется не было ни одного равнодушного ко всему происходившему. Кто мог среди нас — хлопотал об освобождении арестованных студентов, обращаясь за помощью даже к людям осуждавшим их. Надо сказать, что из-за жалости к студентам, томившимся в тюрьмах или ссылки, отказы в помощи тех кто мог помочь были редки. Мы собирали деньги для так называемого подпольного политического Красного Креста, помогавшего высланным студентам и снабжавшего их деньгами, одеждой. Мы участвовали в устройстве столовых для семейств бастовавших рабочих, кормили их сытными обедами в открытых на несколько сот человек столовых, собирали и раздавали теплую одежду детям бастующих и т. д. Но в забастовках и демонстрациях студентов участия не принимали, несмотря на призывы и убеждения очень небольшого числа среди нас революционно-настроенных студенток. Мы ясно сознавали, что наше выступление в этом деле повело бы к немедленному закрытию Курсов.

Как я уже говорила речь Герье при открытии Курсов произвела на нас неблагоприятное впечатление. Оно к сожалению усиливалось почти при каждой с ним встрече, при каждом к нему обращении. В начале это были большей частью только мелкие стычки, но они вели к взаимному раздражению. Постепенно и у нас начало развиваться недоверие к нему, к его словам и обещаниям. Оно сделалось взаимным.

Как пример сошлюсь на следующее: среди студенток многие были очень ограничены в средствах. Мы начали хло-

потать о разрешении создать кассу взаимопомощи учащихся. Узнав об этом директор любезно предложил нам свою помощь, говоря что ему будет легче получить нужное разрешение чем нам. Мы приняли с благодарностью его предложение. Но каково было наше разочарование, когда несколько месяцев спустя нами была получена бумага, извещавшая нас, что согласно нашему прошению нам разрешается открыть благотворительное «Общество Помощи Нуждающимся Студенткам». Герье вопреки нашему желанию хлопотал о благотворительном обществе. Он изменил наше прошение даже не сообщив нам об этом. Мы хотели хлопотать о кассе взаимопомощи, где студентки могли бы просто брать взаймы деньги и делать это не подвергаясь неприятным обследованиям и вопросам, которые всегда ставились согласно правилам благотворительных обществ. Я теперь думаю, что директор считал более благоразумным не поднимать вопроса о кассе взаимопомощи, к которой М. Н. П. всегда относилось отрицательно. По всей вероятности Герье был прав. Но почему он не переговорил с нами, не попробовал убедить нас, что просить о кассе взаимопомощи сейчас не время. Студентки вероятно приняли бы во внимание его советы. Конечно, эта история не могла не вызвать раздражения студенток и не могла способствовать популярности директора.

Очень сильным разочарованием были также наши разговоры с Герье, из которых можно было вывести заключение, что он, имевший репутацию поборника женского просвещения, считал повидимому нужным дать женщинам только ограниченное образование, какое-то урезанное, специфически-женское. Мы не раз слышали его мнение, когда он, заходя к нам в химическую лабораторию и видя, что мы производим анализы воды или разных смесей, замечал, что это совершенно не нужная для нас работа, что было бы вполне достаточно для нас одних лекций по химии. Подобные замечания мы еще чаще слышали, когда пытались получить от него комнату или хотя бы какой-нибудь угол, где мы могли бы сообща разбирать материал, который мы собирали на экскурсиях. Думал ли он так в действительности не знаю. Возможно, что он высказывал такое мнение из духа противоречия, или в минуты раздражения.

Дело в том, что наша небольшая группа студенток, учившаяся предварительно на Коллективных Курсах и проходившая поэтому теперь вторично хорошо знакомые ей предметы, стремилась к более самостоятельной работе. К этому нас

поощряли и наши преподаватели. Но не имея еще помещения для биологической лаборатории, где мы могли бы заниматься в свободное время, мы очень часто ходили на экскурсии, знакомясь с подмосковной флорой и фауной. Недостающая нам лаборатория была заменена природой. В результате этих экскурсий у нас накапливалось большое количество разного материала, который хотелось разбирать сообща. Рос большой гербарий великолепно засушенных растений, было собрано большое количество мхов, водорослей, грибов, беспозвоночных животных и пр. Были два микроскопа, полученные от знакомых, лупы, лампы и нужные для работы инструменты, посуда, книги. Был большой интерес к работе, словом все, что нужно кроме небольшой, но совершенно необходимой для работы, комнаты, для наших культур и для определения собираемого материала. Мы все знали, что на первом этаже Курсов, рядом с квартирой инспектриссы пустовали уже второй год несколько комнат, но директор не только отказывал нам в наших просьбах предоставить в наше распоряжение одну из этих комнат. Он еще пытался при этом убедить нас, что нам, женщинам, такая самостоятельная работа совершенно не нужна, что лекции, которые мы слушаем, и практические занятия, которые ведутся под руководством ассистентов в большой аудитории, для нашего образования совершенно достаточны. Все это даст нам — по его словам — необходимые знания нужные для поддержания разговоров в обществе и для разъяснения разных вопросов детям, которых мы будем воспитывать и учить в недалеком будущем. На наши замечания, что некоторых из нас одна педагогическая работа не увлекает, что мы хотим лучше подготовиться к возможной в будущем научной работе, директор отвечал, что это не женское дело и нам совершенно ненужное. Опять повторяю, что не знаю, думал ли он так действительно или отказывал нам в комнате, боясь, что мы заведем в ней опасные для судьбы Курсов занятия. Хочу еще только добавить, что в конце концов одна из пустовавших комнат была предоставлена в наше распоряжение, когда мы дошли до конца 3-го курса. Кто повлиял в этом отношении на Герье мы никогда не узнали.

Описанные разговоры с директором не только раздражали нас, они тревожили нас за будущность Курсов. Мы задавали себе вопрос когда же, наконец, женщинам дадут право устраивать свою жизнь согласно их интересам и предоставят им право и возможность самим решать свою судьбу.

Чувствуя недоверие Герье к себе, к нашим силам и благоразумию и видя его нежелание содействовать нам в нашем естественном стремлении к самостоятельной работе, в таком простом желании как близкое ознакомление с фауной и флорой, окружавшей нас природы, мы начали опасаться за будущность М. В. Ж. К. Куда он ведет Курсы? Опасения наши были основаны не только на приведенных выше разговорах, но еще на том факте, что директор не созывал до сих пор Совета профессоров и продолжал управлять Курсами единолично и полновластно. Мы знали, что давая разрешение на открытие Курсов М. Н. П. уполномочило директора созвать — когда он найдет это нужным — Совет профессоров и что, согласно данному министерством уставу, общее управление Курсов лежало на обязанности Совета. И вот на наших глазах повторялось теперь то же, что было с первыми Курсами Герье в 1872 году, где он ограничил деятельность профессоров чтением лекций и ведением семинаров и не допускал их в течение целых 16 лет к участию в управлении этими Курсами. Казалось, что именно теперь человек, стоявший во главе нового развивающегося учебного заведения, больше всего нуждается в советах и помощи опытных и знающих людей. Участие Совета профессоров в управлении и развитии планов обучения лучше обеспечивало бы будущность Курсов. Ведь многие из преподавателей Курсов смотрели на дело гораздо шире, чем Герье.

В начале нашего пребывания на Курсах нас стесняли, приставленные к каждому курсу, женщины-инспектриссы. Их обязанностью было следить за поведением студенток т. е. главным образом за тем, чтобы они не устраивали сходок. Как эти «классные дамы», прозванные так нами в шутку, могли бы воспрепятствовать сходке никто не знал, но во всяком случае они должны были уведомлять о них директора. Такая работа была очень неприятна этим бедным женщинам и они часто менялись. Мы не питали к ним никаких неприязненных чувств, а только искренно жалели их. Не знаю как было дело на историко-филологическом факультете, но на нашем, выход из положения был скоро найден и, не подводя этих бедных «классных дам», мы ухитрились устраивать сходки без их ведома. Нас было так мало, что курсовые сходки устраивались чаще всего в химической лаборатории. Она была достаточно велика для такого собрания, вентиляция в ней была далеко не совершенна и на занятия в лаборатории служащие администрации ходить не любили, боясь царящего в ней запаха

и плохого воздуха. Иногда мы собирались на сходку минут за 15 до начала к. н. практических занятий по зоологии или ботанике и хорошо зная друг друга быстро решали все необходимые вопросы.

Учась на Курсах в те тревожные годы избежать созыва этих строго запрещенных собраний студенток не было возможности. Только благодаря им удавалось останавливать присоединение студенток к студенческим беспорядкам, т. к. только благодаря сходкам могло выясниться отрицательное отношение большинства учащихся к призывам революционно-настроенного меньшинства. Впечатление от их горячих и красноречивых речей разбивалось трезвыми и спокойными возражениями студенток, призывающих к благоразумию. Значительное большинство присутствующих всегда поддерживало последних.

Мы избегали насколько возможно устройства общекурсовых сходок обоих факультетов. Они были очень редки, но все же иногда неизбежны. Одна такая сходка привела к большому скандалу. Дело это произошло весной второго года существования Курсов. Группе студенток историко-филологического факультета пришлось в голову послать от имени студенток Московских Высших Курсов поздравительную телеграмму одному из либеральных Обществ в Петербурге (кажется Вольно-Экономическому), праздновавшему не то какой-то юбилей, не то возвращение из-за границы своего бывшего председателя (М. М. Ковалевского?) Судя по тогдашним газетам приветствия шли туда со всех концов России. Эти студентки не могли повидимому удержаться от соблазна присоединить и свой голос к этому событию, забыв, что посылка телеграммы от имени студенток учебного заведения нарушала строгие правила М. Н. П. Учащиеся высших школ в России могли действовать только как единичные личности, корпоративные выступления не разрешались.

Директор, узнав о телеграмме, пробрал пославших ее, имея на то полное основание. Но когда одна из студенток, возражая ему, сослалась на то, что мы не дети, что и мы, учащиеся, хотим присоединить свой голос... директор перебил ее и взяв рукой за подбородок спросил: «цыпочка, да сколько вам лет?» Она ударила его по руке, отстраняя ее от своего лица. Поднялся настоящий скандал. Присутствующие при этом студентки начали шуметь и протестовать против такого обращения директора, а на другой день собрали общую сходку. На сходке двум студенткам историко-филологическо-

го факультета было поручено выразить директору единогласный и горячий протест, что и было ими исполнено.

Через несколько дней на Курсах разнесся непроверенный еще слух, что наши обе делегатки были исключены. Была собрана вторая и еще более многочисленная сходка, на которой присутствовали почти все учащиеся 1 и 2 курса обоих факультетов. Мы требовали возвращения исключенных, если они были действительно исключены. Извещенный о сходке директор, не отвечая нам на вопрос, правда ли, что обе студентки были им исключены, убеждал нас разойтись, и надеясь, что студентки разбегутся от холода, велел сторожу открыть настежь все окна. На это мы не обращали никакого внимания, продолжая требовать от него ответа о судьбе наших двух товарок. В конце концов он ответил, что их на Курсах уже нет, и, что они обе в Швейцарии. Дальнейшие сходки, на которых принимались решения, как реагировать на всю эту историю, были только курсовые и каждый курс решал об этом отдельно.

Студентки нашего сплоченного 2-го курса естественного отделения после краткого обсуждения решили **единогласно**, что никому из нас на Курсах оставаться нельзя. Мы должны уйти. Этот вынужденный уход мы мотивировали тем, что пострадавшие студентки, передавшие директору наш протест, исполняли наше неприятное поручение и что мы не можем допустить теперь, чтобы они одни расплачивались за дело, в котором мы были ответственны не менее их. Наша совесть не позволяет нам поэтому оставаться на Курсах.

На той же сходке было решено еще, что до подачи заявления о выходе с Курсов, три представительницы нашего 2-го курса должны немедленно обойти профессоров нашего ф. м. факультета и постараться убедить их, что М. В. Ж. К. нуждаются в их активном участии в управлении Курсов, что их работа в качестве лекторов на Курсах недостаточна и, что их деятельность в качестве активных членов Совета Профессоров принесет этой школе необходимую и насущную пользу. Я была одной из выбранных для этого дела студенток. Надо было спешить, т. к. все это происходило на 6-й неделе Великого поста т. е. за 4-5 дней до двухнедельных пасхальных каникул, а подача нашего заявления об уходе с Курсов была назначена нами в последний день до перерыва занятий на Курсах.

Мы быстро справились с порученным нам делом, переговорив с нашими профессорами. Часть их, выслушав нас, обе-

щали подумать и переговорить об этом с товарищами. Они повидимому разделяли наше мнение. Другие отделивались общими фразами. Третьи вместо обсуждения вопроса об их участии в делах Курсов усиленно убеждали нас не уходить с Курсов. К концу второго дня наших визитов к профессорам нам оставалось повидать только одного из них — минералога В. И. Вернадского. Это последнее свидание с профессором продолжалось необычайно долго. Мы пришли к нему не во время, как раз, когда его позвали к обеду. Конечно мы хотели ретироваться, но он настоял на том, чтобы мы сказали ему в чем дело. Выслушав нас он начал убеждать нас, что мы не правы, что управление Курсами постепенно наладится само собой, что с этим делом спешить не следует, что «тише едешь дальше будешь» и т. д. Мы стояли на своем, приводя для этого разные доказательства, настаивая на необходимости участия Совета профессоров в ведении дел на Курсах пока не будет поздно. Спор наш продолжался более двух часов. Зная, что мы помешали ему обедать, мы раза три пытались уйти, но В. И. нас не отпускал, настаивая на том, что надо договориться до конца. При уходе каждая сторона осталась при своем мнении. Ушли мы, извинившись перед ним, что отняли у него столько времени, и очень огорченные.

На другой день после нашего посещения В. И. Вернадского, я пошла на Курсы, чтобы проститься с его ассистенткой, с которой была очень дружна, и совершенно неожиданно встретила там с Вернадским. Увидав меня, он отозвал меня в сторону и просил меня передать нашему курсу следующее: после нашего ухода, он весь вечер проспорил со своей женой. Она была на нашей стороне и в конце концов убедила его, что он был неправ в нашем с ним споре, когда настаивал на том, что преподавателям в настоящее время не следует вмешиваться в дела Курсов. Он считает теперь, что профессорам нельзя ограничиваться одним преподаванием и, что он обещает нам созвать на этих днях частное собрание профессоров нашего факультета, чтобы обсудить с ними положение дел на Курсах. В добавление он очень просил меня передать всему нашему курсу свое искреннее и большое сожаление, что мы уходим с Курсов.

Обещание свое В. И. Вернадский сдержал. Совещание профессоров состоялось на Курсах через два дня. Как мы узнали потом все собравшиеся преподаватели, обсудив дело, несмотря на очень поздний час отправились с деканом во

главе на квартиру к директору и добились от него согласия и обещания созвать Совет профессоров.

Мы же т. е. весь наш второй курс естественного отделения ф. м. факультета, написав каждая дословно одинаковое заявление о выходе с Курсов (мы ведь не могли написать корпоративно одно заявление от всех) и став в очередь перед входом в канцелярию, молча входили в комнату начальницы канцелярии и отдавали ей наши заявления. Она в отчаянии отмахивалась от них, стараясь остановить нас, умоляя одуматься. Трудно передать словами то огорчение, которое испытывала каждая из нас, в особенности бывшие студентки Коллективных курсов. Второй раз почти дойдя до 3-го курса мы лишились возможности продолжать наше образование.

Все это дело кончилось так: после пасхальных каникул в канцелярии Курсов был вывешен огромный размеров плакат, подписанный Попечителем Московского Учебного Округа. В нем было заявлено, что, принимая во внимание благоразумное поведение большинства студенток М. В. Ж. К. исключенным двум студенткам разрешается поступить обратно на Курсы, а заявлениям беспокойного меньшинства студенток о выходе с Курсов не дано хода. Поэтому, подавшие их могут продолжать свои занятия.

Как я узнала только теперь, и что мне особенно приятно сообщить здесь, В. И. Герье не исключил тогда наших двух представительниц. Он «посоветовал» их родителям взять их с Курсов. Такой «добровольный» уход не наносил ущерба их будущей деятельности. Увольнение же могло сильно и плохо отразиться на их дальнейшей судьбе.

Как забавный пустяк добавлю еще, что в течение нескольких недель т. е. до самого конца академического года, ученики 5-й мужской гимназии, находящейся рядом с Курсами, идя на уроки и возвращаясь с них домой, при встрече со студентками приветствовали их хором, крича на всю улицу «цип, цип, цип!»

Наши стычки с директором к сожалению продолжались до самого окончания Курсов. Вспоминая о них теперь, я думаю, что в некоторых случаях мы были неправы по отношению к нему. Но как ни грустно, непопулярность этого человека, столько сделавшего в своей жизни для женского образования, неуклонно росла. Нам казалось, что он отстал от века, что он живет прошлыми воспоминаниями о своих первых Курсах и не сознает, что жизнь ушла вперед, что новые поколения студенток отличаются от тех с которыми он имел

дело в 70-х и 80-х годах ушедшего 19 века. Отличаются эти новые поколения большей независимостью, большей требовательностью, лучшей подготовкой к высшему образованию и что вообще современные женщины стали духовно более независимы и свободны, чем женщины 20-30 лет назад.

Переживаемые нами волнения и неприятные столкновения с директором, конечно, мешали учению, но вместе с тем они будили в нас чувство ответственности за нашу школу, которой мы так дорожили, и развивали чувство товарищества. Все это по традиции передавалось следующим за нами представителям слушательниц Курсов, что особенно сильно сказалось в первые годы после революции. Сужу об этом по поведению студенток-ботаничек в нашей лаборатории и на лекциях, которые не щадя сил делали все возможное, чтобы сохранить в целости лабораторию Курсов, делили друг с другом скудную пищу и проводили в жизнь девиз «все за одну, одна за всех».

Мне хочется рассказать об их отношении к Курсам не то в 1919 или в 1920 г., когда нашему новому недавно построенному, великолепному зданию Курсов на Девичьем Поле грозило если не полное разрушение, то все-таки очень значительное повреждение от громадного количества накопившегося на его крыше снега. Здесь необходимо пояснить, что крыша этого большого здания была построена очень оригинально и так, что зимой с нее не надо было сбрасывать снег, как необходимо было делать в других домах в Москве. Здание это имело большой купол, вокруг которого шла широкая и местами глубокая канава. В канаве на известном друг от друга расстоянии были проведены внутрь здания трубы, соединенные с городской дождевой канализацией. А вся крыша была слегка наклонена по направлению к канаве. Во время оттепели вода от таявшего снега стекала в канаву, а оттуда по трубам в канализацию. Все это было великолепно при нормальных условиях жизни, т. е. если здание отапливалось и трубы внутри здания были теплыми. Но в годы революции нормальные условия жизни были нарушены, здание не отапливалось и в трубах образовался лед, который их совершенно закупорил.

Служащие, обязанные чистить улицы, дворы и крыши зданий Курсов, забастовали и предъявили профессору химии Наметкину, бывшему в это время заместителем директора Курсов, совершенно невыполнимые требования, отказываясь до исполнения их приступить к работе. Во время переговоров

с ними, от неожиданно наступившей в январе сильной оттепели, вода с крыши этого нового здания хлынула внутрь здания и затопила весь нижний этаж. Ледяная вода покрыла полы дюйма на два. В ответ на призывы о помощи профессора Наметкина, не знавшего, как спасти здание и облегчить положение служащих администрации, работавших в здании, откликнулась немедленно наша спаянная группа студенток-ботаничек. За эту необычную для женщин работу по очистке крыши от льда и снега взялись все 10 студенток специализировавшихся по ботанике, и я, заведующая в эти годы ботанической лабораторией. Вооружившись лопатами наша голодная, но дружная компания полезла на крышу и выгребла снег из канавы, окружавшей купол. После этого пришлось удалить из чердака накопившуюся там во время оттепели воду, которая просачивалась в здание. Устроив для этого живую цепь, мы вычерпали не менее 500 ведер воды, выливая ее в окно. Кроме того, чтобы избежать повторения потопа, мы помогли проф. Наметкину оттопить замерзшие внутри здания трубы. Он работал за истопника, а мы, заменив собой лошадей, подвозили к топке из сарая на санях громадные бревна. Наша группа очистила также от снега еще часть двух зданий с обыкновенными крышами — анатомический театр медицинского корпуса и часть химического. На всю эту работу потребовалось пять дней.

О дальнейшем развитии Курсов писать очень отраднo. В августе 1905 года правительством были опубликованы Временные Правила согласно которым все высшие учебные заведения в России получили автономию. Должность директора и на наших Курсах стала выборной. Вместо В. И. Герье директором был выбран проф. механики С. А. Чаплыгин.

Он выполнял эту должность приблизительно до 1918 или 1919 г., точно не помню, но во всяком случае реорганизация Курсов во Второй Московский Университет произошла при нем.

Выбор нового директора оказался чрезвычайно удачным. Трудно перечислить все дела, которые были проведены при нем и которыми он руководил так умело. Во всех своих решениях он опирался на Совет профессоров. Правильное распределение обязанностей, удачный состав выбранных деканов и секретарей факультетов, конечно, способствовали организационной работе и деятельности директора. При нем в 1906 году решено было открыть новый факультет — медицинский. Одна за другой на большом участке земли подарен-

ном городом появлялись собственные постройки Курсов: вместительное здание медицинского факультета, с анатомическим театром, лабораториями и аудиториями, большое здание специально оборудованное для химических лабораторий и аудиторий, и наконец громадное здание с многочисленными аудиториями различного размера для историко-филологического факультета, для математического отделения физико-математического факультета, большая библиотека, несколько комнат для канцелярий и администрации Курсов и очень большая аудитория, которая была предназначена для публичных лекций и концертов. Центральная часть этого здания под большой куполообразной крышей была круглой пустой залой, служившей вестибюлем. От нее шли во всех направлениях двери, коридоры и лестницы, ведущие в разные части этого корпуса. Старое освободившееся от историко-филологического факультета, помещение Курсов было целиком предоставлено ботаникам, зоологам, геологам и минералагам. Таким образом и они могли развернуться и открыть столь нужные им лаборатории для работы студенток, специализировавшихся по этим предметам.

Благодаря умелому ведению хозяйства, и несмотря на громадные расходы, при Чаплыгине были укреплены и материальные средства Курсов. Этому способствовала и энергичная работа Общества Доставления Средств В. Ж. Курсам и частные пожертвования быстро разрастающемуся учебному заведению. Много денег было истрачено на оборудование открывающихся лабораторий физико-математического и медицинского факультетов. Большая помощь в этом была оказана преподавательским персоналом. Благодаря их участию, на Курсах появились ценные коллекции по энтомологии и минералогии. Бывшими студентками первого выпуска, основавшими в Москве Музей и мастерскую наглядных учебных пособий, было положено основание ботаническому музею. Он содержал зафиксированные и засушенные препараты по морфологии растений, гербарии высших растений и большой гербарий паразитных и сапрофитных грибов, собранных мною за много лет в разных частях России. В Музее хранилась также большая коллекция засушенных особым способом шляпочных грибов, пожертвованная одним любителем и знатоком грибов Московской губ. Одним из зоологов был основан очень интересный биологический Музей, представляющий большую научную ценность, которому было отведено особое помещение в новом здании Курсов.

Существенная помощь была также оказана преподавателями Курсов при основании факультетских библиотек во всех лабораториях. Согласно отчету 1911 г. стоимость всех библиотек Курсов достигла 61.107 руб. Бюджет Курсов в 1911 году равнялся 593.336 руб. Имущество этого учреждения за 11 лет существования возросло до полутора миллионов рублей.

О росте Курсов можно судить по числу и составу преподавательского персонала. В 1905 г. преподавателей было всего 68 человек. Большинство их были старые друзья прежних женских Курсов. В 1912 г. число преподавателей достигло уже 227 человек. На историко-филологическом факультете — 74, на физико-математическом 53, на медицинском 100 человек. Важным фактором была стабильность их состава и постепенное появление на Курсах собственного преподавательского персонала. Молодые люди, начавшие работать в качестве ассистентов постепенно занимали места уходящих старых профессоров.

Сильно росло также число учащихся. В мое время в 1904 году нас было всего 1.004 студентки и 71 вольнослушательница. В 1911 г. это число возросло до 5.318, а в 1916-17 г. оно достигло 9.480.

С введением новых Временных Правил 1905 г. жизнь и деятельность студенток по сравнению с прежним чрезвычайно изменилась. Им были разрешены всякого рода легальные организации немислимые до 1905 года. На Курсах возникали кружки научного характера: по естествоведению, математике, по изучению театра, был даже основан кружок эсперантисток. Три педагогических кружка, открывшихся на естественном отделении и на историко-филологическом факультете слились позже в Педагогическое Общество при Курсах. Основывались также студенческие Кружки общественно-экономического характера. Появилось студенческое издательство, выпускавшее лекции, читавшиеся на историческом и словесном отделениях. Открылась и касса взаимопомощи, которую нам в первые годы не удалось получить и из-за которой произошло с Герье одно из наших с ним столкновений. Были даже пресловутые землячества. Число их было очень велико. Оно колебалось между 30 и 50. Для студенток, приезжавших из провинции Обществом Вспомоществования Учащимся были открыты общежития. За поведение студенток внутри зданий Курсов отвечала администрация.

Очень много труда было положено директором и Сове-

том Профессоров на разработку системы учебных планов преподавания. Много работали над программами отдельных предметов и Факультетские Собрания. Старый курсовой план преподавания был реорганизован в предметный. Курсовая система критиковалась многими профессорами, как система опеки над учащимися. Введенная в 1906-07 году предметно-цикловая система была тоже признана неудобной и слишком сложной. В 1912 году выработалась новая предметно-цикловая система, но с обязательной последовательностью изучаемых предметов и с сохранением циклов для специализации. Ее одобрили, но вскоре пришлось и здесь внести изменения. Это было связано с появлением нового закона, дававшего права женщинам преподавать во всех классах женских и мужских гимназий, при условии обязательной сдачи государственных экзаменов при каком нибудь из университетов. Другими словами женщины были, наконец, допущены наравне с мужчинами к праву сдавать государственные экзамены, а сдавшие уравниены во всех правах с мужчинами за исключением получения чинов и орденов.

Закон 1911 г. дал также право присуждать женщинам научные степени. В нем были также перечислены высшие женские курсы, программы которых были признаны М. Н. Просвещения равными программам университетов: это были пока Московские Высшие Женские Курсы, Бестужевские В. Ж. Курсы и В. Ж. Курсы в Казани и Киеве.

Весной 1913 г. этот закон вошел в силу и был впервые применен в жизни. Лично мне надо было воспользоваться этим безотлагательно. Дело в том, что я уже с 1907 г. работала на Курсах в качестве ассистентки при кафедре ботаники, сначала на медицинском факультете, а потом на естественном отделении физико-математического факультета. До сих пор положение женщин-ассистенток, приглашенных работать на Курсах, было неопределенно. О них ни в одном уставе В. Ж. Курсов и ни в одном из Временных Правил М. Н. П. не говорилось т. е. не было ни официального запрета, ни официального разрешения на эту должность и работу. Вполне естественно было ожидать, что министерство, уравнивавшее женщин в правах на образование с мужчинами, потребует от Курсов, чтобы все ассистентки имели университетский диплом. Я решила подать поэтому заявление в Московский Университет о желании сдать весной государственные экзамены. Вместе с этим заявлением надо было подать еще дипломную работу на тему по своей специальности. В этом отношении мне по-

могло то, что уже 9 лет тому назад, т. е. со времени окончания Курсов, я при содействии моих старых профессоров была неофициально допущена ректором университета к научным работам в одной из ботанических лабораторий. Другими словами я пользовалась аппаратами и книгами, нужными мне для моих исследований и, конечно, помощью и советами руководителей этой лаборатории. У меня имелись печатные статьи, но к счастью оказался еще не сданный в печать манускрипт. Он и послужил мне в качестве дипломной работы.

Было трудно после стольких лет самостоятельной работы опять приниматься за подготовку к экзаменам по разным предметам о которых я уже забыла думать, но все экзамены сошли благополучно.

Около 1916 г. Совет профессоров и факультетские собрания занялись подготовкой учебных планов для проектируемого перехода Курсов в Женский Университет. В эти же приблизительно годы ассистенты Курсов были приглашены к участию в заседаниях своего факультета и в Совете профессоров.

Со времени моего отъезда из России в 1921 г. я ничего не слышала о судьбе М. В. Ж. Курсов.

С. Сатина

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

(Н. БЕРДЯЕВ и Л. ШЕСТОВ)

Между Бердяевым и Шестовым немало общего. Оба мыслителя движутся в стихии религиозной философии, оба подчеркивают значение трагического начала в жизни и для обоих единственный путь к преодолению трагедии заключается в религиозном катарсисе. Оба философа пережили в молодости знакомство с Ницше, как «внутренний переворот и потрясение». Современный историк философии причислил бы их учения к разновидности религиозного экзистенциализма.

Оба вели страстную борьбу против всех видов секуляризма — как против воинствующих лже-религий современности, так и против метафизического мещанства — попытки отгородиться китайской стеной позитивизма от проклятых вопросов бытия и мышления.

Помимо всего, обоих философов связывали узы долговой личной дружбы.

При всем том, между ними почти всю жизнь шли страстные споры. Оба философа вели пожизненный платоновский диалог, будучи на противоположных полюсах религиозного сознания. Многое ли в этом споре объясняется православным христианством (несмотря на все его ереси) Бердяева и иудаизмом (несмотря на все его вольнодумство) Шестова. Все же спор между ними выходил далеко за рамки всякого конфессионализма. Здесь, в новом, современном варианте встретились между собой тертуллиановское «*credo quia absurdum*» с ансельмовским «*credo ut intelligam*». Ибо, хотя Бердяева нельзя никак упрекнуть в каком-либо рационализме — он скорее антиномист, — его идея о несотворенной свободе не вмещается в плоскость формальной логики — все же этот романтический иррационализм Бердяева бледнеет перед антирационализмом Шестова, — философа, всю жизнь ведшего войну против общеобязательных истин и против самого их источника — разума.

Диалог между этими философами, помимо его общефилософской поучительности, представляет интерес как существенный эпизод в истории русской религиозно-философской мысли.

Оба философа были великие спорщики. Оба воодушевлялись не столько в спокойном развитии мысли, сколько в полемике. Поэтому, несмотря на общую близость основных позиций, или, отчасти, благодаря этой близости, они умели находить слабые места в философских установках друг друга, отчего их полемика выигрывала в своей остроте.

Во всяком случае, теперь, когда эти, происходившие чуть ли не на наших глазах, споры, все более отходят в прошлое — более чем уместно осветить эту полемику в ее уже намечающейся исторической перспективе.

Начало личного знакомства Бердяева с Шестовым относится к рубежу двух столетий. Тогда оба философа только начинали свою литературную деятельность. Первый спор между ними — почти символически — произошел на встрече нового года нового века. Шестов пишет по этому поводу: (заимствовано из книги личного друга Шестова, Фондана):

«Мне было 34 года, когда я познакомился с Бердяевым. Ему было тогда 26 лет. Мы вместе встречали новый, 1900-ый год. В эти годы, выпивши немного, я становился задирой. Мои друзья знали эту слабость и всегда находили способ меня подпоить. В этот вечер Бердяев сидел рядом со мной. Я дразнил его невероятно, вызывая взрывы всеобщего хохота. Но когда мой хмель прошел, я сообразил, что Бердяев, вероятно, обижен. Я извинился перед ним и предложил выпить на брудершафт. Кроме того, я просил его, для доказательства того, что он простил меня, зайти ко мне завтра. Он пришел. Так завязалась наша дружба. Никогда мы не были согласны. Мы всегда сражались, кричали. Он всегда упрекал меня в «шестовизации» авторов, о которых я говорю. Он утверждал, что ни Толстой, ни Достоевский никогда не говорили того, что я заставляю их говорить. И каждый раз я ему отвечал, что он приписывает мне слишком большую честь и если я действительно изобрел то, что я утверждаю, то я должен раздуться от тщеславия».

Так, на пороге 20-го века было положено начало философскому диалогу между двумя друзьями-врагами. Многие из приведенной цитаты относятся к позднему времени — в 1900 году Шестов еще не был автором «Достоевского и Ницше». Но это не меняет существа их спора.

О первых годах знакомства с Шестовым Бердяев пишет с большим признанием:

«В это время, перед ссылкой (т. е. перед 1900 годом) я познакомился с человеком, который остался моим другом на всю жизнь, может быть, единственным другом, которого я считаю одним из самых замечательных и лучших людей... Я говорю о Льве Шестове, который тоже был киевлянин. В то время появились его первые книги, и меня особенно интересовала его книга о Ницше и Достоевском. Мы всегда спорили, у нас были разные мирозерцания, но в шестовской проблематике было что-то близкое мне. Это было не только интересное умственное общение, но и общение экзистенциальное, искание смысла жизни. Общение было интенсивно и в Париже, до самой его смерти».

Эти споры приобрели вскоре и свою общественную проекцию, — когда в 1907 году Бердяев выступил против Шестова в своей статье «Трагедия и Обыденность», помещенной затем в его известном сборнике «Суб спещие этернитатис». В свою очередь, Шестов не остался в долгу и ответил своему другу-врагу статьей «Похвала глупости», вошедшей затем в его сборник «Начала и Концы».

Статья Бердяева «Трагедия и Обыденность» написана по поводу только что появившегося тогда сборника Шестова «Апофеоз беспочвенности». Нужно сказать, что Бердяев, как и многие другие критики, довольно восторженно принявший книгу Шестова «Достоевский и Ницше», был несколько разочарован «Апофеозом беспочвенности». В своем отзыве, он упрекал Шестова в том, что, пропев ранее философский гимн трагическому началу, Шестов пытался затем возвести это начало в норму. Этим самым трагедия становится обыденностью, превращается в безысходность и теряет свой смысл.

В начале статьи Бердяев отдает должное таланту Шестова и его проповеди трагического мирозерцания: — «Шестов очень талантливый писатель и мы, непристроившиеся, вечно ищущие, полные тревоги, понимающие, что такое трагедия, должны посчитаться с вопросами, которые так остро поднял этот искренний и своеобразный человек. Шестова я считаю крупной величиной и очень значительным симптомом, он объявил войну здравому смыслу».

Однако, далее Бердяев замечает по поводу «Апофеоза беспочвенности»: — «Мне жаль, что беспочвенность начала писать свой 'Апофеоз'. Тут она делается догматической, не-

смотря на подзаголовок 'Опыт адогматического мышления'. Потерявшая всякую надежду, беспочвенность превращается в своеобразную систему успокоения. Ведь абсолютный скептицизм так же может убить тревожные искания, как и абсолютный догматизм... Беспочвенность, трагическая беспочвенность не может иметь другого 'апофеоза', кроме религиозного и тогда уже положительного. Трагический мотив ослабел в 'Апофеозе', и в этом есть что-то трагически фатальное».

Эти замечания Бердяева, как нам кажется, попадают в больные места шестовской концепции (если можно говорить о концепции у мыслителя, объявившего войну не только философским системам, но и самому разуму).

Во всяком случае, Шестов не хотел оставаться в долгу и ответил Бердяеву статьей, полной иронии, под заглавием 'Похвала Глупости'. В начале этой статьи Шестов подчеркивает, что, в отличие от Эразма Роттердамского, его похвалу глупости нужно понимать не иронически, а всерьез — что он хочет в ней воспеть Глупость (с большой буквы).

Далее, Шестов с сарказмом замечает, что трудно уследить за эволюцией взглядов Бердяева, от марксизма пришедшего к идеализму, с тем, чтобы затем на полных парах перейти к православной ортодоксии. «Бердяев стал православным философом, еще не успев затвердить как следует символ веры».

«На страницах 'Вопросов Жизни' — пишет далее Шестов, — перед нами разворачивается история перехода Бердяева от метафизики к верующему христианину, — перехода, который поражает особенно своей внезапностью. Даже для Бердяева это чересчур резко. Он стал христианином, не успев заучить всех слов символа веры. Эта метаморфоза явно произошла за порогом сознания, ибо в его первой статье в 'Вопросах Жизни', в которой он впервые начал говорить о Боге, о Христе и тому подобном, он колеблется, становится косноязычным, обнаруживая все признаки человека, который очутился в странной, неизвестной стране, где он должен нащупывать путь наугад».

Далее, Шестов обращает внимание на иррационализм Бердяева, хотя этот иррационализм представляется ему недостаточно радикальным и последовательным. «В 'Борьбе за идеализм' Бердяев стоял еще на кантовских позициях, затем же он объявил войну здравому смыслу».

Шестов приветствует преодоление здравого смысла —

этого исконного врага философии (отсюда выйдет его знаменитое «преодоление самоочевидностей»), но тут же проводит различие между собой и Бердяевым. «Мы оба ненавидели всякого рода 'ratio', противопоставляя ему, Бердяев — Высший Разум, я — Глупость».

Заметим, что в тот период (1907-ой год) Бердяев, еще находившийся под сильным влиянием немецкого идеализма, и не проникшийся еще в своем мышлении достаточно духом христианства, пользовался термином «высший разум», вместо более характерных для его зрелого периода терминов «бого-человеческая духовность», «свободный дух» и т. д.

Шестов находит, однако, что Бердяев идет недостаточно далеко в своем преодолении «ratio», что даже в высшем разуме сохраняется привкус ненавистного Шестову рационализма. Мало того, Шестов упрекает Бердяева в новом догматизме, — вопреки всему прославлению им свободы. А догматизм, замечает Шестов, даже «динамический», есть исконный враг истины и критической философии.

Статья Шестова кончается иронической похвалой:

«Бердяев, несомненно, человек очень даровитый и в нашей литературе найдутся немногие, которые владели бы его искусством опорачивать здравый смысл и возвеличивать Глупость. Приветствую книгу Бердяева и воспетую в ней Глупость».

Эта первая публичная полемика двух философов носит сравнительно сдержанный характер. Но есть все основания полагать, что устная полемика между ними отличалась крайней ожесточенностью. Как свидетельствует биограф Бердяева, Дональд Лоури, Шестов рассказывал впоследствии писателю Ремизову, что, в пылу полемики, Бердяев нередко кричал на Шестова, защищая свои идеи, что иногда он даже отказывался слушать своего оппонента, стуча кулаком по столу, причем его схватывали спазмы, тик и т. д.

Зная несдержанность Бердяева в личных спорах и его склонность к вспышкам гнева, можно полагать, что в спорах с Шестовым, Бердяев доводил дело до грани разрыва. Но до этой грани в случае Шестова все же не дошло, несмотря на то, что Бердяев порвал дружбу чуть ли не со всеми своими коллегами и прекратил отношения чуть ли не со всеми своими былыми друзьями. (Одна из глав книги Лоури о Бердяеве так и называется — «разорванные дружбы», — в этот список включены, помимо прочих — Мережковский, Гиппиус, Вышеславцев, Карташев...).

Наоборот, дружба между Бердяевым и Шестовым с течением времени все крепла. Лоури пишет по этому поводу: «Бердяев называл своего еврейского друга Шестова самым замечательным человеком, — и одним из лучших людей, с которыми сводила его судьба...» По свидетельству самого Бердяева — «моя дружба с ним даже укрепилась (в эмигрантский период, в Париже) с Киевских и Московских дней. Он — единственный человек, с которым я мог говорить о проблемах... представляющих чрезвычайную важность для нас обоих».

Разумеется, высоко ценил Бердяева и Шестов. Помимо отдельных рецензий на книги Бердяева, в этом можно убедиться из его большой статьи о Бердяеве, помещенной в «Современных Записках» в 1938 году — год смерти Шестова. Статья эта является одной из последних, написанных Шестовым. Она написана по поводу вышедшей незадолго перед тем книги Бердяева «Дух и Реальность», но в ней содержится и общая оценка Бердяева и, конечно, возражения ему.

Статья Шестова носит характерный для него подзаголовок «Гнозис и экзистенциальная философия». В ней он противопоставляет умозрения Бердяева (к которым он относится довольно отрицательно) — его подлинно «экзистенциальным» идеям. По своей основной мысли и структуре, статья напоминает этюд Шестова о Владимире Соловьеве, носящий подзаголовок — «Умозрение и Апокалипсис».

Шестов начинает свою статью с констатирования того, что Бердяев — наиболее читаемый и почитаемый на Западе русский философ, и что его на Западе знают больше, чем какого-либо иного русского мыслителя, не исключая Владимира Соловьева. Помимо высокой талантливости Бердяева, по мнению Шестова, он умеет говорить о самых насущных проблемах современной эпохи, и по новому ставить вечные вопросы бытия и мышления.

Но центр тяжести статьи Шестова заключается не в славословии Бердяева — а в продолжении старого спора с ним. «Прежде он (Бердяев) говорил только о 'гнозисе', — замечает Шестов, теперь он говорит об экзистенциальной философии». Этот поворот в сторону экзистенциализма, конечно, приветствуется Шестовым — старым противником гнозиса. Оба мыслителя к тому времени (конец 30-х годов) осознали свое глубокое родство с основателем экзистенциальной философии, Киркегардом.

Но Шестов находит, что и в свой экзистенциализм Бердяев вносит элементы ненавистного Шестову гнозиса. Отмечая новое возвращение Бердяева к Канту (упрек не совсем основательный, ибо Бердяев всегда сознавал себя ближе к Канту, чем к другим немецким идеалистам, — даже и в свой «марксистский» период), Шестов замечает, что Бердяев хочет как бы «повторить коперниканский подвиг» кенигсбергского философа. Он приводит при этом цитату из Бердяева — «тайна реальности раскрывается не в сосредоточивании на объекте, предмете, а в обращенности на акт, совершаемый субъектом».

Но, продолжает Шестов, подобно Канту, Бердяев вносит в субъект закономерности и императивы. «Принуждение и связанности, — пишет он, — прилаживаются к субъекту не хуже, чем к объекту».

Это шестовское возражение, однако, бьет мимо цели, поскольку Бердяев в зрелых редакциях своего учения всегда настаивал на том, что источник творчества и свободы — в самом субъекте, и что принуждение и связанности входят в силу в «мире объектов» — в том, что он называет «объективацией» (в то время как самое «я» — необъективируемо).

Однако, Шестов находит у Бердяева принуждение и связанности именно там, где, казалось бы, они должны отсутствовать по определению, то-есть, в бердяевской идее о «несотворенной свободе». Ведь свобода, которую Бердяев, вслед за Августином, называет «либертас майор» — есть возможность всего, и о связанностях можно говорить лишь в отношении к продуктам свободы, кристаллизующимся в мире объективации. Но Шестов обращает внимание на то, что у Бердяева «Бог-Творец не всемогущ над бытием», то-есть, свобода самого Творца оказывается ограниченной — хотя бы той же «премирной свободой», идея которой, как это особенно подчеркивает Шестов (и что не скрывает Бердяев) взята у Якова Беме.

Следуя этому ходу мысли, он задает Бердяеву остроумно-коварный вопрос: «как же можно требовать и ждать от человека, что он сделает то, чего и Бог сделать не в силах». Повторяем, что этому замечанию Шестова нельзя отказать в остроумии, и что оно попадает в какое-то слабое место бердяевской концепции. Но он как бы упускает из виду то, что человек оказывается у Бердяева одаренным сверхчеловеческим даром свободы, и что говорить об «ограничении субъ-

екта» свободы по отношению к Бердяеву было бы неоправданным.

Шестов искусно наводит свое увеличительное стекло на слабости бердяевской теодицеи — на его идею о бессилии Бога уничтожить зло без помощи человека — без сублимации несотворенной свободы, без просвещения ее темной бездны божественным светом, с согласия самой свободы. Шестов ставит Бердяеву роковой вопрос Достоевского: «стоит ли познавать это чортово добро и зло»... — которое не стоит слезинки замученного ребенка... ради торжества преображения несотворенной свободы? В самой идее несотворенной свободы он видит утонченное наследие гнозиса — попытки сверхразумными средствами оправдать божественный разум. В этом отношении, по мнению Шестова, теодицея Бердяева ничуть не лучше традиционной теодицеи. Дело, по его мнению, не меняется от того, приносятся ли человеческие жертвы во имя вящей славы Божией (как в традиционной теодицее), или ради несотворенной свободы. Ибо тогда, отрицая всемогущество Божие, Бердяев, по его мнению, этим самым утверждает всемогущество Свободы. Бердяевская свобода, по толкованию Шестова, сама предопределена, — она не освобождает, а накладывает на человека новые цепи. Ибо при признании всемогущества Божия, человек мог надеяться именно на это всемогущество. Но, если сам Бог не всемогущ, то над человеком тяготеет «рок свободы».

«Сколько бы они (умозрители — в том числе Бердяев) не говорили о Боге и свободе, как бы они не превозносили разум, — истина остается для них истиной принудительной: Бог не властен над Ничто».

И Шестов при этом цитирует слова Бердяева: — «Бог-Творец всемогущ над бытием, но не всемогущ над небытием, над несотворенной свободой...»

Этому ложному, по его мнению, пониманию свободы, Шестов противопоставляет свое понимание, основывающееся на вере в благое всемогущество Творца (характерно, что Шестов приводит при этом слова Киркегарда — «Бог есть — значит всё возможно»).

«Перед лицом Творца в человеке оживает подлинная, сотворенная Богом свобода, которая есть ничем не ограниченная, беспредельная возможность как свобода самого Творца».

Статья Шестова заканчивается знаменательными слова-

ми: «Начало премудрости есть страх Божий, а не страх перед Ничто, Свобода же приходит к человеку не от знания, а от веры, полагающей конец всем нашим страхам».

В этих словах Шестов снова пускает меткую стрелу в самую сердцевину бердяевской концепции — и приоткрывает свою собственную. Но несмотря на эту острую критику, Шестов воздаст должное Бердяеву как философу, оказывающему благотворное влияние на умы современников: — «Бердяев — прежде всего учитель и философ культуры. Его задача — поднять уровень человеческого сознания... В наше смутное и мрачное время предостерегающий и поучающий голос Бердяева, его благородная борьба с мракобесием и обскурантизмом, с попытками угашения духа имеет огромное значение».

Эта статья Шестова — одновременно новое свидетельство его оппозиции Бердяеву, и как бы прощальное признание заслуг Бердяева. Вскоре после напечатания этой статьи, Шестов скончался.

В том же, 1938 году, Бердяев поместил в своем журнале «Путь» большой некролог Шестову, в котором как бы подводит итоги спору с ним и дает высокую оценку своему противнику.

В своем некрологе Бердяев прежде всего отдает должное тому характеру шестовской философии, который роднил ее с его собственной — его органической экзистенциальности: — «Лев Шестов был философом, который философствовал всем своим существом, для которого философия была не академической специальностью, а делом жизни и смерти». Далее Бердяев отмечает «однодумность» философии Шестова, его искание «единого на потребу». И тут же характеризует его основную тему: — «Он искал Бога, искал освобождения человека от власти Необходимости».

«Философия его, — продолжает Бердяев, — принадлежала к типу философии экзистенциализма. Для Шестова человеческая трагедия, ужасы и страдания жизни, переживания безнадежности были источниками его философии...»

Говоря об эволюции Шестова от радикального скептицизма к религиозному осознанию апологии подвига веры, он по-бердяевски метко определяет этот путь. «Он шел от Ницше к Библии».

Далее Бердяев подчеркивает, что для Шестова вера и свобода, в сущности, совпадали, и что его борьба против ти-

рании разума одушевлялась именно этими «веросознательными» мотивами: — «Лев Шестов борется против власти познания, подчиняющего человека — закону — во имя освобождения жизни».

«Он боролся против тирании разума... на территории самого познания прибегая к орудиям самого разума».

С. Левицкий

НОВАЯ ЭРА

Международная политика наших дней крайне усложнилась. Ее стало трудно понимать и, несомненно, еще труднее направлять. Ее сложность не только в том, что современная международная политика взаимосвязана и переплетена со многими разнородными факторами, но также и в том, что эти факторы сами предстают теперь в ином, усложненном виде.

Рассуждать об изменениях, происходящих в международной политике, значит рассуждать **одновременно** о таких, казалось бы, разных вещах, как основные линии развития коммунистического и некоммунистического миров и изменения в военной технологии. Вопрос о войне и мире или защита принципа мирного сосуществования обуславливается ведь не столько миролюбием Хрущева, сколько его пониманием, что на данном и, несомненно, будущем этапе военной технологии настоящая атомная война неминуемо приведет к взаимоуничтожению. Известное ослабление динамики коммунистической экспансии обусловлено не столько субъективным ослаблением революционного рвения коммунистических вождей, сколько сознанием тех больших перемен, которые произошли за последнее десятилетие в обоих лагерях — и в коммунистическом и в некоммунистическом. Причем, важны не только действительно произошедшие изменения сами по себе, но характерно и то, как эти изменения преломлялись в официальном коммунистическом мировоззрении десять лет тому назад и как они преломляются сейчас.

* * *

В последние годы правления Сталина и в первые годы после его смерти международная политическая обстановка не была так сложна. Ее основной смысл, и в Советском Союзе и, в известной степени, на Западе, выражался в борьбе — дипломатической, экономической, политической, а иногда и военной (Корея) — между двумя, считалось, непримиримыми блоками. Цели и тактические приемы этой борьбы были, сравнительно, ясны и прямолинейны. Соппротивление «с позиции

силы» или «сдерживание» (пользуясь термином Кеннана) коммунистической экспансии было непосредственной целью, и непримиримость Даллеса казалась действенным средством для достижения этой цели. Хотя некоторые и считали эту концепцию упрощенной, никто не мог предложить другую, альтернативную концепцию и путей ее осуществления.

Прямолинейность, схематичность или «однопланность», казалось, была также уделом и коммунистического лагеря. Окрыленная китайской победой, коммунистическая экспансия представлялась, по крайней мере, согласно официальным канонам, неминуемой и шедшей по пути деколонизации азиатско-африканских стран. «Империалистический» мир, лишенный колоний, казался коммунистам обреченным на взаимно-раздирающие противоречия и борьбу, как в плане международном, так и в плане национальном.

Вспомним, что писал и говорил Сталин за шесть месяцев до его смерти, на девятнадцатом съезде КПСС в октябре 1952 года. Он говорил о неизбежности взаимно-ослабляющей борьбы Соединенных Штатов и Японии, тех же США и возрождающейся Германии или Франции; причем Сталин имел в виду не только разногласия по разным вопросам, которые действительно имели и имеют место и сейчас между этими странами, а борьбу, не исключающую даже войны. Сталин тогда больше верил в войну между «империалистическими» странами, чем в войну тех же стран против стран «социализма».

В развитии экономики западных стран он предвидел, что, в результате неизбежного обнищания пролетариата и обострения классовой борьбы, иностранным компартиям (вожди которых присутствовали на съезде) уготована роль аналогичная той, которую сыграла победоносная партия Советского Союза.

Разумеется, почти все, что говорил Сталин в октябре 1952 года, говорилось и после его смерти, на последующих съездах и при других okazиях. Однако, это «почти» — чрезвычайно существенно. Говорилось то говорилось, но уже не так, а с существенными поправками или без былого напора. О хищнической взаимной борьбе империалистических стран иногда говорится и теперь, но, при наличии таких учреждений как Общий Рынок или Атлантический Союз, уже не с прежней убедительностью. Вопреки предвидениям, деколонизация вовсе не оказалась катастрофическим событием для империалистических стран и деколонизированные народы вовсе не прыгнули из ада империализма в рай коммунизма. Об обни-

шании пролетариата и обострении классовой борьбы в таких «ведущих империалистических» странах как США, Западная Германия, Франция или Англия в коммунистической литературе иногда говорится, но все реже и реже. О полицентризме или расколе коммунистического движения тогда, разумеется, не говорилось. Наоборот, коммунистический мир казался монолитом и ничто не предвещало его распада.

Дело, конечно, не только в том, что говорилось тогда и говорится теперь. Дело в том, что на советских верхах с некоторых пор явно обеспокоены так называемой «эрозией» коммунистического мировоззрения. Зная, что посредством радио, газет или книг новейшие западные идеи и теории в области социологии, экономики, философии и искусства проникают в некоторые ведущие круги Советского Союза, официальные идеологи и охранители пытаются эти идеи дискредитировать, «доказав», разумеется, предварительно их несостоятельность.

Такая попытка, в широком масштабе, была, например, сделана на состоявшейся в июле 1963 года в Москве «научной» конференции, посвященной идеологической борьбе. В некоторых докладах этой конференции сравнительно объективно передавались мысли и выводы западных ученых относительно «устарелости марксизма». В докладах, опубликованных в журнале № 8 «Международная жизнь», цитировались труды таких видных американских авторов как экономист Уолт Ростоу, историк Артур Шлезингер, социолог Адольф Берли и многих других. По выступлениям докладчиков легко было убедиться, что основной упор советской пропаганды (наряду, разумеется, с борьбой против китайского «догматизма») направлен сейчас против популярной в некоторых западных кругах мысли о сближении «капитализма» и «социализма», сближении, в результате которого взаимная идеологическая борьба должна потерять свой *raison d'être*.

В своем полемическом желании доказать ошибочность мыслей западных авторов, докладчики приводили выдержки, которые в свете советской действительности, звучали, мне кажется, весьма крамольно. Так, например, указывалось, что, согласно западным ученым, «социализм постепенно утрачивает свою силу», ибо:

«Ликвидация частной собственности лишила социалистическое общество внутренних стимулов развития и вынудила его стать на путь «тоталитарного принужде-

ния», что породило конфликт между обществом и личностью, между производством и потреблением...

Ввиду неизменности природы человека, ввиду присущего человеку индивидуализма, претворение в жизнь идеалов коммунизма невозможно. Будущим человечества является не коммунизм или старый капитализм, а смешанное общество, к которому ведут принудительные экономические императивы, вынуждающие социализм к перерождению, а капитализм — к известной трансформации, и сливающие их в единый строй».

Докладчик В. В. Картунов огласил такую цитату из книги А. Шлезингера:

«...Классический капитализм и классический социализм — это теории XIX века. Они были сметены бурным прогрессом науки и техники. Я предложил бы выбросить из интеллектуального диалога термины «капитализм» и «социализм», ибо эти слова уже не имеют конкретного значения».

А отсюда, резонно заключает Картунов, «один шаг к тезису о возможности мирного сосуществования капиталистической и социалистической идеологии».

И, как будто предугадывая ход мыслей советского идеолога, «правый» английский лейборист Мэйхью задает такой каверзный вопрос:

«В конце концов, даже если мы будем считать, что пропасть между ними (коммунизмом и свободным миром, — Д. А.) непреодолима, почему мы должны придерживаться мнения, что отношения между ними должны сводиться к вражде и «борьбе»? Почему это не могут быть отношения, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве?»

Но советский идеолог сетует,

«Нынешний капитализм его защитники пытаются изобразить как общество, якобы преодолевшее все противоречия и озабоченное главным образом сохранением свободы личности и обеспечением благосостояния народа. Согласно так называемой теории стадий, разработанной советником президента США У. Ростоу, момент прибыли уже «потерял» свое значение в США и противоречия между трудом и капиталом как бы растворились в фазе «высокого уровня народного потребления».

А американский экономист Джон Данлоп дошел до еще более смелого утверждения, заявив, что «процесс эксплуа-

тации в сегодняшней капиталистической Америке диаметрально противоположен тому процессу, который описан Карлом Марксом. Маркс полагал, что капитал эксплуатирует труд. В современной Америке труд эксплуатирует капитал, науку и технические знания».

«Есть ли резон вести борьбу против **такого** общества?» — риторически восклицает Кортунов, добавляя, что именно к такому выводу «современные антикоммунисты хотели бы подвести трудящихся».

Разумеется, вооруженные марксизмом-ленинизмом, докладчики без труда «разгромили» «жалкие потуги» западных ученых. Но, при чтении докладов все же чувствуется, что от этого «разгрома» им как-то не по себе. «Однопланные», схематические доводы не попадают больше в цель. Жизнь — «капиталистическая» и «социалистическая» стали более сложны и «многопланны».

* * *

Десять лет тому назад «однопланность» была присуща и пониманию коммунистами советского внутреннего развития. Построение социализма или коммунизма сводилось, по существу, к осуществлению определенного числа пятилеток. Остатки классовой борьбы, пережитки во всех областях, старорежимная психология и тяга к собственности — всё это было «в основном» или «начерно» разрешено и ликвидировано. Именно, начерно. Коллективный строй, казалось, окончательно победил не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве. Сталин тогда, именно к девятнадцатому съезду, преподнес свои «Экономические проблемы социализма в СССР», в которых он предвидел, правда, не в скором будущем, перевод последних остатков «кооперативной собственности» (которые, главным образом, окопались в колхозах) в «общенародную» или государственную собственность.

.И вот, прошло десять с лишним лет... и что же осталось от сих предвидений? Если бы наследники Сталина попытались сделать честный обзор, они пришли бы к весьма прискорбному выводу. «Начерно» оказалось самообманом. Оказалось, что «социализм» можно построить именно и только «в основном». Базу или фундамент можно, а надстройку, то-есть то, что предназначено для живых людей, нельзя. Подспудные «ретроградные» (как сказал бы Достоевский) пережитки выступили наружу и затопляют «в основном» почти законченное

здание социализма. Те дамбы и шлюзы, которые построил Сталин, применить нельзя, а новостроящиеся Хрушевым потока задержать не в состоянии...

Вопрос о колхозах, к примеру, действительно стоит на очереди; но, совсем не в том плане, в каком о нем мечтал Сталин. Коллективный строй, именно в сельском хозяйстве дал трещины, размеры которых не были предвидены ни на Западе, ни, повидимому, в Советском Союзе. Те, кто внимательно следили за советской печатью, могли убедиться, что «всероссийское разорение» 1963 года явилось не только или не столько последствием засухи или других климатических бедствий, но также, или главным образом, последствием нежелания крестьян работать. Дело не только или не столько в отсутствии «большой химии», удобрений или других панацей главноуговаривающего Хрущева. Дело в пассивности, незаинтересованности поработанного населения, и когда-то поднятый кнут и направленный на народ пистолет, сейчас положены в ящик стола. Разумеется, туеядцев иногда ссылают; спекулянтов, продающих яблоки и морковь по завышенным ценам иногда судят по «всей строгости закона». Но одно дело ссылка, тюрьма или смертный приговор в качестве устрашения; одно дело террор, носящий частный, но все же эпизодический характер, а другое дело — террор сталинский, террор перманентный, всеподавляющий, исключаящий сопротивление даже пассивное.

При наличии этой пассивности, распушенности и упадка дисциплины в колхозах и совхозах (о чем в советской печати сообщается очень много) можно ли надеяться на какие-то перемены? Малые реформы, аналогичные тем, которые Хрушевым были проведены в предыдущие годы, положение едва ли исправят. Серьезные реформы, включающие частичную или полную ликвидацию колхозной системы, могут, по цепной реакции, потребовать коренных реформ в других областях хозяйства и, в конечном итоге, поставить под угрозу всю систему. Ведь система-то — нельзя забывать — в основном держится на даровом или полударовом труде сельского населения. Заинтересовать последнее и заставить его работать ненасильственными методами, можно только путем радикального повышения теперешних, чрезвычайно низких цен на сельскохозяйственные продукты. Но такое повышение принудило бы власть значительно повысить также оплату миллионов рабочих и служащих, львиная часть бюджета которых уходит на питание. Может ли такая нерентабельная и бюро-

кратизированная фирма как Советский Союз найти выход из этого заколдованного круга без потрясений основ?

Кризис в советском сельском хозяйстве успел уже отразиться и на советской промышленности. Предпоследний пленум Ц. К. (декабрь, 1963), взявший радикальный курс на «хилизацию» страны, вынужден был также сделать большие изменения в планах развития промышленности. Некоторые западные специалисты советской экономики считают, что эти изменения фактически срывают семилетний план. Недаром исследователи Американского Разведывательного Агентства, располагающие, повидимому, не только материалами появляющимися в советской печати, пришли к заключению, что годовой рост советской промышленности за последние два года не достигал и 2,5 процентов, т. е. сильно отставал от годового роста западно-европейских стран и США. Эти исследователи считают, что одной из главных причин (помимо других) сильного замедления роста, является именно кризис советского сельского хозяйства. Интересно отметить, что те западные экономисты, которые пользуются (за неимением других) исключительно советскими данными, определяли, что годовой рост советской промышленности колеблется между 7-9 процентами.



Взаимная связь между уровнем военной технологии, соотношением военных сил между США и СССР (то-есть того, что сейчас называют «террором равновесия»), внутренними трудностями (в частности, недородом) в Советском Союзе, антимарксистским развитием западных и деколонизированных стран, с одной стороны, и ослаблением напряженности в отношениях между СССР и Западом, с другой стороны, кажется очевидным. Так же как в руководящих кругах США, в Москве, повидимому, пришли к выводу, что частичное приостановление ядерных испытаний не может принести серьезного ущерба мощи советского блока. Вдобавок, при скверном урожае, едва ли рекомендуется усиливать напряжение, тем более, что нужный стране и армии хлеб можно получить только у объекта этого напряжения. Кроме того, усиление напряженности, если оно не ослабляет экономически и политически противника, становится бесцельным. А опыт холодной войны именно доказал, что политика усиления напряженности содействовала, во-первых, развитию экономики западных стран, во-вторых, их политическому и военному сближению.

К вышеупомянутым факторам, которые способствовали разрядке политической атмосферы, следует прибавить и еще один, а именно, обострение отношений между Советским Союзом и коммунистическим Китаем.

Список китайских обид и претензий, как известно, очень длинен. Он включает такие актуальные вопросы как советская политика и «капитуляция» на Кубе, советская помощь индусскому «агрессору», советская недооценка важности будущих революций в афро-азиатских странах. Китайцы с презрением относятся к теории Хрущева о мирном сосуществовании и экономическом соревновании. Считая, что «природа капитализма не изменилась» и не изменится, они энергично (по крайней мере, на словах) противятся соглашениям с Западом. Легкомысленно (опять-таки на словах) относясь к возможным последствиям атомной войны, они объявляют предложение о «полном и всеобщем» разоружении «сознательной попыткой обмануть народы». Наконец, помимо вопросов мировой политики, коммунистической тактики и стратегии, спор охватывает целый ряд вопросов, касающихся непосредственных отношений Китая и СССР. Тут и намеки на китайские притязания на некоторые советские территории, тут и критика новой программы КПСС и, особенно, ее тезиса о том, что в СССР «общенародное государство» заменило «диктатуру пролетариата»; тут, разумеется, и разногласия по поводу исторической роли Сталина.

Этот далеко не исчерпывающий перечень разногласий и взаимных обвинений явно пронизан характерной для коммунистов амальгамой. Наряду с серьезными, истинными и конкретными спорами и разногласиями, имеются споры искусственно прицепленные, академические и демагогические.

Китайское «легкомысленное» отношение к возможным последствиям термоядерной войны явно объясняется безответственностью, вернее, сознанием, как правильно указано в одном из советских «открытых писем», что атомная мощь СССР охраняет также и Китай. Пекин на словах противится соглашениям с Западом, а на деле пытается завязать тесные торговые отношения с Францией, Англией и Японией. Амальгама, повидимому, нужна для более веского обоснования тех реальных конфликтов, которые действительно затрагивают «кровные» интересы и Китая и СССР. Каковы же они?

Не буду касаться большого и сложного вопроса об опасности демографического давления Китая на восточную часть СССР, ни связанных с этим весьма прозрачно сформулиро-

ванных китайских притязаний на некоторые советские территории. «Желтая опасность» пока только потенциальная опасность, а с точки зрения военной и экономической, Китай, ни сейчас, ни в ближайшем будущем серьезной опасности для России не представляет.

Действительные и главные причины разрыва следует, мне думается, разделить на две группы. Первая группа состоит из причин, вытекающих из «разницы в возрастах» русской и китайской революций, и во взглядах вождей этих двух коммунистических режимов на настоящее и будущее.

Китайские руководители, повидимому, обеспокоены общим ходом или эволюцией русской революции, ее разложением и «обуржуазиванием». В советской печати и в советской действительности (в СССР обучалось много тысяч китайских студентов) они находят бесконечно много фактов, подтверждающих, что в Советском Союзе нарождается «новый класс», и что революция, в целом, медленно, но верно, вырождается. Многие из китайских руководителей, особенно те, кто еще сохранил революционный пыл, вероятно пришли к заключению, что такая разложившаяся партия как КПСС и такая «обуржуазившаяся» страна как СССР не могут серьезно руководить борьбой за дальнейшую и окончательную победу коммунизма. Они понимают, что несмотря на революционную фразеологию, которой советские вожди иногда (кстати, довольно редко) пользуются при подходящих случаях, революционный дух в стране и партии безвозвратно угас. Вождями КПСС они уже сравнивают с вождями реформистского Второго Интернационала; и при этом вспоминают филиппики Ленина по адресу «рабочей аристократии», вспоминают его решительную и успешную борьбу в начале первой мировой войны против германской социал-демократии и приходят к заключению, что «угнетенным» народам Азии, Африки и Латинской Америки нужны руководители совсем другого закала.

Начало советско-китайского конфликта, повидимому, относится к 1955-57 годам. Профессор Збигнев Бжезинский, директор исследовательского института по вопросам коммунизма при Колумбийском Университете, считает, что этот конфликт обострился осенью 1957-го года, когда Советы успешно запустили континентальные баллистические снаряды и спутник. Считая, что эти события показали военный и технический перевес коммунистического блока, китайцы начали настаивать на том, что это преимущество следует использовать. «Боязнь войны ведет к боязни революции», — утверждали

они. Но они скоро убедились, что «обладание средствами» (для революционной политики) недостаточно, если «воля отсутствует».¹

Вторую группу причин, тесно связанную и одновременно противостоящую первой, следует, повидимому, искать в тех больших изменениях советской внешней политики, которые Хрущев начал проводить в 1955 году.

В чем была суть этих изменений?

В своей чрезвычайно интересной, хотя местами спорной, статье, озаглавленной «Молотов и Пекин», опубликованной в сентябрьском выпуске французского ежемесячника *Preuves*, Эрнст Гальперин, автор книги о Тито и Джиласе, утверждает, что суть этих изменений заключается в переходе от «пассивной» и «оборонительной» политики Молотова к «динамической» и «экспансионистской» политике Хрущева. Звучит это, на первый взгляд, парадоксально. Молотов, этот заядлый сталинец — и «пассивность». Хрущев, этот глашатай мирного сосуществования — и «экспансия». Однако, как верно указывает автор статьи, на Западе часто имеют правратное представление об истинных намерениях коммунистических руководителей. Мы их часто судим не по делам, а по словам. А для коммунистов слова служат часто только прикрытием и маскировкой истинных целей. Так, например, Молотов оправдывал свою политику невмешательства в афроазиатские дела ультра-левыми осуждениями и иногда ругательствами по адресу Неру, Нассера, Сукарно и других, которые, будучи, по его словам, «марионетками» или «агентами империализма» не заслуживали помощи со стороны коммунистического блока. Слова были жесткие; в действительности же Молотов давал понять, что Советы готовы проводить политику невмешательства и что деколонизированные страны остаются в сфере влияния Запада, пока... местные коммунисты там не захватят власть, возможность, в которую Молотов, конечно, верил очень мало.

Итак, ультра-левые фразы (как это, кстати, случалось не раз в истории коммунизма) служат иногда прикрытием для отступления. Наоборот, миролюбивый или «согласительский» язык служит иногда прикрытием для экспансии. Так, прикрываясь повторными заявлениями о мире и мирном сосуществовании, Хрущев начал сознательно проводить экспансионистскую политику, целью которой было советское проникнове-

¹ Foreign Affairs, April, 1961

ние в Африку, юго-восточную Азию и Латинскую Америку. «Из всех правительств, чьи интересы были затронуты экспансионистской политикой Хрущева, — пишет Э. Гальперин, — только одно поняло истинное значение его красивых фраз о сосуществовании и мире. Это было правительство коммунистического Китая».

Уже в 1955 году китайцы начали высказывать свое недовольство политикой Хрущева. В ноябре и декабре этого года, в дни памятного путешествия Хрущева и Булганина по Азии, печать всех коммунистических партий и стран была полна описаниями энтузиазма, якобы проявленного населением Индии и других азиатских стран; всех, кроме одной: Китая. Последний почти замалчивал триумфальное турне первого секретаря КПСС и председателя Совета Министров Советского Союза.

Причины, вызвавшие враждебность Китая к советскому проникновению в Азию и Африку, едва ли нуждаются в объяснениях. Рассматривая (с известным правом, надо сказать) военную и экономическую помощь, оказываемую Советами Индии, как угрозу и провокацию по отношению к ним, китайцы задались целью устранить влияние Москвы в юго-восточной Азии вообще, и в Индии, в частности. Позволительно думать, что позиция Китая в этом вопросе могла встретить поддержку не только в разных коммунистических партиях, но и в некоторой части самого руководства Советского Союза. Ведь нельзя забывать, что экспансионистская политика, которая за восемь лет стоила России миллиарды, почти не оправдалась. Ни в Африке, ни в Азии и ни в арабских странах,² советская экономическая и военная помощь не способствовала приходу к власти коммунистов или надежных попутчиков. Исключением была Куба. Однако, эта победа предстает, вопервых, в свете прошлогодней советской капитуляции, во-вторых, в свете реверансов Кастро Китаю, в весьма сомнительном виде. С другой стороны, если придерживаться изложенного здесь тезиса, выходит, что за свою экспансионистскую политику не приведшую к ощутительным результатам, Хрущев заплатил не только миллиардами, но и разрывом с Китаем и с целым рядом других коммунистических партий. Инте-

² С известной натяжкой можно говорить о советском влиянии в таких неустойчивых и третьестепенных странах как Гана и Гвинея.

ресно, что новое обострение отношений между Китаем и СССР совпало с поездками Брежнева в Афганистан и Иран, с одной стороны, и Чжоу Эн Лая в целый ряд африканских и азиатских стран, с другой. Это только подтверждает, что борьба за сферы влияния в экономически неразвитых странах является одной из главных причин конфликта.

Принято думать, что происшедший пока еще неофициальный и неокончательный раскол в коммунистическом движении, разделяет коммунизм, в основном, на две неравные части: азиатскую, во главе с Пекином, европейско-американскую, во главе с Москвой. Верно, что прокитайские элементы, особенно сильны в Северной Корее и Северном Вьетнаме, в компартиях Японии, Индонезии, Бирмы и Индии. Верно также и то, что большинство (но не все) европейских, африканских, южноамериканских партий официально следуют за Москвой. Надо, однако, иметь в виду, что если раскол будет закреплен окончательно, Пекин, вероятно, попытается расколоть все компартии. Причем, надо полагать, что прокитайская оппозиция, поддержанная материально и политически Пекином, имеет, в отличие от предыдущих недолговечных коммунистических оппозиций, значительные шансы на длительное существование. В прокитайские оппозиционные партии, вероятно, влились бы наиболее динамичные и фанатичные элементы коммунизма, те, которых во Франции называют *les purs et les durs*. Наоборот, в промосковских партиях, вероятно, остались бы элементы «реформистские» и карьеристские.

По мере развития событий, все больше выясняется, что в некоторых компартиях официальные промосковские позиции высшего руководства начинают ослабевать и эти руководители все больше склоняются к какому-то своеобразному коммунистическому нейтралizmu. Не разделяя китайских политических установок, некоторые партии, тем не менее, настаивают на необходимости возобновления непосредственных китайско-советских переговоров. Такие настроения, повидимому, очень сильны в британской, итальянской и румынской компартиях, которые до сих пор считались про-московскими. Надо полагать, что, благодаря давлению этой «третьей силы» в коммунистическом движении, Хрущев вынужден был неоднократно за последние месяцы пойти на уступки в этом вопросе. Этим, вероятно, объясняются его, удивившие всех повторные примирительные заявления по адресу китайцев и его предложения приостановить полемику.

Значение советско-китайского разрыва велико. Тут позволительно было бы даже применить советскую терминологию и назвать этот разрыв «всемирно-историческим». Он, фактически, раскалывает и, тем самым, ослабляет мировое коммунистическое движение. Раскол как бы санкционирует не только уже сущий, но и будущий полицентризм и этим может способствовать усилению независимости компартий, особенно таких, как итальянская и французская, вынужденных считаться с настроениями своих народов. Раскол коммунистического движения может содействовать, разумеется, в будущем «национализации» компартий, которые до сих пор были и продолжают пока быть агентами чужой страны. Разрыв доказал, что при всей их интернационалистической фразеологии, коммунистические страны (но пока еще не компартии в буржуазных странах) должны, в первую очередь, считаться с их национальными интересами и амбициями.

По логике вещей советско-китайский конфликт должен уменьшить опасность войны между Советским Союзом и Западом и это независимо от того, будет ли конфликт доведен до окончательного раскола или будет «разрешен» каким-то компромиссом. В результате этого конфликта Китай стал, **при всех условиях**, для России ненадежным союзником. При всей его военной и экономической слабости, Китай потенциально **уже** угрожает России; со своей стороны, эта потенциальная угроза с востока связывает Советскому Союзу руки на Западе... При ненадежном тыле на востоке едва ли можно пуститься в большие и рискованные военно-политические предприятия на западе.

Многие полагают, что подписание Московского договора о частичном запрещении ядерных испытаний, явилось, главным образом, следствием совпавшего во времени советско-китайского разрыва. В связи с этим, некоторые комментаторы и политики сделали поспешные и неоправданно-оптимистические выводы не только о возможности, но и о неминуемости переориентации внешней политики Советского Союза. Им почудилось, что в воздухе запахло чуть ли не американо-советским союзом, направленным против Китая. О такой возможности с ужасом, разумеется, даже открыто писал Пекин. С другой стороны, другие (к ним принадлежат Конрад Аденауэр и, до известной степени, генерал де Голль) полагают, что ни московский договор, ни китайско-советский конфликт не

изменили существенно международную расстановку сил. Враждующие коммунисты могут помириться, а Москва может нарушить договор, когда ей это будет выгодно. Цель коммунистических маневров, согласно этой точке зрения, остается неизменной: ослабить, разъединить западный мир и, в первую очередь, Атлантический Союз.

Однако, помимо политики «дальнего прицела», советско-китайский конфликт ставит перед Западом вопросы конкретные, вопросы сегодняшнего дня. Если исходить из положения, что конфликт «в общем и целом» соответствует интересам Запада, то, логично, надо его поощрять и углублять; надо, следовательно, избегать действий, которые бы **заставили** враждующие стороны примириться. В реальности это значит, что Запад вынужден, в целях предотвращения экономической и политической изоляции и Китая и Советского Союза, помогать и первому и второму. Иначе, Запад как бы невольно потворствует их примирению. Другими словами, международная обстановка начинает меняться. Мир, состоявший раньше из двух (если не считать мало-решающих, нейтральных) полярных объединений, становится многоблоковым. Из замороженного, однопланного и недвижущегося, он становится многопланным и плюралистическим.

Запад **уже** снабжает СССР хлебом, а французские (и отчасти английские и японские) фирмы ведут переговоры о поставках Китаю машин, нефти, тракторов, электронных приборов и аэропланов. «Фашистская» Испания уже помогает Кубе, явно не без согласия добродетельного Советского Союза. Чжоу Эн Лай говорит о «нормализации» отношений между Китаем и Францией. А Франция признала коммунистический Китай. Англия посылает на Кубу автобусы, а американский помощник статс-секретаря Гильшам высказывается об условиях, при которых американо-китайские отношения могли бы измениться. Индия с облегчением сообщает о переброске китайских войск из Тибета в Синкьянг, а американская печать приводит сообщения о том, что Советы подвозят подкрепления к тому же Синкьянгу. Наконец, даже казалось бы, неисправимый Китай заявляет, устами своего премьера, что «война не неизбежна» и что «мирное сосуществование различных социальных систем возможно» (интервью Чжоу Эн-Лая, данное представителю французского радио, 31-го декабря 1963 года).

* * *

Начинается эра больших политических маневров. Именно

начинается. О направлении и смысле этих маневров в будущем, когда коммунистический Китай — экспансионистский и агрессивный по своей природе, — с одной стороны, и вся Западная Европа, включающая разделенную, но не забывшую об объединении, Германию, с другой стороны, получают атомное оружие, можно только гадать.

Д. Аннин

О «ТРЕТЬЕЙ ЭКОНОМИКЕ»

Многие авторы, экономисты и неэкономисты, неоднократно высказывали мнение, что капитализма в его классической форме больше не существует. С другой стороны нередко можно слышать утверждение, что мир неуклонно движется к социализму. Правильны ли эти утверждения? Ответ в большой степени зависит от того, что мы понимаем под «капитализмом», и под «социализмом».

Если под социализмом мы условимся понимать не законченную систему, а определенную направленность экономики, отражающую социальный гуманизм, то, пожалуй, можно будет согласиться с тем, что мир движется к социализму. Но — что считать «капитализмом»?

Известно, что в политической экономии термин «капитал» обозначает один из трех основных факторов производства: природа, труд и **капитал**. В точном, экономическом, смысле слова капитал — это те предметы, которые служат для производства. Мотыга и соха первобытного земледельца были уже капиталом. Как указывают экономисты, капитал был и у Робинзона Крузо на его необитаемом острове. Но это, конечно, не значит, что на этом острове существовал «капитализм».

Какой-же смысл может иметь слово «капитализм»?

Было бы совершенно неправильно определять капитализм как систему, в которой «орудия производства», то есть, капитал, «находятся в частной собственности». В последнем случае капиталистической надо было бы назвать и эпоху Римской империи, и древнюю Элладу, и даже Египет фараонов. «Частная собственность», в том числе и на «средства производства», существовала, ведь, и тогда. Лишь в доисторическом, примитивном обществе (о котором нам известно чрезвычайно мало) существовала, как будто, «коллективная» собственность (родовая, общинная, племенная) на землю и, возможно, на «орудия производства». Когда же варвары вторглись в пре-

дела Римской империи, они постепенно восприняли цивилизацию побежденного классического мира — в том числе и институт частной собственности, и римское право. Из этого видно, насколько туманно понятие «капитализма» и насколько искусственно его связывание с институтом частной собственности.

Однако, должен же быть какой-то ясный критерий, который позволил бы классифицировать определенный период как капиталистический и позволил бы выделить его из других исторических эпох. Такой критерий существует и давно принят в серьезных трудах по политической экономии. Критерием, отделяющим более ранний период от того, который теперь определяется как капиталистический служит **либерализация** экономических отношений. Период капитализма совпадает с периодом **либеральной экономики**.

В последнее время некоторые экономисты (Кейнс, например) стали называть период либеральной экономики «индивидуалистическим капитализмом» для того, чтобы отделить его от нашей эпохи, эпохи **смешанной экономики**. Мы возьмем термин Кейнса как подсобный.

Как известно, либеральной экономикой называют систему, которая основывалась на предпосылке о **частном характере** экономических отношений. Термин «либеральной» то есть **свободной** экономики был совершенно правильным, так как частные отношения считались — и считаются — сферой свободной и непринудительной; уточним: и **свободной от вмешательства государства**.

Отождествив капитализм с либеральной экономикой становится понятным, почему период средних веков, например, нельзя отнести — и никто не относит — к капитализму. На исходе средних веков **либеральной** экономики еще не существовало. Экономические отношения во многом были ограничены и подчинены узкой регламентации. Даже «рынка» в последующем смысле еще не было. Конечно, либеральная экономика тоже не появилась сразу, в готовом виде. Она нарождалась постепенно, начавшись, приблизительно, с Возрождения. Тогда в Европе стало развиваться движение за «раскрепощение» человека, за либерализацию всех сторон человеческой жизни. Экономика и экономические отношения не составляли исключения. В первой половине XVIII века французская школа «физиократов» набросала, можно сказать, теоретическую основу либеральной экономики и стала требовать свободы для экономических отношений — произ-

водства, торговли. Примерно тогда же появилась и знаменитая формула «лэссэ фэр, лэссэ пассэ» («свободно производить, свободно перевозить»). Одним из важнейших социально-экономических мероприятий Французской революции был знаменитый закон 17 марта 1791 года, уничтоживший режим корпораций (своего рода контрольных производственных ассоциаций) и фактически установивший неограниченную свободу производства. Не надо забывать, что вначале либеральная экономика безусловно обозначала прогресс по отношению к предыдущему экономическому режиму. Она уничтожила большое количество перегородок и сняла путы с личной инициативы предприимчивых людей того времени. Ко времени Адама Смита в Европе уже полностью процветала либеральная экономика. Это была ее «весна».

Поэтому, учитывая все вышесказанное, нам кажется, что будет правильнее всего определять капитализм как определенный этап развития экономики, характеризующийся, во-первых, известным накоплением капитала в результате научного и технического прогресса, и во-вторых, максимальной либерализацией экономической сферы. Полной (или почти полной) свободы производить, покупать и продавать что угодно и как угодно не существовало в предыдущую эпоху (и не существует уже больше сейчас ни в одной передовой промышленной стране).

Историческая эпоха капитализма охватывает приблизительно два с половиной века, с конца семнадцатого и примерно до второй мировой войны. Апогей этой системы приблизительно падает на сравнительно короткий период от сороковых до восьмидесятых годов прошлого века. То была эпоха «промышленной революции», пара, железных дорог, пароходов, газового освещения, воздушных шаров — эпоха бурной экспансии капитализма чуть ли не во всем мире. Маркс еще застал капитализм в самом его апогее. Не может быть сомнения, что капитализм той эпохи — «классический капитализм» — был полон социальными и моральными уродствами. Человек превращался в «гомо экономикуса», в единицу производства, труда, обмена, потребления, в экономическую единицу только. Но капитализм критиковали не только «классики марксизма». Сам Маркс почерпнул свою критику главным образом из дебатов в английском парламенте, и из писаний многих публицистов той эпохи. Но мы не будем задерживаться на критике капитализма, этому посвящены тысячи томов. Нам надо дойти до самой логики систе-

мы, до ее, так сказать, жизненного нерва. Тогда можно выяснить, не полемически, а исторически и «диалектически», **куда идет экономическая эволюция.**

Обычно, как защитники, так и критики капитализма утверждают, что его «душой» является конкуренция. Нам кажется, что такой анализ не идет достаточно глубоко. В том или ином виде, под тем или иным названием конкуренция была реабилитирована и признана существующей даже в СССР и в других странах советского блока. Из этого видно, что конкуренция как таковая (а не те или иные ее формы) присуща не одному индивидуалистическому капитализму. Она не может, поэтому, рассматриваться как основа его основ. Но — если не конкуренция, то что? Ведь принцип частной собственности мы тоже отвергли. Для того, чтобы дать ответ на этот вопрос по существу, разберем вкратце на каких принципах покоилась либеральная экономика в период своего расцвета. Нам кажется, что она покоилась на следующих «трех китах». Во-первых, «гомо экономикус» рассматривался как **изолированная единица.** Во-вторых, все моменты экономического процесса (производства) рассматривались как **товар**, подлежащий обмену на **рынке.** Рынок и обмен взаимно определяли друг друга. И поскольку каждый экономический деятель действовал изолированно, царствовала неограниченная конкуренция. В-третьих, ценность, в том числе и стоимость труда, определялась исключительно путем свободных рыночных отношений — предложения и спроса.

Не ясно ли, что все три положения покоятся на предположке о полной изолированности и разобщенности экономических деятелей? Каждый из них действует как бы з пустоте, рассматривая всех других, как конкурентов на едином неограниченном рынке. Рыночные отношения царствовали, как известно, и между работодателями и рабочими. Короче — всё было лишь «рынком». Но все может быть лишь рынком только в том случае, если экономические деятели действуют изолированно, действуют индивидуально, по принципу «каждый за себя!»

Но если основой основ системы является изолированность особей как экономических деятелей, то очевидно, что отрицанием этой изолированности, этой разобщенности будет **сговор**, своего рода групповой, социальный договор. Таково «диалектическое» развитие самой идеи системы (если применять терминологию Гегеля). В данном случае диалектика вполне совпадает с историей. И это легко проверить.

Представим себе рынок труда, на котором рабочие предлагают, а предприниматели покупают рабочую силу. Действуя изолированно, рабочие составляют друг другу конкуренцию и принуждены предлагать свой труд по возможно низкой цене. И это потому, что рабочих рук всегда «перепроизводство» и действует закон спроса и предложения. «Перепроизводство» же приводит к безработице и, в условиях свободного рынка, цена на труд автоматически поддерживается на уровне «себестоимости», то есть, на самом низком мыслимом уровне.

Но что, если рабочие **сговорятся** и не согласятся продавать свой труд ниже определенной цены даже в условиях «перепроизводства»? Очевидно, что без наемных рабочих рук в производстве (достигшем уже фабричного уровня) обойтись нельзя. И предпринимателям придется — по самому закону спроса и предложения — «купить» рабочую силу по этой «завышенной» цене. Ведь другого **предложения** не было бы (допустив, что сговор эффективен).

Именно так оно и произошло в какой-то исторический момент. Мы, конечно, упростили схему, но не изменили ее сущности. Попытки рабочих прийти к сговору, к совместно-му выступлению удалось не сразу. Были и неудачные, разрозненные протесты, бунты, беспорядки. Когда же удался первый сговор рабочих и предприниматели должны были отступить перед «общим фронтом» людей, предлагавших свой труд, была пробита первая решительная брешь в монолитном и, как казалось, гармоничном здании либеральной экономики.

За первым удачным сговором последовали и другие. Рабочие стали организовываться. Но сам принцип сговора постепенно распространялся и на предпринимателей. Они тоже научились выступать «общим фронтом», обычно — на узко ограниченном участке рынка, для того, чтобы помешать естественному действию закона спроса и предложения, в данном случае для того, чтобы не дать упасть ценам. Сговор их заключался в том, чтобы не продавать своих товаров ниже определенной цены в том случае, если предложение превышало спрос. Затем они научились и искусственно понижать предложение. Очевидно, что при сговоре рабочих, как и при сговоре предпринимателей, как и при сговоре (довольно редком) потребителей — нарушалась «основа основ» капиталистического индивидуализма или, точнее — либеральной экономики, построенной на принципе **сугубого индивидуализма**.

Сговор предпринимателей, небольших групп самых круп-

ных производителей в той или иной отрасли, принял сперва формы вредные для экономики страны в целом. Тресты, картели, консорциумы, всевозможные явные и тайные сговоры крупнейших предпринимателей, «капиталистов», были направлены сперва на поддержание или даже вздувание цен, в пределах — на «захват рынка», на монопольное владение той или иной отраслью производства и, конечно, **сбыта**. Но, разве не очевидно, что **монополия** уничтожает конкуренцию, уничтожает свободу соревнования на том или ином участке рынка? И монополии, формальные или фактические, привели к новому тогда (примерно в начале нашего века) явлению — к вмешательству государства, но на сей раз направленному на восстановление конкуренции, свободного соревнования в той или иной отрасли, захваченной монополиями. Почти во всех передовых странах появилось так называемое «антитрестовское» законодательство, которое клало предел концентрации предприятий в той или иной отрасли. Во многих таких случаях, государство само брало на себя ту или иную монополию. Так, во Франции, уже задолго до второй мировой войны табак и спички стали «государственной монополией». Мы не касаемся сейчас национализации целого ряда ключевых отраслей экономической жизни во Франции, которая произошла после и вытекала из других соображений. Государственные монополии появились еще в расцвет либеральной экономики и, как тогда казалось, не противоречили ее принципам. Законодательство против трестов существует и в «самой капиталистической стране», Америке. И здесь постоянно происходят процессы против тайных сговоров производителей, направленных на поддержание цен, на захват рынка.

Примерно с конца прошлого века появляются три мощных фактора, которые постепенно развиваются, совершенствуются, углубляются и мирно трансформируют экономическую систему так называемого «капиталистического» мира.

Во-первых, появляются коллективные договоры предпринимателей и организованных рабочих. Принцип коллективных договоров постепенно завоевывает признание во всех передовых странах. А ведь коллективные договоры с рабочими организациями уничтожают конкуренцию на рынке труда и фактически уничтожают само понятие рынка труда. Труд — в передовых странах — давно уже больше не «товар». Труд стал особой социальной категорией, окруженной специальной защитой закона. И это был решающий удар по

базе либеральной экономики, по индивидуалистическому капитализму.

Вторым фактором явился сговор производителей-предпринимателей, но сговор нового типа, в котором государство иногда принимает активное участие. Сговор предпринимателей (под контролем государства) направлен в настоящее время главным образом на то, чтобы исключить «анархию производства». А иногда он идет и дальше: он принимает вид настоящей плановости. Так, например, во Франции плановость (под прямым контролем и даже по инициативе государства) создана была примерно 15 лет тому назад и успешно осуществляется и по сей день. «Отцом» французской плановости является известный Жан Моннэ, и вначале французский план и назывался в общезнании «планом Моннэ».

В настоящее время планирование производства и экономического развития в странах Европейского общего рынка постепенно перерастает уже и национальные рамки. Известно, что «общий рынок» дает отличные экономические результаты и весьма волнует марксистов-догматиков. Им непонятен принцип сговора. Кроме того догматически они не могут признать возможность **трансформации** той экономики, которую они называют «капиталистической». Как будто в жизни что-либо может быть неподвижным.

На самом деле принцип сговора, который как мы уже отметили, является действительно «антитезисом» капиталистического индивидуализма, не действует односторонне. Сговор, осуществляемый на разных уровнях «горизонтально» и «вертикально», естественно приводит к плановости и исключает «анархию производства». Производители сами кровно заинтересованы в том чтобы избавиться от «анархии производства», и следовательно заинтересованы и в плановости. Не надо забывать, что «анархия производства» есть не что иное, как крайнее выражение изолированности экономических деятелей, в данном случае — производителей. Доведенная до своего предела, она приводит к пагубным для производителей результатам, — это **кризис**, кризис общего перепроизводства.

Третьим фактором, характерным для нынешней экономики передовых демократических стран, является все увеличивающееся вмешательство государства в экономическую жизнь страны. Причем вмешательство это принимает разные формы. Оно само трансформируется, углубляется, совершенствуется. Новые искания не заказаны и здесь. Существенен сам **прин-**

тип сговора. Сочетание же, в той или иной форме, в той или иной пропорции, свободного предпринимательства («тезиса», вернее того, что остается от «тезиса») и социального сговора («антитезиса»), включая вмешательство государства, — дает новый тип экономики («синтез»), который можно назвать условно «третьей экономикой».

Эта «третья экономика» не является ни капиталистической (в классическом смысле), ни коммунистической (которая для России уже пройденный этап — о чем ниже). Некоторые авторы пользуются термином «смешанной экономики» или экономики «смешанного типа». Смысл всех этих терминов — один. Им признается, что в экономической жизни передовых стран участвуют два момента: частный и публичный. При чем последний в свою очередь включает в себя как социальный сговор, так и арбитражную роль государства или даже, помимо арбитражной роли, включает еще и огосударственный сектор экономики. Но — лишь сектор, наравне с прочими и с применением общих для всех секторов основных экономических принципов.

Таким образом классический капитализм в передовых странах свободного мира — это уже пройденный этап. Но, конечно, остаются в силе основные экономические принципы. Они, ведь, действовали и до этапа либеральной экономики, действуют и поныне.

II

Сегодня, даже среди советских экономистов, едва ли кто-нибудь решится отрицать, что у экономики, есть свои особые законы, или принципы, с которыми должна считаться любая система. Но, одно — признать принципы, а другое сделать из них соответствующие выводы. Все же «русский опыт» сыграл хотя бы ту положительную роль, что он эмпирически — путем доказательства от противного — подтвердил правильность некоторых положений, давно сформулированных выдающимися экономическими авторами и принятых объективной экономической наукой.

Мы не можем, конечно, подробно останавливаться на всех законах, действующих в экономической сфере, но мы можем указать на самые основные из них, проверенные **отрицательно** на русском опыте. Основы эти неизменны потому, что вытекают из самой природы человека. Ядерная энергия, кибернетика, наконец, освоение космоса произведут, быть

может, переворот в процессе производства. Процесс производства периодически подвергается технологическим революциям. «Переворот» в производстве произвело и применение пара, и открытие и применение электричества, и изобретение мотора внутреннего сгорания. Но человек — пока что — остался и остается человеком, с теми же основными чувствами, стремлениями, достоинствами и недостатками. И пока человек остается человеком, будут действовать те же основные законы мотивации, направляющие его деятельность.

Классики-экономисты называли основным закон, направляющий человеческую деятельность в экономической сфере, **гедонистическим принципом**. Хотя принцип этот относится к общей философии и морали, в экономике он обуславливает две категории, экономических по преимуществу, — **ценность** или **стоимость** и **личный стимул**.

Начнем с анализа основного «узла» экономики — с ценности или стоимости. На Западе применяют главным образом термин *ценность*, в Советском Союзе — *стоимость*. Определение стоимости имеет не только академическое значение. Правильный подход к «закону стоимости», как признает, например, и академик Струмилин, в большой степени обуславливает и удовлетворительное планирование производства. Впрочем к вынужденным признаниям советского академика-экономиста мы еще вернемся. Пока же займемся ценностью (с экономической точки зрения).

Закон стоимости или ценности — закон сложный и упрощенчество здесь особенно опасно. Сентиментально-риторическая формула марксистов «стоимость — это кристаллизованный труд» экономически не выдерживает критики и причиняет много неприятностей советским экономистам и плановикам. Экономисты-догматики никак не могут объяснить, почему предметы, в производство которых был вложен труд и часто немалый, могут не иметь никакой ценности, на них нет никакого спроса и они заваливаются на складах. По Марксу они ценны, а в глазах советского потребителя — нет.

Именно имея в виду упрощителей (не обязательно только марксистов-догматиков), Шарль Жид пишет, например: «Зачем стремиться дать единое (и упрощенное) определение ценности? Не правильнее ли признать, что у ценности есть два полюса?» Итак Жид предлагает сперва, так сказать, разобрать, проанализировать все аспекты стоимости, а затем уже построить единую теорию ценности. Что он и сделал. И

синтетическое определение ценности Шарля Жиде стало классическим, во всяком случае во Франции.

Значит, прежде всего надо отметить, что ценность имеет два полюса или «измерения»: ценность потребительную и ценность или стоимость меновую. Это разделение принято даже советскими экономистами. С экономической точки зрения особенно важна ценность меновая или, как ее тоже называет Жиде, ценность социальная, ибо только она может быть измерена объективно. Но совершенно очевидно, что она является лишь социальным выражением ценностей, в данном случае — оценок, индивидуальных.

Авторы любят приводить примеры противоречий, которые существуют между двумя выражениями ценности. Так, как говорит, например, тот же Шарль Жиде, «очки для близорукого ученого могут иметь колоссальную потребительную ценность, но их меновая стоимость может приблизиться к нулю. И наоборот — для философа бриллианты — «маленькие блестящие камешки» — могут не иметь никакой индивидуальной стоимости. Это не меняет того факта, что их коммерческая стоимость огромна».

Вместе с Шарлем Жиде мы назовем потребительную или индивидуальную стоимость «желательностью». Совершенно очевидно, что мы желаем того, что мы ценим, и мы ценим то, что желаем. Отсюда вытекает с полной очевидностью, что источником (а не «определением» или «выражением») ценности является **желательность**. Последняя в свою очередь может быть анализирована и «оценена». То, что желательно для одних, не имеет ценности для других и пр. Каждый оценивает вещи на основании своих собственных предпочтений, оценивает «субъективно». Наоборот — ценность меновая, или социальная, является объективным фактом, могущим быть измеренным. Объективно ценность выражается в цене.

Следовательно, мы действительно имеем два полюса ценности: потребительную ценность или желательность с одной стороны и цену — с другой. Каково же их взаимоотношение? Как мы уже сказали, источник ценности — это желательность и только желательность. Если товара никто не желает, то и меновая его стоимость будет равна нулю. Но эта желательность, вернее — желательности, так как индивидуумов много, — измеряется **путем сопоставления**.

При сопоставлении, желательность для индивидуумов выражается в меновой или социальной цене. Как происходит со-

поставление многих желательностей? Оно происходит на **рынке**. На рынке встречаются люди предлагающие какой-либо товар и люди, желающие его приобрести. Сопоставляя, то есть сравнивая, все запрошенные цены и все предлагаемые цены достигается какое-то равновесие (на определенный товар определенного качества). Это достигнутое равновесие (спроса и предложения) и есть меновая или социальная стоимость данного товара.

Таково объяснение экономического явления, именуемого стоимостью. Объяснение это относится к любым объектам, к любым услугам, которых мы желаем и которые мы можем приобрести. Конечно, закон спроса и предложения более сложен, имеет несколько фаз. Мы разобрали лишь основу, схему. И схема эта действительна при всех экономических режимах. Отметим все же, что в нормальных условиях закон спроса и предложения действует двусторонне. Если увеличивается спрос (на данный товар), то подымается цена. Но и обратно: если подымается цена, то это служит стимулом к производству данного товара, и предложение его на рынке будет расти. Если цена падает, то это действует как стимул «обратный». Производство товара, на который падает цена, сократится или может вовсе прекратиться. Значит: если закон спроса и предложения регулирует цены, то и цены влияют на равновесие спроса и предложения. Свободно устанавливающиеся цены, устанавливающиеся на рынке, служат отличным регулятором для производства. Никакой эффективной замены этому регулятору пока что еще не найдено, что начинают признавать и некоторые советские экономисты.

Теперь рассмотрим значение **стимула в экономике**. Классические авторы, объективно анализировавшие экономическую реальность, не могли не отметить его исключительно важную роль. Наоборот, авторы утопические, увлекавшиеся мечтаниями, обходят или отрицают значение личного стимула в экономическом развитии, да и вообще в экономике. Так, в марксистской литературе говорится обычно, что капиталисты руководятся страстью к наживе. А чем руководятся другие люди? Ведь, капиталистов только горсточка — даже по Марксу. Не ясно ли, что должен быть какой-то общий стимул? Капиталисты тоже, в конце концов, такие же люди как и другие. Чем же руководятся люди вообще в экономической сфере?

Классические авторы и искали такой общий, всечеловеческий стимул или двигатель в экономике. Они его нашли и

формулировали. Мы его уже упомянули в начале главы. Речь идет о **гедонистическом принципе**. Проще всего гедонистический принцип формулируют обычно следующим образом: «человек избегает страдания и стремится к наслаждению». Можно ли оспаривать это положение? На самом деле — здесь основной естественный закон, присущий, вероятно, всему живому.

В человеческом плане естественному закону противостоят закон этики. И в той или иной степени этический закон, закон «совести», тоже присущ всякому человеку. В социальном разрезе этический закон, в основе, требует, чтобы индивид не делал различия между собой и другими («Возлюби ближнего твоего как самого себя» и, в более экономическом смысле, — «Если у тебя две рубашки, отдай одну нищему»). Но, конечно, «естественный закон» преобладает и будет преобладать еще необозримо долго.

В экономическом плане гедонистический принцип проявляется в личном стимуле, в личной заинтересованности. Человек стремится иметь наибольшее количество материальных благ с наименьшей затратой усилий. Имеются, конечно, и совестливые люди, которые, при любых условиях, будут работать «не за страх, а за совесть». Но таких ничтожное меньшинство. Ясно, что никакая система не может строиться на исключениях. В экономической сфере подавляющее большинство не «святые», не «ангелы», а **просто люди**. А люди, в своей насущной деятельности, руководятся своим личным интересом. Такова человеческая природа, и для того, чтобы изменить ее, требуются не годы, а тысячелетия. Пока же экономикой можно строить лишь на реальности, а не на идеологических пожеланиях.

Необходимы, все же, некоторые уточнения. Классики политической экономии вовсе не утверждают, что **вся** деятельность человека исключительно сводится к преследованию личных интересов. Мы подчеркнули поэтому, что человек руководится личным интересом в своей **насущной** деятельности. Сводить все исключительно к личному интересу тоже нереально, хотя последовательные материалисты и сводят всё исключительно к эгоизму. Причем они иногда добавляют — к разумному (!) эгоизму. Мы не будем уклоняться в философскую дискуссию, а просто отметим, что в жизни действуют различные мотивы, как эгоистического, так и неэгоистического характера. Существуют и моральные, и духовные аспекты в жизни общества, к которым гедонистический принцип

в данной форме неприменим. Так, истинные художники, поэты, писатели, ученые, люди научной, артистической «складки» (не говоря уже о людях мистической настроенности) могут руководиться — и действительно руководятся — иными мотивами, неличного характера (хотя и момент личной заинтересованности по большей части тоже **целиком** не отсутствует). Но — это иная тема. Мы же разбираем здесь лишь экономический аспект в жизни общества. И в этом аспекте основным двигателем несомненно является личный стимул, личная заинтересованность — хотим мы этого или нет.

Как проявляется личный стимул на практике? Прежде всего отметим, что он действует на всех уровнях производства и во всех аспектах экономики, а не в одной какой-либо экономической отрасли. Это значит, что личная заинтересованность обуславливает эффективность работы как на производстве, так и в распределении, в торговом аппарате, в сельском хозяйстве, на полях; как на фабриках, в магазинах, так и в заводских управлениях и пр.

В условиях частного предпринимательства производитель-промышленник, торговец-оптовик, розничный торговец, посредник, торговый агент, хозяин ресторана или кафе, портной, сапожник — словом каждый предприниматель, каждый «хозяин», кровно заинтересован в том, чтобы производить, продавать, поставлять наилучшие товары по наиболее низкой цене. Иначе — товар покупать не будет и предприниматель «вылетит в трубу».

Тот же принцип личной заинтересованности заставляет и рабочих, служащих, техников — весь оплачиваемый персонал работать как можно эффективнее. Ибо над оплачиваемым персоналом, от последнего чернорабочего до директора крупнейшего предприятия, стоит «хозяин». Если рабочий, служащий, техник работает неэффективно, он будет уволен или его заработок, тем или иным способом, будет урезан. Если же он работает хорошо, он получит материальное поощрение — в том или ином виде.

По отношению к рабочим в советской экономике давно — то-есть со времени НЭПа — стали применять нормальные («капиталистические») методы воздействия — поощрения, наказания рублем и даже тюрьмой (чего «капиталисты» не делали, а ограничивались лишь воздействием «рублем»). НЭП ведь в основном и обозначал возврат к каким-то минимальным требованиям нормальной экономики. На одних декларациях и революционных фразах далеко не уедешь. В этом

очень быстро убедился Ленин. Но поощрение оплачиваемого персонала — это только одно звено производства. А кто будет решать, какие товары производить и как их производить, и почему их производить? И как их распределять? И кто будет их распределять? И кто будет экономически нести ответственность за провалы и дефициты? При частном предпринимательстве за провалы «рублем» расплачивается хозяин и дефицитное предприятие закрывается.

Здесь мы подошли к одному из самых больных мест советской экономики, к ее неизбывной язве — бюрократизму. Дело в том, что все перечисленные выше проблемы (производства и распределения) в советских условиях решаются путем бюрократического планирования, решаются **бюрократически**, и не могут не решаться бюрократически (пока не будут проведены радикальные реформы), так как все эти вопросы решаются чиновниками-бюрократами, а не хозяевами-предпринимателями.

Планирование рассматривалось советскими партийными экономистами-теоретиками как панацея, которая разрешает все экономические проблемы. «Плановая экономика» противопоставлялась «хаотической» экономике капитализма, в которой, де, царит «анархия производства». Но мы видим, однако, что и наиболее вдумчивые советские экономисты начинают теперь признавать, что планирование еще автоматически не разрешает всех проблем, оно само нуждается в коррективах. В чем же дело? В отсутствии личного стимула. Чиновник-бюрократ экономически безответственен. Он не предприниматель, не производитель, словом — не «хозяин». И этого факта никак не изменить. Как бы Хрущев и другие коммунистические руководители ни кричали, что действовать и мыслить надо «по-хозяйски», пока человек не хозяин у себя на предприятии, на поле, в магазине — он по-хозяйски действовать и чувствовать не может. Чиновник-бюрократ выполняет предписания других таких же чиновников-бюрократов, стоящих выше его в настоящий момент. И действовать он будет **по-бюрократически**, хотя, может быть, и добросовестно. Но смелой инициативы он проявлять не будет, ночей недосыпать не будет, комбинировать, изобретать, искать новых возможностей, учиться у конкурента, стараться «перекрыть» его он не будет. Советская печать полна филиппиками против бюрократизма, полна призывами, увещаниями. Но, как говорится, бюрократический «воз и ныне там».

Могущественным двигателем в экономике является и

принцип частной собственности. Некоторые современные исследователи правильно указывают на то, что «левые» и демагогические авторы прошлого века давали совершенно искаженную картину института частной собственности. Карл Маркс, и Прудон до него, видели в частной собственности какого-то злого духа и утверждали, что все пороки — от частной собственности. Из некоторых видов злоупотребления частной собственностью, и даже не частной собственностью вообще, а крупным финансовым капиталом, — делали вывод о вреде частной собственности как таковой. На самом же деле стремление к личному обладанию какими-то предметами, которые мы ценим, присуще каждому человеку. Обладание это является аспектом свободы личности: оно сообщает личности некоторую независимость и в самом этом стремлении нет ничего ни скверного, ни противного природе. Чем меньше у человека собственности, тем он более беззащитен перед природой, перед людьми, перед властями. Право собственности как таковое является неотъемлемым правом личности. В целом ряде исторических текстов право собственности рассматривается как одно из неотъемлемых прав Человека, напр. в «Декларации прав человека и гражданина» Французской революции.

Особо остро вопрос частной собственности стоит по отношению к крестьянам-хлеборобам, к работникам земли. Сельскохозяйственный сектор, по признанию самой власти, является наиболее уязвимым местом в Советском Союзе. И это потому, что власть упрямо цепляется за доктрину и не желает считаться с реальностью. А реальность заключается в том, что крестьянин работает не за страх, а за совесть только у себя, и для себя, в своем хозяйстве, там, где он хозяин. Здесь действует в специфических условиях работы на земле основной принцип экономики — личный стимул еще умноженный на естественное стремление владеть своей собственностью. К тому же в деревне еще живут тысячелетние отношения между землей и теми, кто ее возделывает. И вряд ли когда-нибудь это «чувство земли» выветрится и работа на земле станет во всем аналогична работе на фабрике.

Но принцип частной собственности действует как стимул не только в сельском хозяйстве. «Частники», стремление к частной собственности и частному предпринимательству (частная собственность и предпринимательство тесно связаны) живучи и в советском огосударственном промышленном секторе. Частничество принимает иногда уродливые формы. Ча-

стники становятся «шабашниками», «толкачами», перекупщиками — но как-то обойтись без них нельзя и сейчас. На курортах они сдают комнаты и обслуживают гораздо большее количество «туристов», чем официальные санатории и гостиницы. В городах они с крохотных огородов и садов поставляют овощи и фрукты, разводят кур и кроликов. А сколько советских вельмож строят себе персональные дачи и частные дома!

Советское партийное руководство тупо борется со всеми проявлениями «частнособственнического инстинкта». Но и тут происходят вечные зигзаги. То зажмут, то снова отпустят. Очевидно, человеческий инстинкт живуч и охватывает как беспартийных, так и партийцев, и даже высокостоящих товарищей.

Государственный сектор сейчас существует во всех переловых государствах — в той или иной пропорции. В Соединенных Штатах Америки он еще незначителен. А во Франции, например, он распространяется на все ключевые отрасли промышленности, транспорта и кредита. Но в смешанной экономике государственный сектор, как бы значителен он ни был, именно лишь **сектор**, а не вся экономика. В частности, как отмечают чуть ли не все серьезные исследователи-экономисты, в сельском хозяйстве еще на необозримый отрезок времени наилучшие эффекты будут давать единоличные крестьянские хозяйства. Что не исключает и свободного кооперирования крестьян-землевладельцев в определенных видах их производства, таких, как общий сбыт продукции некоторых культур, покупка дорогостоящих машин и пр. В свободном мире объединяются в кооперативы того или иного типа именно крестьяне-собственники, крестьяне-хозяева своей земли. И здесь действует **принцип сговора**.

Во всех современных государствах нетоталитарного типа сейчас, в разных пропорциях, сосуществуют три сектора в экономике: государственный, кооперативный и частный. К этому ведет сама жизнь. А взаимодействие, удельный вес и специфическая роль каждого сектора, — это вопрос жизненного опыта, а не мертвой догмы.

Существенно, что даже в государственном секторе, в таких странах как Франция и Англия применяются те же основные экономические принципы, что и в секторе частном: закон стоимости, личный стимул и личная ответственность, проверка эффективности рыночными отношениями.

Конечно, не может игнорировать основные экономические принципы и советская экономика. Но советские партийные руководители и экономисты-догматики лишь с трудом и нехотя идут на серьезные реформы. По большей части они останавливаются на полпути или продвигаются зигзагообразно. Два шага вперед, шаг назад. И все же советская промышленность постепенно приближается к какой-то степени нормализации, хотя и ценой затраты невероятного количества ресурсов — человеческого труда и материалов. В частности мы уже отметили признание Струмилина в том, что и в советских условиях действует закон стоимости и, следовательно, действуют рыночные отношения (что, всегда было ясно всякому, кроме партийных догматиков). Симптоматично также предложение Либермана, вокруг которого разгорелась полемика. Что же предлагал Либерман? В основном он предложил очень простую вещь, которая, как казалось бы, явно вытекает из здравого смысла: признать **прибыль** критерием эффективности предприятия. Против его предложения сразу же повели бешеную атаку догматики. Неудивительно, ибо Либерман реабилитирует основной двигатель экономики, двигатель давно открытый и формулированный экономическими классиками. Ведь прибыль — это вознаграждение успешной личной инициативы и ответственности. Прибыль, выгода, в том или ином виде, и есть личная заинтересованность.

Либерман сделал лишь дальнейший логический вывод из предыдущих уступок, вырванных жизнью у догматиков. Последние должны были признать, что закон стоимости действует в СССР и что, следовательно, в стране существуют рыночные отношения.

Как видно из книжки Струмилина и эти признания дались нелегко. Струмилин прямо пишет: «...Наши экономисты, творчески преодолев устаревшие (!) позиции в этом вопросе, признали, наконец (!), что закон стоимости действует в СССР». И дальше: «Ныне уже никто не оспаривает действия закона стоимости в плановом хозяйстве (!)».* Однако Струмилин прикрывается еще фиговым листком, утверждая — догматически — что закон стоимости должен действовать «поновому». Но существенно уже то, что все же **действует**. Как мы уже отметили, плановость совсем не марксистское изобретение. Ленин взял плановость у «капиталистов», в частности

* С. Г. Струмилин, «Проблемы социализма и коммунизма», Москва, 1961 г. стр. 119/126.

— у немцев.** Поэтому сам принцип плановости вполне совместим с рыночными отношениями и с законом стоимости, то есть с действием закона спроса и предложения. Действительно, как мы отметили, плановость осуществляется сейчас в целом ряде передовых стран и является одним из характерных признаков «третьей экономики».

III

Из изложенного ясно, как будто, что с двух «противоположных» концов, советского и «капиталистического», может развиваться постепенная эволюция к какому-то общему экономическому знаменателю. Остановимся на этом несколько подробнее.*

В передовых странах свободного мира экономическую эволюцию можно анализировать и «измерить». Здесь «анти-тезис» капитализма выразился в принципе сговора и связанном с ним принципе вмешательства государства. В демократических государствах само вмешательство публичного начала в экономику является своего рода «социальным договором», поскольку государственная власть сама основывается на народном волеизъявлении. В результате комбинации «тезиса» и «антитезиса» получается то, что некоторые авторы называли «третьей экономикой», а другие называют экономикой смешанной. Последняя сама находится в стадии развития и далеко еще не стабилизировалась. Формальным признаком третьей (смешанной) экономики является, как мы уже говорили, наличие в той или иной пропорции трех взаимосвязанных экономических секторов: государственного, кооперативного и частного. Материально же можно отметить следующие три нарастающих процесса:

** См. статью Н. Валентинова в «Новом журнале» № 72 стр. 255/256.

* Отметим, что тема о сближении двух экономических систем за самое последнее время перекинулась и на страницы советских экономических журналов. В частности мы можем указать на статью С. Хавиной в «Вопросах экономики» № 6 (1963), озаглавленную «Лженаучная теория сходства двух систем». Советские экономисты-догматики, конечно, отрицают всякое сходство. Но сам факт появления таких статей показателен. Это обозначает, повидимому, что эту тему обсуждают в кругах советских экономистов.

«Диффузию» собственности. Класс собственников, мелких и средних, все растет. Диффузия собственности распространяется как на предметы потребления, так и на средства производства. В частности акции промышленных предприятий — а также ценные бумаги вообще — распространяются среди все большего и большего количества людей. В пределе можно вполне представить себе такое положение, когда каждый глава семьи будет держателем акций или ценных бумаг. Конечно, это не будет означать полного равенства достатков. Да и достижимо ли такое равенство? Но факт заключается в том, что все больше стирается, и еще больше будет стираться, грань между «имущими» и «неимущими», «пролетариями» и «буржуями».

II Наростание третьего экономического класса, промежуточного между предпринимателями и рабочими. Этот могущественный класс, по-английски называющийся «манаджериял», состоит из платных директоров предприятий, высшего руководства административного персонала. Эта «прослойка» становится все более многочисленной и пополняется она, как правило, не за счет предпринимателей-собственников, а за счет оплачиваемого персонала. К ней же можно причислить и высших служащих, технических и коммерческих. Во Франции, например, появились даже профессиональные союзы «кадровиков», то-есть высшего оплачиваемого персонала. Имеется даже Генеральная конфедерация кадров (то-есть высших платных служащих). По природе своей интересы этой категории людей целиком не совпадают ни с интересами рабочих, ни с интересами предпринимателей, но частично совпадают как с интересами первых, так и с интересами вторых. Не трудно предвидеть, что влияние и значение этой «прослойки» будет все увеличиваться. По советской терминологии класс этот надо назвать «технической, но также и административной (в экономическом смысле) интеллигенцией».

III Перераспределение доходов. В результате указанных факторов, а также и вследствие фискальной политики (прогрессивного подоходного налога, высокого налога на наследство, на дивиденды и пр.) происходит перераспределение доходов в смысле постепенного и неуклонного повышения доходов ниже «средних» и постепенного же и неуклонного сокращения доходов выше «средних». Здесь опять вопрос может идти о движении, о тенденции, а не о законченном феномене. Доходы постепенно нивелируются, но они еще далеко не нивелированы, причем в разных странах степень и темп

нивелировки далеко не одинаков. В Швеции или Дании, например, неравенство доходов уже значительно меньше, чем в США.

В конечном счете в перераспределении доходов и заключается сущность экономического прогресса. Все остальные явления и факторы лишь средства, направленные к достижению именно этой цели выравнивания доходов и состояний. Иными словами очень богатые люди исчезают (но, конечно, еще не исчезли) и богатство их, абсолютное и относительное, уменьшается. Одновременно исчезают и очень бедные люди, хотя они тоже еще не исчезли. В то же время увеличивается количество людей «среднего достатка». В передовых странах Запада происходит постепенное и необратимое **уменьшение экономического неравенства** (в полном противоречии с пессимистическими прогнозами Карла Маркса об абсолютном и относительном обнищании пролетариата). Именно этим и объясняется так называемый ревизионизм западных социалистических партий. Для них стало совершенно очевидно, что улучшение участи рабочих достигается путем мирной экономической эволюции. Причем улучшение это постепенно нарастает как в темпе, так и в «объеме».

Такова в общих чертах экономическая эволюция, происходящая на одном полюсе нашей действительности, в передовых странах запада, в свободном мире. А как обстоит дело на другом полюсе, в так называемом социалистическом мире?

Тут надо сразу же оговориться. О том, что происходит за «железным занавесом» мы можем судить лишь гипотетически и говорить лишь об общих тенденциях. Ведь тот мир представляет собой «закрытое общество». Проводить объективное, непредвзятое исследование просто нельзя. Недавний случай с профессором Баркгорном — блестящая этому иллюстрация. Западным экономистам и публицистам приходится с одной стороны толковать, сопоставлять официальные данные коммунистических источников, с другой — пополнять их разрозненными **личными впечатлениями**. И на этой основе делать логические общие выводы. Все же общий вывод, как нам кажется, заключается в том, что и за «железным занавесом» происходит неизбежная эволюция по какой-то кривой, общая тенденция которой идет в сторону той же туманно вырисовывающейся третьей экономики.

Особенно симптоматично и наиболее ясно тенденция эта

вырисовывается как будто в таких странах-сателлитах как Югославия и Польша. Известно, что Хрущев, судорожно ищущий выхода из своих экономических неполадок, неоднократно посещал за последнее время как Югославию, так и Польшу, и в СССР открыто говорят о том, что некоторый опыт этих стран может быть применен и в Сов. Союзе.

Каков же этот опыт? Давая ответ, мы снова возвращаемся все к тем же неизбывным основным принципам любой экономики. Опыт этот: личный стимул и закон стоимости, основанный на законе спроса и предложения.

За «железным занавесом» отсутствие личного стимула особенно пагубно сказывается на сельскохозяйственной продукции. Это известно всем. И вот в Польше, как известно, были распущены или просто распались почти все колхозы. В большой степени было восстановлено единоличное крестьянское землепользование. То же происходит и в Югославии. Но восстановление единоличного крестьянского землепользования в СССР упирается в сопротивление доктринального порядка. Все же, по некоторым сведениям, проникшим в западную печать, и в СССР, в партийно-экономических кругах обсуждается вопрос о некотором «экспериментальном» возврате к единоличным крестьянским хозяйствам. Возможно, что обсуждение этого вопроса вызвано просто катастрофическим состоянием советского сельского хозяйства.

На втором месте стоит вопрос об уже разбиравшемся нами законе спроса и предложения, в частности, о признании того факта, что и в СССР действует закон стоимости. Но его применение еще очень узко и упирается в стену бюрократического планирования. И в этом вопросе Польша и Югославия идут в авангарде процесса нормализации экономики, хотя и очень робкой и очень медленной. Но что интереснее, так это то, что теперь оказывается по тем же стопам идут и Венгрия, и Чехословакия. В Венгрии, например, с 1 января этого года, можно сказать, «под шумок» был восстановлен процент на капитал. Все государственные предприятия должны теперь платить государству же 5 проц. годовых с постоянного и оборотного капитала. Пока от уплаты процентов за постоянный капитал исключаются лишь строительные предприятия.

Еще знаменательнее та дискуссия, которая в самое последнее время развернулась в кругах ученых-экономистов Чехословакии. Дискуссия эта проводится официально и данные

о ней публикуются в экономическом журнале «Господарские новины». Эта дискуссия касается закона спроса и предложения, и его значения для любой экономической системы.

Радислав Селуцкий, профессор политической экономии Пражского технического института, прямо сказал, что закон спроса и предложения должен быть «решающим фактором в производстве продуктов народного потребления».

Вообще дискуссия, организованная журналом «Господарские новины», носила совершенно необычный для советского блока характер откровенности. Выступавшие открыто критиковали существующую экономическую практику и открыто указывали на то, что должно быть сделано для оздоровления экономики так называемых социалистических стран. Уже цитированный нами профессор Селуцкий подверг резкой критике то, что он назвал «культом плана». По его мнению на практике происходит настоящее «планопоклонничество». План рассматривается не как средство для достижения определенных экономических эффектов, а как цель в себе. «План должен быть слугой чехословацкого народа, сказал профессор, а не быть его хозяином. Никто не имеет права отказывать в удовлетворении законных нужд человека во имя приверженности к плану».

Надо сказать также, что в начале дискуссии участники ее требовали свободы критики. Иначе, как правильно указывали они, не может быть никакой истинной дискуссии и невозможно выяснить, в чем слабые места системы. Отметим также, что они требовали для экономистов права независимо ставить диагнозы и не считаться в своих диагнозах с директивами партии.

Но именно это «планопоклонничество» подвергается сейчас серьезной критике и на страницах советских экономических журналов. И все чаще начинают раздаваться голоса в защиту закона спроса и предложения. Не план, сам по себе, а именно закон спроса и предложения должен регулировать производство. Об этом можно было прочесть, например, в «Известиях» от 11 января этого года в статье, имеющей симптоматическое заглавие: «Не для «вала» — для человека!» Автор статьи предлагает не больше не меньше как перестроить всю советскую оптовую торговлю **с учетом спроса (!)** Подобных статей много.

Нам кажется, что с чисто-экономической точки зрения Советский Союз снова стоит на перепутьи, как он стоял на-

кануне ленинского НЭПа. Ведь НЭП был первым и радикальным «ревизионизмом» в экономической сфере. Затем НЭП постепенно урезывался и был убит. Но жизнь требует своего. И всё очевиднее становится факт, что существуют лишь единые экономические основоположные законы, которые действуют при любой системе.

Лев Закутин

Н. С. ТИМАШЕВ

В этом году исполняется пятидесятилетие научной работы профессора Николая Сергеевича Тимашева, одного из редакторов нашего журнала. Желая отметить на этих страницах научный юбилей такого крупного русского ученого, каким является проф. Тимашев, редакция, без ведома Н. С., обратилась к его ученику Профессору И. Шойеру с просьбой написать статью о Н. С., как социологе. Проф. Шойер любезно согласился и мы с удовольствием печатаем его статью.

Н. С. Тимашев происходит из старой дворянской семьи. Отец Н. С. был министром торговли и промышленности при последнем государе. Родился Н. С. в 1886 г. в Петербурге, где окончил классическую гимназию. Высшее образование получил в Страсбургском университете в Германии и в Александровском лицее в Петербурге. Свою магистерскую диссертацию «Условное наказание» Н. С. защитил в Петербургском университете в 1910 г. А звание доктора прав получил в 1914 г. в том же университете за работу «О преступной пропаганде».

В 1916 г. Н. С. начинает преподавать право в Петербургском Политехническом Институте и публикует свою вторую книгу «Преступления против религии». После революции 1917 г. Н. С. становится профессором этого института по кафедре социологии и деканом. Эту работу Н. С. вел до 1921 г., когда из-за преследований по делу о так называемом «таганцевском заговоре» Н. С. пришлось покинуть Россию.

В эмиграции работа Н. С. становится чрезвычайно разносторонней. Он работает и как ученый-социолог, и как журналист, и как редактор, и как лектор. В 1923 г. Н. С. был приглашен в Пражский университет, как профессор, где он работал также в известном Русском Экономическом

Семинаре проф. С. Прокоповича. За эти годы Н. С. опубликовал следующие книги: «Конституционное право СССР» (1925), «Политическая и административная организация СССР» (1931) и «Уголовная процедура» (1927). С 1928 г. Н. С. переехал в Париж, войдя в редакцию газеты «Возрождение», где его работой были главным образом статьи по вопросам внутренней политики СССР. Одновременно с этой работой Н. С. в Париже был профессором Франко-Русского Института и Славянского Института при Сорбонне. В эти же годы Н. С. много ездил по Европе с чтением лекций в различных университетах (Базель, Цюрих, Бирмингем и др.).

В 1932 г. Н. С. начал работать вместе с П. А. Сорокиным в известном монументальном труде «Социальная и Культурная Динамика». В этой работе приняли участие около двадцати ученых Западной Европы и Америки.

В 1936 г. Н. С. переехал из Европы в Америку, где сначала читал лекции в Харвардском Университете, а потом с 1940 г. получил приглашение занять кафедру социологии в Фордамском Университете. Эту кафедру Н. С. занимал вплоть до 1958 г., когда вышел в отставку с званием «профессор эмиритус».

На годы проведенные Н. С. в Фордамском университете падает большая научная работа. Кроме чтения постоянных лекций в Фордаме и в некоторых других американских и европейских университетах, Н. С. за эти годы выпустил по-английски свои главные работы. Упомянем хотя бы следующие: «Социология права» (1939), «Религия в Советской России» (1942), «Сто лет условного осуждения. 1841—1941» 2 т. (1941), «Великое отступление» (1946), «Три мира» (1946), «Условное осуждение в освещении уголовной статистики» (1949), «Социологический анализ» (1949), «Теория социологии: ее сущность и развитие» (1955), «Общая социология» (1959) и наконец последняя, недавно вышедшая книга Н. С. — «Социология Луиджи Стурцо» (1962). Книги Н. С. переведены на 15 разных

языков. И имя его, как большого ученого, среди современных социологов известно.

В дни пятидесятилетнего юбилея научной деятельности Н. С. мы приносим ему наши сердечные пожелания здоровья и дальнейшей работы во имя русской науки.

РЕД.

СОЦИОЛОГИЯ Н. С. ТИМАШЕВА *

Тимашев не принадлежит ни к какой школе или научной группе социологии и не следует никакой традиции. Его огромный вклад в науку об обществе представляет собой последовательное единство, согласующееся с наилучшими существующими системами мысли, но без подражания какой-нибудь из них.

Социология Н. С. Тимашева обладает способностью динамически связываться с непрерывно меняющимися социальными течениями.

Теоретики-классики, как Конт, Спенсер, Парето и др. объясняют социальные и культурные явления какой-либо одной причиной включающей обычно образ или метафору, к которой можно свести все научные определения и толкования таковых явлений. Тимашев не впадает в такое научное упрощенство.

Спенсер, например, следовал дарвиновской системе мышления, основанной на биологии. Его последователи лишь расширили спенсеровский подход к явлениям, наблюдаемым в социальных системах, и, в частности, свели их к биологическим процессам. Общество и социальные системы, понятые как организмы, борющиеся за существование, — вот нормальные темы для социологической теории этого типа. Хорошо известно паретовское сведение социальных явлений к принципам классической механики, основанной на ньютоновской физике. Конт, предшествуя обоим, предложил дозы обеих теорий. Биологическая и механическая «редукция» подразумевается в его теории трех ступеней и в «законе согласования», который она постулирует. «Идеальные типы» Вебера и его социо-

* Автор настоящей статьи учился у Н. С. Тимашева в Фордэмском университете и получил у него докторскую степень в 1956 г. С 1956 г. по 1963 г. он был его коллегой по отделению социологии. Эта статья является попыткой охарактеризовать труды Тимашева, главным образом его теории, методы и особые сферы интереса.

логия «понимания» являются в значительной степени, если не исключительно, сведением социальных явлений к логическим абстракциям.

Близкие сотрудники, ученики, коллеги и друзья Н. С. Тимашева неоднократно говорили о том, что труды Тимашева могут быть плохо поняты и недооценены академическими и профессиональными кругами именно потому, что он не следовал этим широко распространенным «модным» социологическим течениям. (Недавно Тимашев радикально отверг одно из последних «модных» течений, возглавляемое Т. Парсонсом. Эта школа пытается свести все теории о человеческих поступках к одному знаменателю, базирующемуся на психологических факторах). Труды Тимашева принадлежат скорее к категории трудов таких ученых, как Леплэй, Дюркхайм, Зиммель. Эти ученые своей глубиной и оригинальностью вдохновляли толкователей, но редко создавали школы. К тому же, глубокое преклонение перед фактом, подчинение своей мысли логике факта, а не логике метафоры и подобных систем мысли, делает Тимашева незаурядным в социологической литературе. Чтобы оценить учителя, последователь должен пройти дисциплину посвящения себя объективному наблюдению человечества как оно есть, вместо составления необоснованных суждений о значении происходящего. И от критика и от читателя требуется способность терпеть одиночество свободы, связанной с объективностью, вместо более легкой дороги — следования чужим интерпретациям.

Цель этой статьи — обратить внимание читателя на оригинальность и значение социологических анализов Н. С. Тимашева. Его труды не претендуют быть «системой социологии». Но если бы Тимашев или его сотрудники сочли нужным разработать единую последовательную систему, основанную на его долгом опыте аналитика, то три основных положения окажутся теми нитями, которые свяжут ее в целое:

1. Общество и социальные системы суть системы самоопределяющиеся с точки зрения их культурного и персонального элементов.

2. Каждый из них, в своей мере, способен изменяться. Это изменение не определяется внешними факторами, но переменами внутренними, присущими культурному и персональному элементам.

3. Социальные структуры и их движущие силы должны быть наблюдаемы, как человеческие процессы, а не только как биологические или механические процессы. Эти процессы

подлежат научному исследованию именно потому, что они являются человеческими.

Генетический разбор анализов Тимашева может выявить ту теорию, в которой нуждается современное общество, подвергающееся столь быстрым и беспримерным переменам. Разбор с точки зрения элементов, составляющих внутреннюю логическую последовательность, может указать направление теорий будущего, хоть еще и не сложившихся.

* * *

Социологические анализы Н. С. Тимашева* связаны с его личными и умственными контактами, с его путешествиями и опытом в различных социальных и культурных сферах, с его профессиональной деятельностью, и с деятельностью в качестве редактора, журналиста и профессора.

Университетские занятия дали толчок двум его диссертациям во французской и русской традициях: магистерской — об условном осуждении, и докторской — о преступной пропаганде. Базой умственного развития молодого ученого являлось, в то время, **право** в традиционном формальном смысле. Эти диссертации несомненно содержали в себе зародыши тех идей, которые в скором времени стали появляться в статьях Тимашева в разных научных журналах. С 1913 по 1917 г. Тимашев напечатал работы, касающиеся закона о преступной пропаганде, им самим составленного, пенологии и условного осуждения. Эти труды отражают начало развития новой отрасли в истории социологии — социологии права. Тимашева можно считать одним из основателей современной социологии права. До него только Эрлих, в Австрии, серьезно занимался этими проблемами. И сам предмет и определение «социологии права» были в то время еще не установлены.

В 20-х годах сфера интересов Тимашева расширилась; однако он одновременно продолжал изыскания основанные

* Чтобы проследить развитие мысли Тимашева, необходимо изучить его труды, т. е. творчество его исключительно богатого и энергичного ума, интересующегося целым множеством сфер и употребляющего самые разные методы. Среди писаний Тимашева есть не только научные социологические труды, но и огромное количество журналистических статей. Настоящая статья основана на его 190 научных работах, изученных автором. Аннотированная библиография его трудов готовится.

на его фундаментальной теме — права. Приблизительно 38 научных статей и несколько книг относятся к этому периоду; пять из них касаются права в формальном смысле, четыре рассматривают вопросы социологии права, изучая право как общественно-культурное явление. Другие, хоть и касаясь права, написаны на более специальные темы: частная собственность, идеология, советская конституция, трудовые союзы, церковь, промышленность и демократия. Каждый труд характеризуется аналитической точностью, точностью юриста расщепляющего на элементы то или иное дело.

Это не значит, что Тимашев намечает или развивает какую-либо самостоятельную теорию. Он никогда не дает оснований полагать (в отличие от многих его современников), что он ищет всеобъемлющий образ или схему для толкования человеческих поступков. Процесс его мысли — это внутренняя логика самого опыта, а не серия категорий (будь они между собой связаны), составленных автором до наблюдения.

Самая ранняя концепция культуры в трудах Тимашева намечена уже в статье от 1922 года («Судьбы Культуры в России: 1917-1921», «Русская Мысль», Прага). В ней разбирается влияние насильственной политической деятельности новоустановленной коммунистической партии на искусство, науку, технику, образование — т. е. на строй жизни русского народа. Эта статья подчеркивает единство культуры, как самостоятельной единицы. Из ее анализа становится очевидным, что русская культура, сама по себе не вырастила коммунистическую революцию, под контролем которой она теперь находится. Эта революция, фактор чуждый русской культуре, рассматривается как сила разрушающая, если не уничтожающая, эту культуру.

Применяя термин «культура» к уже развитому обществу, Тимашев является одним из первых ученых, освободивших это понятие от рамок антропологии и употребляющих его индуктивно при анализе развитого общества. Тогда как это было совершенно неизвестно в США, в Германии — Макс Вебер, Зиммель и их окружение нашли таковое применение очень ценным.

С 1922 г. Тимашев, покинув Россию, жил за пределами тех великих перемен, за которыми он следил. Его непрерывный анализ событий в России является одним из его самых значительных вкладов в социальную науку. Подробное изучение происходящего в России есть непрерывная нить в жизни Тимашева. События и их значение, начиная с октябрьской ре-

волюции 1917-го года, проходя через все политические и социальные превращения 20-х, 30-х и 40-х годов, являются базой не только множества статей, но и нескольких значительных книг, особенно «Великое Отступление» (1946).

В эти же годы Тимашев стал развивать другую важную отрасль социологии — науку о политических системах. «Организация Русской Диктатуры» это — подробный анализ (завершенный систематическим общим обзором) советской правящей элиты раннего периода, вскоре после захвата ею власти. Появились и другие статьи, разбирающие процессы политической структуры и власти, изучающие главным образом систему выборов, финансовые и правовые процессы в политических группировках. Предметом наблюдения продолжает оставаться СССР, но появляются и элементы сопоставления с другими системами и с общей теорией. Ранний интерес Тимашева к политическим системам ставит его во главе развития политической социологии. Его книга «Три Мира» (1946) есть систематический синтез господствующих политических формаций первой половины 20-го века.

После бегства из СССР Тимашев жил сначала в Германии, где среди других дел он писал в газете «Руль», а потом, до 1928-го года, профессорствовал в пражском университете. Его старания систематически следить за процессами происходящими в СССР и истолковывать их вызвали еще большее расширение его собственных перспектив.

С 1928-го г. по 1936 г. Тимашев жил в Париже, где, как многие из его знаменитых предшественников в социологии (Дюркхайм, Леплэй, Зиммель), он погрузился всецело не только в профессорскую деятельность, но и в напряженное писание. Тимашев стал одновременно помощником редактора газеты «Возрождение» и профессором Славянского Института при Сорбонне и Франко-Русского Института. Кроме того, он часто ездил по Западной Европе, читая доклады в разных университетах.

Легко понять, что количество его научных работ уменьшается за эти годы по сравнению с предыдущими (за этот период появилось 25 научных статей). Все эти работы продвигают изучение социологии права, пенологии и политических систем. Но настойчиво пробивается и новая тема.

В 1922-ом году, имя Тимашева, как крупного теоретика, уже установилось, особенно в статье «Право как коллективно-психологическая реальность». В 1936-ом году он еще более ясно показывает право, мораль и власть, как единое

целое («Право, Этика, Власть». Архив философии и социологии права, Париж).

Сотрудничая с профессором П. А. Сорокиным в известном труде последнего «Социальная и Культурная Динамика», в числе одного из 20 американских и европейских его сотрудников, Тимашев работает над проблемами преступления, войны и революции. Непосредственный результат его изысканий стал существенной частью знаменательного сорокинского труда; но интерес Тимашева к проблемам войны и революции не иссяк и проявлялся многократно в лекциях, семинарах, исторических исследованиях. В текущем году, его теории о войне и революции появятся в печати в форме книги.

До перехода в Фордэмский университет, Тимашев провел четыре года, как профессор, в Харвардском университете. Часть его самых значительных трудов относится к этому периоду, главным образом книга «Введение в Социологию Права» (1939). Другие значительные работы по криминологии, пенологии, условному осуждению и политической социологии были напечатаны в главных американских научных журналах.

Когда в 1940-м году Н. С. Тимашев перешел в Фордэмский университет там не существовало настоящего отдела социологии. Программы отделов политической философии и социальных наук составляли одно целое. В то время в Фордэмском университете была целая группа выдающихся ученых. М. Миллар, стоявший во главе отдела, был знатоком истории политической мысли. Экономист Ф. Бэрвальд, историк Росс Хофман и Оскар Халецкий были среди его коллег. Атмосфера способствовала дальнейшему развитию научной работы Тимашева. В последующие 20 лет Н. С. Тимашев опубликовал около 110 статей и 10 книг. За этот же период проявилась еще новая, возможно самая важная, сторона его научного творчества — изучение социологической теории, метода и развития этой теории.

До появления книги Тимашева о теории («Социологическая теория: ее природа и развитие», 1955) появилось по-английски только два серьезных труда, рассматривавших развитие социологической теории: П. А. Сорокина «Современные Социологические Теории», 1928, и Хауза «Развитие Социологии», 1930. Большое количество статей о социологических методах, определениях и понятиях вышло из-под пера Тимашева. Появились также и его труды об отдельных теоретиках и их школах.

Если рассмотреть работы появившиеся после 1949-го года, то видно, что еще одна новая тема проходит сквозь труды, касающиеся права, политических систем, русского общества, международных отношений. Она чувствуется даже в рассуждениях о самой социологической теории. Эта новая тема — вопрос об **идеологии**.

В статье «Основной Конфликт Нашего Времени» («Мысль», 1949) Тимашев пишет: — «Идеологические конфликты известны в истории; они часто приводили к войне. Революционные и наполеоновские войны (1792-1815) были вызваны не только англо-французским антагонизмом, но и конфликтом между **традиционными** и **революционными** идеалами того времени. Вторая мировая война вспыхнула, главным образом, из-за попытки Германии заставить «старый мир» принять ее социальный идеал, основанный на превосходстве тевтонской расы. Теперь же угрожает 3-я мировая война из-за усилий СССР навязать свой социальный идеал всему миру и твердого решения США и их союзников препятствовать этой попытке и довести до победы собственный социальный идеал».

В этой же статье Тимашев ясно характеризует социальные идеалы и их реальность, как силу движущую человеческими поступками и имеющую даже некоторое первенство перед другими влияниями. «Несовместимые социальные идеалы, которым приписывается универсальная действенность вызывают противодействие со всех сторон. Но объективное положение послевоенного мира нуждается в согласованной деятельности всех. Если б не существовало этого условия, столкновение идеалов вызвало бы, может быть, лишь устную оппозицию. Но одновременная необходимость сотрудничества и видимая невозможность этого сотрудничества усугубляет конфликт, делая его острым и почти безнадежным. В результате, к основному идеологическому конфликту прибавился и другой конфликт — конфликт властвования».

У Тимашева социальные идеалы являются независимой переменной величиной при разборе либерального общества, фашизма, нацизма (в книге «Три Мира», 1946), а также и коммунизма («Советская идеология в 60-ые годы», «Текущая история», 1962). Та же переменная берется Тимашевым за базу распространения социальных систем во второй половине 20-го века.

Вопрос о мысли и системах мысли занимает большое место в трудах Тимашева и становится доминирующей темой его последних работ. Можно ли из всего этого утверждать,

что Тимашев подготавливает систематическую теорию общества? Есть ли закономерность и логичность в его трудах взятых как целое? Это трудный вопрос, на который мы можем дать сейчас только частичный ответ.

* * *

Если под систематической теорией подразумевать серию терминов и понятий, определения которых взаимозависимы и которые сами являются фундаментом для постройки ряда универсальных суждений и законов, то тогда у Тимашева нет систематической теории. Его труды не поддаются такой трактовке. Он не создал ни «модели», для анализа групп, как это сделал например Лумис, ни различных математических формул, как у логико-позитивистов, ни формул употребляемых теоретиками, изучающими маленькие группы.

Не будучи любителем научной полемики, Тимашев тем не менее отклонил многие подходы такого рода к теории и методам исследования. Будучи поклонником своего друга и коллеги П. А. Сорокина, Тимашев не является его последователем. Он также отверг большую часть теорий Парсонса, главным образом, из-за их зависимости от индивидуалистической психологической перспективы, тогда как эти теории претендуют на всеобъемлющее значение («Критический анализ социальных теорий Т. Парсонса», Амер. Католический Социологический Журнал, 1962).

Но если хронологически рассмотреть развитие тимашевской мысли, и изучить её не только в связи с его собственной теоретической работой, а взять социологию вообще, то выделяются, как я уже сказал, три основных положения.

1. Общество и социальные системы суть системы самоопределяющиеся с точки зрения их культурного и индивидуального элементов.

Тимашев вёл подробную запись событий в России начиная с 1917 г. Он составил то, что можно было бы назвать хроникой событий в развитии коммунистического общества. От времени до времени, публикации, основанные на этом богатейшем материале, отмечают, систематически и с специальными целями, какую-нибудь особую черту этого общества. В трудах Тимашева нет ни одного образа (биологического, механического или др.) под который события, их взаимоотношение и значение были бы автором подгоняемы.

Следя за суждениями Тимашева о России или о коммунизме, о начале и развитии структуры власти, получаешь

ощущение чего-то действительно реального, а не подхода к действительности сквозь призму предвзятой точки зрения. Читатель действительно **знает**, что и Россия изменилась, и коммунизм, и наши возможности понимать эти изменения. Если бы ученый начал с единой схемы и старался безудержно придерживаться ее, эта самая последовательность привела бы к научной слепоте.

До сих пор ни одна единичная перспектива, ни одна логическая система не оказались абсолютно удовлетворительными при научном анализе человеческих действий. Но метод наблюдения социальных систем (в данном случае, главным образом, но не исключительно коммунистической), употребляемой Тимашевым, применяющим одну за другой разные перспективы, оказался необычайно удачным. И этот успех дается отсутствием зависимости от какой-либо системы перспектив, и сознательным мастерским употреблением разных перспектив независимых друг от друга. Изучая подробно анализы Тимашева, касаются ли они правовых систем или политических, убеждаешься, что имеешь дело с действительным течением изучаемого явления, а не с каким-то стереотипным образом этого явления.

2. Каждый из них (т. е. социальный и культурный элемент) в своей мере, способен изменяться. Это изменение не определяется внешними факторами, но переменами внутренними, присущими культурному и персональному элементам.

Возобновленный и все время увеличивающийся интерес к трудам Дюркхайма является, может быть, самым лучшим подходом к пониманию трудов Тимашева. Несколько поколений критиков возражали против «социологизма» Дюркхайма, т. е. приписывания социальному **факту** собственной реальности, которая выше реальности отдельных элементов этого факта. Память о том, что Дюркхайм стремился к понятию общества как **единственной** реальности, его толкование и анализ разделения труда, помогают понять ход мышления Тимашева. Для Дюркхайма общества также различны, как и разделение в них труда. Перемены в обществе или обществах могут быть измерены изменениями в разделение труда.

Право в писаниях Тимашева играет ту же роль в анализах социальных систем, как разделение труда у Дюркхайма. Социальные системы у Тимашева не просто сводятся к правовым системам: правовая система является мерой, указателем или главным «отражателем» социальной системы и ее изменений. Общества также различны, как и их правовые систе-

мы. Изменения в обществе обнаруживаются по изменениям в правовой системе.

В теоретическом анализе у Тимашева право действительно является лучшим отражением культуры. Идеальные нормы «явно принадлежат культуре, т. е. совокупности длительных результатов человеческих взаимодействий...», а правовые нормы суть элементы социальной структуры («Социальная Реальность Идеальных Норм», Журнал юридической и политической социологии, 1944). Кроме того, — «...обычай или право суть социальные явления; значит определение, будь это путем обычаев или законом, пределов наказуемого поведения есть тоже социальный процесс». («Элемент возмездия в наказании», Журнал уголовного права и криминологии, 1937).

В большинстве трудов Тимашева по изучению преступления, правонарушения, наказания, в частности условного осуждения, можно увидеть отыскание культурных и социальных факторов определяющих эти явления и их взаимозависимость («Воздействие на закоренелых преступников вне США», Журнал уголовного права и криминологии, 1939).

Но ни в одном из этих анализов ни культура ни общество не являются факторами определяющими право, идеальные нормы, выведенные из биологических, психологических или интеллектуальных перспектив действующих в человеке. «Идеальные нормы являются частью социальной реальности если, среди членов социальной группы, соответствующие им тенденции взаимодействовать или готовность совершать определенные поступки установлены, и не были уничтожены последующими процессами идущими в обратном направлении. Каждая из этих тенденций должна соответствовать идеальной норме... Из этого вытекает, что биопсихические явления (в которых реальность идеальных норм выражается) принадлежат, главным образом, к сфере заученного поведения...» («Социальная реальность идеальных норм»).

Итак, изменения в обществе, культуре, личности проявляются в виде взаимопроникающих систем, а не как системы, которые приходят в столкновение одна с другой.

3. Социальные структуры и их движущие силы должны быть наблюдаемы в качестве человеческих процессов, а не только как биологические или механические процессы. Эти процессы подлежат научному исследованию именно потому, что они являются человеческими процессами.

Один из советов Тимашева своим ученикам: никогда не подражайте кому бы то ни было. Его лекции, как и его писания, были всегда ясные, точные и логические. У него, ни одна теория, ни один метод никогда не бывают никчемными. Каждая схема изучения человеческих поступков может дать новый аспект к их пониманию. От одной крайности — социального дарвинизма — до другой — математических формул неопозитивистов, как Додд и Зипф, каждая теоретическая точка зрения считается достойной обсуждения и подлежит разбору, но никогда не просто подражанию.

Правда не должна быть навязываема. Она вытекает из научной мысли одновременно с тем, как эта мысль разрабатывается. У нее может быть много образов: некоторые окажутся яркими, другие неясными, одни неполными, другие более цельными. Но каждый из них выражает общий процесс знания.

Почти каждый анализ Тимашева, независимо от рассматриваемого предмета, ясно свидетельствует о мышлении такого рода. В каждом ясна логика юриста допускающая мысли других ученых, которые занимались этими же вопросами; отвержение несообразностей; сочетание заново предложений и доказательств в их новом виде — вот черты характерные для Тимашева в каждом его труде. Это не подход доктринёра-социолога, который навязывает заранее установленную формулу своему заранее выбранному материалу для исследования. Тимашев не формулировал всеобъемлющей теоретической системы, или концептуальной модели для научного изучения человеческих действий. Некоторые ученые его критикуют за это. Другие — просят продолжать в том же направлении. Нет сомнений, что его огромный вклад в науку требует именно этого.

Может быть настанет время, когда социологи придут к убеждению в том факте (который Тимашев уже знает давно), что понимание человеческих поступков, их предсказание и контроль не даются при помощи той или иной аналогии или какой-нибудь группы таковых. Спенсеровская биологистика, паретовская механика, психо-динамические производные Фрейда, или последние, более утонченные употребления этих метафор, например, в парсоновских «сцеплениях», все эти системы к окончательному пониманию человеческих явлений не ведут.

Подход к теориям и методам, при которых нет потребности в определенной формуле, т. е. подход Тимашева, от-

крывает путь для той социологии будущего, которой придется иметь дело с новыми социальными системами и новыми идеями, так быстро и в таком изобилии возникающими во второй половине 20-го столетия. Очень возможно, что социология новой эры будет в состоянии иметь дело с любыми моделями. Только совокупность возможных моделей сможет компетентно показать и истолковать все виды человеческих поступков и их значение в обществе.

Проф. И. Шойер

Ф. А. СТЕПУН

В феврале с. г. Федору Августовичу Степуну исполнилось 80 лет. «Новый Журнал» приветствует Ф. А. как большого русского писателя, философа и социолога, от души желая ему сохранения всех его всегдашних буйных сил для продолжения той большой творческой работы, которую Ф. А. за рубежом ведет уже много лет.

Напомним нашим читателям главные даты биографии Ф. А. Он родился в Москве в 1884 г. Окончил Гейдельбергский университет с дипломом доктора в 1910 г. В том же году Ф. А. выступил со статьями на литературные и философские темы в «Русской Мысли», в «Северных Записках», а также участвовал в международном сборнике «Логос», выходившем на нескольких языках.

В годы первой мировой войны Ф. А. выпустил свою первую книгу «Записки прапорщика артиллериста». Она имела большой литературный успех и многие называли ее «лучшей книгой о войне». В революцию 17 года Ф. А. был начальником политического стола военного министерства. В 1922 г. вместе с другими выдающимися русскими учеными, писателями, философами был выслан советским правительством за границу.

В эмиграции литературная деятельность Ф. А. развернулась широко. В «Современных Записках» он выступал со статьями на темы литературы, истории, философии. В этом же журнале опубликовал свой роман в письмах «Николай Переслегин», в 1929 г. вышедший книгой. Большую творческую работу Ф. А. вел в журнале «Новый Град», которым руководил вместе с Г. Федотовым и И. Фонда-

минским-Бунаковым почти до дней второй мировой войны.

С 1926 г. Ф. А. занимал кафедру социологии в Высшей Технической Школе в Дрездене, где работал до 1937 года, после чего, как политически враждебный режиму, принужден был оставить профессию. После конца войны Ф. А. занял кафедру русской истории и русской культуры в университете в Мюнхене. За время с окончания войны Ф. А. выпустил много работ на немецком и русском языках, из которых, вероятно, самой замечательной явились его двухтомные воспоминания «Бывшее и несбывшееся». В свое время «Н. Ж.» печатал отрывки из этой работы. К восьмидесятилетию Ф. А. на немецком языке вышла его большая новая работа о русском символизме, которая, надеемся, будет издана и по-русски.

Редакция «Нового Журнала» сердечно приветствует Ф. А. и с удовольствием печатает речь о нем, произнесенную профессором Д. И. Чижевским на чествовании Ф. А. в Мюнхене.

РЕД.

РЕЧЬ О СТЕПУНЕ

К его 80-тилетию. Речь, произнесенная Дм. Чижевским на юбилейном вечере, организованном Баварской Академией изящных искусств 20-го февраля 1964 г.

Дорогой Федор Августович, милостивые государыни и милостивые государи! Конечно мое слово может быть только скромным вступлением к тому, что мы услышим из уст самого Степуна. Я надеюсь, однако, что мне удастся наметить здесь несколько тем, существенных для всей деятельности Степуна.

Прежде всего надо отметить многосторонность деятельности Степуна, — мы знаем его философские, публицистические, социологические, богословские и поэтические произведения. И мы можем все его произведения считать также поэтическими, если будем помнить о его несравненном даре слова.

При всем многообразии тематики работ Степуна во всех них есть нечто общее: он хочет своим читателям (или слушателям) указать какую-то цель и пути к этой цели. Этой задаче посвящено всегда содержание его писаний и речей, и этой же задаче служит и увлекательная художественная форма, которую он придает этому содержанию.

Степун приехал в 1902 г. как юный студент в Гейдельберг, где в те годы особенно часто звучало слово **«метод»**. Как ученик В. Виндельбанда, в кругу талантливых немецких и русских коллег-студентов Степун занимался теоретической философией, которая говорила в первую очередь о **методе** познания. Скальпель философского метода оттачивали так долго и старательно, что он был в конце концов на практике непригоден: слишком тонкое острие было неспособно резать; наилучший метод оказывается бесполезным, если его нельзя применять. Степун почувствовал очень рано бесперспективность усилий усовершенствования метода. И характерным

оказался для него выбор темы для диссертации: это была философия Владимира Соловьева, которую он сблизил с философией немецкой романтики. То знание, к которому стремился молодой студент должно было быть прежде всего «живым знанием». Стремление к «живому знанию» (о котором говорили и русские славянофилы) обнаружилось особенно ярко в сборнике, который Степун вместе с своими немецкими и русскими товарищами издал под названием «О Мессии». Особенно характерна для Степуна была тонко и изящно написанная статья о немецком романтике Фридрихе Шлегеле. В этой статье Степун особенно подчеркивает словесное искусство молодого Шлегеля и отмечает связь в его афоризмах глубокого теоретического содержания и художественной формы. Стиль Степуна развился в том же направлении к словесному искусству, которое было так свойственно афоризмам молодого Шлегеля.

Но афористический стиль Степуна не сводится к награждению остроумных, заостренных, изящных формул, ценность которых подрывается их бессистемностью. Афоризмы Степуна, столь характерные для его стиля, и которых так много в любой его статье и книге, в каждой его речи или докладе, стоят у него в рамках определенной **системы** мыслей и служат для построения новой системы. Он всегда умеет соединить многосторонность отдельных формулировок с единством общего построения.

Многосторонность Степуна часто представляется нам постоянной сменой ролей и физиономий. Я помню старую серию фотографий Степуна (некоторые из них были опубликованы): на них мы видим различные физиономии, начиная с немецкого профессора (при том довольно сухого, скучного типа) и до парня, который легко нашел бы себе место в ночлежке «На дне» Горького. Так называемые «разносторонние» люди по большей части только играют свои различные роли или более или менее искусно лицемерят. Степун во всех своих ролях всегда остается самим собою, за всеми его серьезными и ироническими (ведь он и замечательный «ироник») физиономиями всегда виден его единый облик, очень определенное и ясно-очерченное лицо «вечного Степуна». Двойственность меняющейся физиономии и устойчивого облика делает столь трудной характеристику Степуна и все попытки дать его живописный или скульптурный портрет — действительно, как кажется, все попытки были неудачны.

Но в разносторонности или многообразии обликов Сте-

пуна нет внутренней двойственности или разрыва. В своей деятельности он стремится всегда с одинаковой полнотой и жизненностью дать выражение тем истинам, которые принадлежат к существу его системы идей и которым он не изменяет, как это делают многие «ненадежные» русские мыслители и поэты (например, любимый поэт нас обоих, Андрей Белый). Многие почитатели Степуна прежде всего ощущают двойственность его русского и немецкого существа: немцам он представляется типично русским, очень многим русским (несмотря даже на его православие) — «совершенным немцем». Но и здесь у Степуна нет внутреннего противоречия и именно его двойная «национальная принадлежность» делает его несравнимым посредником между русской и немецкой культурой.

Что Степун работает, как «строгий» ученый, это более всего знают те, кто знает его метод чтения, писания и обсуждения научных вопросов. Степун — ученый и собиратель материала. Правда, он идет несколько иным путем, чем большинство из нас, ученых. В его университетские годы для философской молодежи особенно привлекательным было слово «**интуиция**». Степун оставил путь своих философских учителей, не дождавшись решения вопроса о методе. В его собственном методе работы особо значительную роль играет именно интуиция. Слово это звучало как волшебное имя таинственного пути познания глубочайших тайн действительности. Самое слово имеет довольно прозаический немецкий перевод «*Anschauung*», по-русски это нечто среднее между «созерцанием» и «наглядностью». Очень многое мы лучше всего видим «с первого взгляда». Но для познания с первого взгляда надо иметь соответствующие глаза: такие глаза несомненно есть у Степуна. Однако, многое, что нам бросается в глаза «на первый взгляд» требует проверки, уточнения и детальной характеристики. Те, кто ограничивается беглым «первым взглядом» и считает это интуитивным познанием, по большей части способны дать отчет о познанном ими путем «интуиции» лишь в форме совершенно безответственного «Взгляда и нечего» («о чём бишь нечего? обо всём»). Степун не принадлежит к таким сторонникам интуитивного познания. Если даже «первый взгляд» открывает ему широкие горизонты, он всегда пытается детализировать и так сказать «картографировать» открывшуюся ему перспективу. Он изучает вопрос в частности; он — замечательный читатель, стремящийся проникнуть в содержание читаемого, не ог-

раничиваясь беглым просмотром книг и статей. Точно так же он и пишет, разыскивая адекватную формулировку, меняя слово за словом и пытаясь дать такое выражение своей мысли, которое было бы более убедительным и ясным для читателя (не забудем, что его читатели принадлежат прежде всего к двум различным языковым группам: для немцев и русских ту же мысль надо часто дать в совершенно различных формах выражения). Но Степун обладает не только проницательным взором и необходимым для проверки и обработки добытого интуицией прилежанием, но и способным к выражению самого сложного содержания языком и пером. Это соединяет во всех его работах широту перспективы с детальностью анализа (вероятно это последнее слово не очень понравится многим читателям, и почитателям Степуна), который дает нам часто в его книгах и статьях то углубление в проблему и в материал, которое только и позволяет придти к точной афористической формулировке. Конечно, не все мнения Степуна безошибочны: с работой ученого неизбежно связаны неполнота и ошибки, служащие — по вряд ли правильному но остроумному замечанию одного историка — только к украшению облика истины.

Основная мысль мировоззрения Степуна может показаться парадоксальной — это утверждение о теснейшей связи истины с ее носителем, личностью. Здесь повторяется та же диалектика, которую мы встретили в характеристике метода работы Степуна. Если истина всегда собственность, так сказать «частная» собственность определенной личности, то можно ли говорить об «объективной» истине? Не является ли тезис Степуна субъективизмом или релятивизмом, отнимая от истины ее существенный признак — «общезначимость». Это впечатление сначала усиливается при знакомстве с его автобиографическими («Письма прапорщика-артиллериста», воспоминания) и поэтическими (роман «Николай Переслегин») произведениями. Но перечитывая эти, как будто бы не претендующие на теоретическое значение, книги, мы открываем с изумлением, как автору удается в личных своих или своего героя переживаниях показать, что сквозь них «просвечивает» абсолютная истина, личные судьбы отдельной личности освещают общечеловеческое и общезначимое, и мы ясно видим, что «субъективное переживание» может быть носителем объективной и общезначимой истины.

Степун превращает конкретные индивидуальные образы в символы абстрактной мысли, «абстрактной», не в отрица-

тельном значении этого слова, а в философском: его образы являются представителями **«спекулятивной мысли»**, «спекулятивная мысль в русской философской традиции носит имя **«умозрения»**. Философский идеал Степуна несомненно «умозрительная философия», хотя бы и отличная от умозрительной философии тех представителей русской религиозно-философской мысли, которые примыкают к идеям Владимира Соловьева.

И жизненный путь Степуна был в каком-то смысле сложно-противоречивым. Конечно, нельзя принимать всерьез астрологическую символику, но ее можно использовать, как средство метафорической характеристики. Степун родился 19 февраля — в день стоящий на границе двух зодиакальных знаков: Водолея и Рыб. По астрологической традиции эти знаки зодиака предвещают новорожденному счастье, успех, руководящую роль в какой-то области жизни, близость в искусству, любовь. Счастливая молодость Степуна под знаком «мирной» водной стихии оборвалась с его призывом на военную службу: как прапорщик-артиллерист он вошел в сферу влияния огненной стихии. И с того времени его жизнь проходила под знаменем бурных исторических событий: две мировых войны, революция, мрачные годы «третьего рейха», когда прервалась его преподавательская деятельность (бывшая для него не только профессией, но и внутренним призванием), и наконец — запрещение всяких выступлений в печати; к концу войны он должен был опасаться более решительных мер преследования. Но Степун всегда оставался самим собой: его охраняла духовно не только его семейная счастливая атмосфера (говоря о Степуне, нельзя забыть подруги его жизни Натальи Николаевны Степун), но он оставался учителем и руководителем той молодежи и круга друзей, которые несмотря на все запрещения властей, все-же собирались вокруг него — соединенные надеждой на более счастливое и свободное время. К концу войны враждебный Степуну огненный элемент превратил в развалины его город — Дрезден. Степун спасся почти случайно — во время одной поездки ему после небольшого «несчастливого случая», оказавшегося счастливым, не удалось вернуться домой в Дрезден. Потом возвращаться оказалось некуда! И поток жизни вынес его в любящий искусство город на берег Изара, где мы и празднуем его 80-летний юбилей.

Юбилейное собрание, состоявшееся при огромном наплы-

ве участников — коллег, друзей и почитателей Федора Августовича, завершилось музыкальной программой, один из друзей Степуна пианист-виртуоз У. Даммерт, знаток русской музыки, исполнил несколько вещей Листа, Дебюсси, Рахманинова и Скрябина. В заключение юбиляр прочел несколько отрывков из своих произведений, связав чтение со свободным изложением нескольких мыслей на особенно дорогие ему, как он отметил, темы: родина, любовь и искусство.

БИБЛИОГРАФИЯ

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ. *Свет вечерний*. With an Introduction by Sir M. Bowra and Commentary by O. Deschartes. Edited by Dimitri Ivanov, Oxford at the Clarendon Press, 1962.

Вернувшись, после долгих странствий по Европе, в 1905 году в Петербург, Вячеслав Иванов сразу же был признан вождем того нового литературного движения, появление которого предсказал Мережковский в своем манифесте от 1892 года. Последние слова манифеста, появившегося вместе со сборником стихов «Символизм», гласили: «Подлинная культура только и есть — богоискательство, подлинное искусство — только и есть символизм». Ученым исследователем прежде всего античных корней символизма, глубоким идеологом и тонким критиком этого движения Вячеслав Иванов прожил всю свою жизнь. Не так одномысленно обстояло дело с признанием Вячеслава Иванова как крупного поэта. Конечно, никто из людей близких к поэзии, не говоря уже о поэтах, не отрицал в нем того особенного духовного опыта, того душевного строя, которым поэт отличается от людей иной формации: от типичного профессора филологии или мечтательного обывателя. Но признанного поэта Иванова многие знатоки искусства признавали лишь с большими оговорками, не проявляя к его поэзии большой любви. Как-то так повелось, что после появления *Cor Ardens*, Вячеслава Иванова стали упрекать в тяжеловесности, в загроможденности его стихов, ничего не говорящими современному человеку, греческими мифами и «вязкой вязью неологизмов». От такой характеристики не вполне свободен даже и Сергей Маковский в своих «Портретах современников», ставящий себе задачей раскрыть «положительную сущность ивановского творчества». В недостойной озлобленной форме упрекал все за те же недостатки Иванова и Андрей Белый: «Темной окаменев громадой повисло тяжело, тебя подавив, твое темное солнце». Этими словами из ивановской трагедии «Тантал» Белый характеризует и поэзию самого Иванова.

Подлинного понимания поэзии Вячеслава Иванова не осилили также поэты и критики так называемой Парижской школы. Не раз

в спорах о Вячеславе Иванове приходилось слышать легкомысленно брошенную цитату из Пушкина: «Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата». Этой известной цитате можно противопоставить и совершенно другие. Пушкин любил Баратынского за то, что он «всегда мыслит»; в Жуковском он любил сладость высокой мысли и стихов. И даже легковесный Онегин сетует на русскую поэзию за то, что в ней мало «признания и мысли», ставит вопрос, неужели же надо дорожить одними звуками своих стихов?

Споря с умалителями поэзии Вячеслава Иванова (они же часто и умалители такого большого поэта, каким бесспорно был Владислав Ходасевич) я отнюдь не отрицаю ни орнаментальной сложности, ни некоторой тяжелоудумности ивановского искусства. Конечно он, никогда не был очеловеченным соловьем, люющим в дремлющий сад свои вечерние трели, как он никогда не был и односторонним формовером, мастером того чекана небытия, каких становится всё больше и больше во всей европейской прессе. Кончая свою статью об Иванове к его семидесятилетию, я писал о тех же особенностях Вячеслава Иванова как поэта, за которые его порицали, но писал с другим чувством к поэту и с другим отношением к ним.

По учению символизма, связанного отчасти с немецкой романтикой, подлинным поэтом может стать только тот человек, который является художественным произведением Творца. Из этого следует, что художественные особенности всякого поэта определяются особенностями того состояния, в котором он творился. Говоря в стиле символизма, невозможно сомневаться в том, что Бог творил Иванова в минуту глубокого раздумья над созданным им миром. Эти раздумья и трудности мы и ощущаем, читая Вячеслава Иванова. Бессмысленно упрекать его в злоупотреблении образами и понятиями античной мифологии. Эти образы отнюдь не «золототканное украшение», а воспроизведение того мира, в котором от рождения жил Вячеслав Иванов. Он явно появился на свет таким же запоздавшим рождением греком, каким был и лучший немецкий поэт Гёльдерлин. Только этим и объясняется уже в ранней юности зародившаяся тема Рима, которая проходит через всю его жизнь. Началось с увлечения Ницше и его учением о Дионисе. Бесконечно углубилась эта тема встречей с женщиной, именуемой в поэзии Менадой, на которой поэт и женился. Не случайно, конечно, присоединение Иванова к римско-католической церкви. Важны и показательны его слова перед эмиграцией: «Еду умирать в Рим». Завершением римской темы является и «Римский дневник» поэта.

Стилистически этот дневник имеет мало общего с поэзией, на которую постоянно нападали глухие к искусству Вячеслава Иванова

критики. Вышедший в 1911 году в Москве двухтомный сборник отделяет от «Римского дневника» стихотворение «Палинодия», в котором Иванов удивленно вопрошает: «Ужели я тебя, Эллада, разлюбил?» и слышится приказ поэту: «Покинь, служитель, храм украшенный бесов». Поэт послушался приказа свыше: «И я бежал, и ем в предгорьях Фиваиды молчанья дикий мед и жесткие акриды».

Освобождение от Эллады и ее гуманистической культуры было не окончательным. Последовало лишь ее вовлечение в христианский мир. От своего Рима Вячеслав Иванов не отрекся, но после «Палинодии» в нем навсегда осталась память о Фиваиде: ощущение единства предельной простоты и высоты, которым и определяются стихи «Римского дневника». Такие же стихи по духу встречаются всё же и в более ранних произведениях поэта. Так, например, написанная в 1917 году «Могила»:

Тот в праве говорить: «Я жил»,
Кто знает милую могилу;
Он в землю верную вложил
Люби нерасточенной силу.

Не оскудеет в нем печаль,
Зато и жизнь не оскудеет;
И чем он дольше сиротеет,
Тем видит явственнее даль.

Бессмертие ль? О том ни слова.
Но чувствует его тоска,
Что реет к родникам былого
Времен возвратная река.

Предвосхищением «Римского дневника» были и многие стихотворения «Римских сонетов», написанных в год свидания с Римом — 1924, для которых, как писал Ходасевич, характерны «высота, скромность и некрикливость мастерства». Напомню первое стихотворение этого цикла:

Вновь, арок древних верный пилигрим,
В мой поздний час вечерним «Ave Roma»
Приветствую как свод родного дома,
Тебя, скитаний пристань, вечный Рим.

Мы Трою предков пламени дарим;
Дробятся оси колесниц меж грома
И фурий мирового ипподрома:
Ты, царь путей, глядишь, как мы горим.

И ты пылал и восставал из пепла,
И памятливая голубизна
Твоих небес глубоких не ослепла.

И помнит в ласке золотого сна,
Твой вратарь кипарис, как Троя крепла,
Когда лежала Троя сожжена.

В «Римском дневнике» нет уже ни одной риторической складки. Ни одного орнаментального украшения. Душа поэта предстает читателю как бы в своей мистической наготе, в тишине, скромности и верующей покорности Богу:

Я посох мой доверил Богу
И не гадаю ни о чем.
Пусть выбирает Сам дорогу,
Какой меня ведет в Свой дом.

А где тот дом, — от всех сокрыто;
Далече ль он, — утаено.
Что в нем оставил я, — забыто,
Но будет вновь обретено,

Когда от чар земных излечен
Я повернусь туда лицом,
Где — знает сердце — буду встречен
Меня дождавшимся Отцом.

В заключение хочется высказать надежду, что «Свет вечерний» раскроет многим людям нового Иванова не только в его новых стихах, но и в тех более ранних, которые они отрицали потому, что не умели их читать. Ведь нет двух поэтов Ивановых, а есть только один, в котором изумительнее всего то, что он до смерти неустанно рос в своем творчестве. Не так давно меня обрадовало полученное мною письмо новоэмигрантского поэта и литературоведа: «Я уже давно понял, что оценка поэта не обязательно связана с его идейным пониманием. Подлинная поэзия захватывает ритмически, словарно до того еще, как научаешься разбираться в ее содержании. Я в прошлом году впервые прочел «Кормчие звезды» и был сразу же зачарован поступью ивановских слов, его необычайной широтой и высотой. И на каждой странице я мысленно восклицал: «Это же первоклассный поэт, неизмеримо более значительный, чем некоторые современные властители дум, а его забыли,

знают по наслышке». Высказывается в письме и мысль, что для дальнейшего развития русской поэзии необходимо восстановление в памяти и всего, созданного русским символизмом. Мысль, конечно, глубоко верная, ибо история культуры не допускает провалов в памяти. Вячеслав Иванов прав: «Ты, память, муз вскормившая, свята».

Остается только от души поблагодарить издателя «Света вечернего» и г-жу О. Дешарт за ее совершенно исключительные по объему, точности и тщательности комментарии, за которыми чувствуется большое и глубокое знание всего научного, философского и поэтического творчества Вячеслава Иванова.

Федор Степун

VERA ALEXANDROVA. *A History of Soviet Literature, 1917-1962.*

Translated by Mirra Ginsburg, Doubleday and Co., Inc., 1963, pp. I-XIV, 1-369.

В. А. Александрова, неутомимый, долголетний и внимательный наблюдатель явлений русской советской литературы, совсем недавно написала очень интересную книгу, в которой дан обзор русской советской художественной литературы за период 1917-1962 гг.

На книжном рынке Запада уже есть ряд работ о советских авторах (монографий) и общих обзоров, но, по справедливости, надо сказать, что эта новая книга выделяется своими своеобразными качествами и манерой изложения: с удивительной лаконичностью, и, в то же время, на редкость ярко и выразительно воссоздается картина страстотерпного пути большинства советских писателей. Автор книги не повторяет «зады», она свободна от создававшихся уже штампованных писательских характеристик и повторения репутаций, зачастую созданных в СССР и полуосознанно подхватываемых западными исследователями, она заново, по-своему, по первичным документам следит за литературной судьбой каждого действительно выдающегося писателя.

Обычно подобные литературные обзоры следуют за принятой в СССР периодизацией: «военный коммунизм, НЭП, индустриализация, коллективизация и т. д. В. Александрова ломает эту традицию и делает иначе, — у нее обзор разделен только на две части: литература в период 1917—1939 гг. и затем — в период 1939—1962 гг. Для того, чтобы показать «преддверие» советской литературы и ее хотя бы относительно преемственную связь с дореволюционной русской художественной литературой, дана краткая

и ловко написанная картина (всего 16 страниц!) состояния русской литературы накануне февральской, а затем октябрьской революций 1917 г. В этой картине ярко обрисованы три писательские фигуры, соответственно основным литературным направлениям того времени: М. Горький, Ал. Блок и И. Бунин.

В каждой из упомянутых двух частей есть сжатый общий очерк, объясняющий при каких исторических обстоятельствах возникали разнообразные советские литературные группировки, чем определялись рождение, иногда цветение, а в дальнейшем угасание того или иного направления. В. Александрова обладает талантом распутывать сложные узлы, которыми полны почти все периоды советской политики и вся жизнь подсоветских писателей. Не доходя до обескровленной схемы, В. Александрова умеет выделить самое главное, самое существенное, отбрасывая второстепенное.

Вслед за каждым таким общим очерком идут главы, посвященные наиболее крупным писателям, имевшим несомненное значение в тот или иной период времени (по периодизации В. Александровой). Так, напр., к первому периоду отнесены Маяковский, Есенин, Замятин, Зощенко, Эренбург, Бабель, Пильняк, Пастернак, Олеша, Леонов, Пришвин, Ал. Толстой, Шолохов; после общего обзора второго периода даны очерки о Паустовском, Пановой, Твардовском, Овечкине, В. Некрасове, Дудинцеве и о трех теперь модных — Евтушенко, Нагибине и Казакове.

Во введении к книге автор с сожалением говорит, что из-за ограниченного размера книги не удалось дать отдельных очерков о Федине, Фадееве, Симонове, Панферове, Гладкове и др.

Каждый очерк об отдельных писателях знакомит с их биографией, с главнейшими произведениями и даже с отзывами советских критиков. Особенно удачно выбираются немногочисленные цитаты всегда важные и яркие. Думается, что особенно удались очерки о Замятине, Бабеле, Пильняке, Олеше, Пастернаке, Паустовском и Дудинцеве, т. е. о тех писателях, о которых не так-то много узнаешь из советских обзоров.

В конце книги дана ценная библиография английских переводов произведений писателей, рассмотренных автором, — это очень поможет заинтересовавшимся читателям найти нужное произведение в хорошем издании. Как это обычно для солидных изданий, и в этой книге дан список имен и названий. Хотя в целом эту очень интересную книгу и нельзя считать учебником (она, повидимому, задумана как популярный очерк русской советской литературы), тем не менее, думается, и для учащихся американских колледжей

и университетов она может стать прекрасным пособием при изучении советской литературы. Перевод М. Гинзбург — хороший.

Петр Ершов

ВАСИЛЬ БАРКА. *Жовтий князь*. Мюнхен—Нью-Йорк. 1962. (211 стр).
На украинском языке.

Тридцать лет прошло со времени массового, искусственно созданного голода на Украине. В эмиграции написано немало специально посвященных этому вопросу статей и книг, рассматривающих трагедию украинского крестьянства с исторической и экономической точек зрения. Однако в художественной литературе никто еще не воскресил этот страшный период с такой силой и правдивостью, как это сделал Василь Барка в своей книге.

Некоторые читатели высказывают мнение, что книга эта тяжела не только потому, что темой ее является трагическое вымирание украинского села, но и потому, что стиль автора не рассчитан на широкого читателя. Однако тот, кто вчитается в прозу Барки, будет полностью вознагражден, так как в ходе повествования стиль книги становится всё легче для восприятия, а картины, нарисованные кистью подлинного художника, поражают яркостью, несмотря на мрачный фон.

Фабула повести несложна — судьба семьи Катранников, где из шести человек выживает только один — мальчик Андрей — повторяет судьбу сотен тысяч семейств трудолюбивых украинских хлеборобов — «индусов», то-есть индивидуальных хозяев, не желавших идти в колхозы и выморенных по приказу Сталина и его приспешников.

В повести как бы две линии — гибель людей, несмотря на все их отчаянные попытки раздобыть хоть какую-нибудь пищу и поддержать жизнь в себе и в своих близких. И — спасение из разоренной церкви драгоценной чаши, которую крестьяне, закопав, не выдали, несмотря ни на какие угрозы власти.

Закрытие церкви комиссией, обыском хат с ловальным отбиранием всех продуктов питания и семян, самоубийству секретаря райкома, оставившего записку — «Эта директива — смертный приговор для трудового крестьянства, я не могу...» — и трагическому походу голодных безоружных крестьян на мельницу, где под охраной красноармейцев, вооруженных пулеметами, перемалывается отобранное у хлеборобов зерно, посвящены одни из самых сильных страниц повести.

У Барки, несмотря на разницу в стилистических приемах, очень часто проступает сходство с Солженицыным. Особенно заметно оно при описании Мирона Даниловича, лишенного всего, на чем строилась трудовая жизнь крестьянина, и занятого теперь лишь одним — стремлением выжить, чем-нибудь накормить себя и свою семью.

Как и солженицынский Иван Денисович, герой повести Барки проявляет огромное терпение и изобретательность в своих попытках сохранить жизнь. Но Иван Денисович должен был думать только о себе, тогда как Мирон Данилович в первую очередь думает о детях и жене. Методический и неторопливый рассказ автора о том, как его герой то разрывает забытый кагат с полусгнившим картофелем, то выкапывает мерзлый остов павшего коня, то ловит с сыном воробьев и сусликов, а жена его, не спуская тревожного взгляда с детей, готовит подобие блюд из этой добычи или макухи, производит потрясающее впечатление.

Сил Мирона Даниловича не хватает и он гибнет в пути, отставшись выдать то место, где спрятана чаша. Его место занимает Дарья Александровна, уже потерявшая двух детей и стремящаяся сохранить хоть сына, но разлученная с ним в сутолоке вокзала. Скорбные страницы, описывающие ее последние дни нельзя читать без глубокого душевного волнения.

Сильнее всякого доклада, усаженного цифрами, может послужить осуждением советского режима описание голодных детей, ставших похожими на старичков — «голова большая, а шея тоненькая, как стебелек ржи и на ней голова качается: страшно постарел мальчик и смех утратил» (стр. 50). Такие дети «только глазами светят так скорбно и так странно, словно они уже не принадлежат этому миру. Не жалуются на муку. Только часто ложатся — живот у них раздут и болит, так они ложатся ничком, лицом к подушкам, подогнувши колени под грудь и накрывшись рядом. Оленка на печи, Андрийко на полу, в уголке. Если же лягут ровно, снова корчатся и переворачиваются часто; дышать трудно. Что им не попадается, всё тянут в рот — грызть: осколок конской кости, или даже кусок бумаги от коробки, хранящей след ячменного кофе: нюхают, облизывают и жуют...» (стр. 124) — «...душа матери — в тревоге. Страх сразу возрос, у Мыколы над щиколотками, сквозь лохмотья, видно: на припухших и разорванных местах просочилась вода. Едва не вскрикнула мать, когда увидела распад живого сыновьего тела...» (стр. 85).

Жизненный путь автора этой рецензии был таков, что ей пришлось воочию видеть эти страшные картины, описанные Бар-

кой: «С обеих сторон опустелые дворы: в некоторых мертвые тела лежат у заметенного снегом порога — никого нет, кто мог бы похоронить, в сугробе хотя бы, если не в земле. Усадьбы превратились в пустоши, ни человека живого, ни голоса зимней птицы, ни даже будки собачьей, не то, что лая — ничего нигде нет. Ни сараев, ни курятников и хлевов, амбаров и закромов — всё сожжено... Мирон Данилович подошел к одному окну и заглянул, приложив ладонь к лицу, чтоб затемнить отблеск от стекла. Внутри — только мертвые...» (стр. 122).

Те, кто не погиб в селе, кое-как добрались до города в погоне за продававшимся без карточек «коммерческим» хлебом. В длиннейших очередях выстаивают долгие дни крестьяне, «оборванные, замызганные от ночевки в городских подворотнях — до-нельзя истощенные, серые, костлявые, как выходцы из могил. Или опухшие перед смертью. Неся пустые торбы, они бессильно проталкиваются через толпу; ложатся на камни, покрытые смесью снега и грязи. Их полуживые тела всюду вокруг вокзала: на земле — на тротуарах и на цементных плитах под стенами, а еще больше у заборов. Тянутся голодные к витринам магазина и умирают; никто не обращает внимания...» (стр. 102).

Многие из киевлян помнят сведенные судорогой, страдающие лица, глаза, неотрывно глядящие на ярко освещенную витрину «Торгсина», уставленную всякой снедью, о которой не могло мечтать и городское население... Когда в конце 1949 года в один из крупных американских университетов были посланы записки, о тех временах, и о том, как студенческая бригада была послана для уборки урожая в почти вымершее село, ответ из университета пришел, что такие записки не имеют особой ценности, так как описываемые в них события представляют лишь исторический интерес, а подход авторов «несколько субъективен и явно враждебен» существующему в СССР режиму. В селе же, описанном авторами записок, происходило то, о чем пишет Барка в своей повести на стр. 204:

«Урожай 1933 г. местами удался невиданный: как в сказке; тяжелые колосья клонили стебли и ветер едва раскачивал их... А жать было некому. Потому что народ страшно поредел... Не могли помочь присланные с фабрик и заводов. А хлеборобов домучили; те, что не умерли, большей частью валялись на земле: совсем опухли! — из трещин на коже сочилась влага; или были сухими, как доски. Не могли удержать косу в руке. Хотели чем-нибудь подкрепиться и многие, многие ползли на поля; поестъ спелых колосков. Лежа, срывали их и растирали в ладонях, мяли в

платках, полах, мешочках, картузах; сырым зерном наполняли сведенные голодом желудки: так и умирали на месте. Всюду на полях полно покойников, а со стороны не видно. . .»

Нужно надеяться, что книга Барки будет переведена на многие языки и читатели разных стран познакомятся со страшной былью, переданной с редкой наблюдательностью, потрясающей силой и художественной правдой. Повесть В. Барки «Жовтий князь» — лучший памятник миллионам жертв «социалистической перестройки деревни».

Татьяна Фесенко

THE DRAGON. A Satiric Fable in Three Acts by E. Schwarz.
Translated by Elizabeth Reynolds Hapgood. Introduction by
Norris Houghton. Theatre Arts Books. New York, 1963.

Перед нами в английском переводе — пьеса-сказка Евгения Шварца «Дракон», выпущенная издательством «Театр Артс Букс». «Дракон» прекрасно переведен большим знатоком русского театра и известной переводчицей с русского — Элизабет Рейнольдс Хапгуд, в чьем переводе вышли по-английски почти все книги К. С. Станиславского.

Мне думается, что «Дракон» — лучшая из пьес сказочника-фантаста Е. Шварца. Та идея, что в его пьесе-сказке «Тень» была только намечена, в «Драконе» нашла свое более глубокое воплощение. На первый взгляд может показаться, что «Дракон», как и «Голый Король» и «Тень», — сатира, политически направленная только против гитлеризма. Но по мере чтения всякому читателю становится ясно (и всякому зрителю будет видно), что Шварц пускает стрелу своей сатиры в тоталитаризм вообще, в тоталитаризм, как таковой.

Главный герой пьесы, странствующий рыцарь Ланцелот, отважился вызвать на бой Дракона, который повелевает одним вольным городом и его окрестностями. Ланцелот убежден, что преступления и злодеяния, совершенные Драконом, не останутся безнаказанными. Недаром высоко, высоко в горах, в пещере, скрытой от людей, хранится жалобная книга, куда записываются все большие и малые преступления Дракона.

«Мир! Горы, травы, камни, деревья, реки видят, что делают люди. Им известны все преступления преступников, все несчастья страдающих напрасно. От ветки к ветке, от капли к капле, от облака к облаку доходят до пещеры в Черных горах человеческие

жалобы и книга растет. Если б на свете не было этой книги, то деревья засохли бы от тоски, а вода стала бы горькой».

Конечно, когда зритель слушает этот монолог Ланцелота, в его памяти всплывают не только зверства гитлеризма, но и сталинщины; во время написания автором пьесы (1943 г.) она в виде бериевщины действовала полным ходом.

Что может думать зритель, когда Ланцелот говорит героине пьесы Эльзе: — «Ах, разве знают в бедном нашем народе, как можно любить друг друга? Страх, усталость, недоверие сгорят в тебе, исчезнут навеки. Вот как я буду любить тебя». Наконец — поединок Ланцелота с Драконом не на жизнь, а на смерть. Официальные известия герольдов о ходе поединка напоминают советские военные сводки начала второй мировой войны. Вот «коммюнике» сторонников Дракона:

«Бой близится к концу. Противник потерял меч, копьё его сломано. В ковре-самолете обнаружена моль, которая с невиданной быстротой уничтожает лётные силы врага. Оторвавшись от своих баз, противник не может добыть нафталина и ловит моль, хлопая ладонями, что лишает его необходимой маневренности. Господин Дракон не добывает врага только из любви к войне. Он еще не насытился подвигами и не налюбовался чудесами собственной храбрости».

Но несмотря на то, что пропаганда продолжает энергично играть «Гром победы», Дракон умерщвлен отважным Ланцелотом. Зато дальнейшие события развиваются неожиданно: плодами небывалой победы Ланцелота воспользовался не он сам, а один из приближенных Дракона, бургомистр города. И то же герольдическое, то-есть, пропагандное ведомство создает легенду о том, что Ланцелот только раздражил Дракона, привел его в ярость. А бой проведен и выигран одним только героическим бургомистром: «бывший наш бургомистр, а ныне президент вольного города, героически бросился на Дракона и убил его уже окончательно, совершив чудеса храбрости».

При бургомистре вольный город немного вздохнул. Жить стало чуть-чуть легче, но только чуть-чуть. Ибо бургомистр оставил неизменным самое главное в прежних драконовских порядках: «Если мы проклятому чудовищу отдавали лучших наших девушек, то неужели мы откажем в этом простом, естественном и гуманном праве нашему избавителю бургомистру?»

И после умерщвления Дракона самое существенное в укладе жизни Вольного города осталось без изменений. С одной стороны, силой инерции, которую не так то легко преодолеть, с другой —

потому, что искры изрыгаемого Драконом пламени проникли в человеческие души и стали неотъемлемой их частью. Недаром Дракон говорил: «Человеческие души очень живучи. Разрубишь тело пополам — околеет, а душу разорвешь, — так станет послушной, и только». «Из-за слабости нашей, — говорит другое действующее лицо в «Драконе», — прежде гибли самые смелые, самые добрые, самые нетерпеливые... Теперь они, правда, не гибнут, но им бургомистр и его приспешники не дают хода...» А Эльза так определяет новые последраконовские порядки: «Боже мой, какая тоска! Разорвите паутину, в которой вы все запутались!»

Пьеса-сказка Евгения Шварца «Дракон» обладает всеми сценическими качествами, чтобы завоевать зрителя. Эта пьеса могла бы иметь заслуженный и прочный успех. Но в СССР ей не дают хода. В прошлом году «Дракон» шел в Нью Йорке в театре «Феникс», но постановщик его — Джо Агтони — не понял «острия» этой пьесы и его постановка оказалась мало удачной. В Западной Германии «Дракон» шел с большим успехом.

К американскому изданию «Дракона» дал интересное предисловие Норрис Хоттон, известный американский театральный деятель и писатель.

Вяч. Завалишин

ВОСПОМИНАНИЯ ГЕНЕРАЛА А. П. БОГАЕВСКОГО. 1918 год.
«Ледяной поход». Издание «Музея Белого движения» Союза Первопоходников. Нью-Йорк. 1963.

Эта книга покойного Донского Атамана генерала Африкана Петровича Богаевского была написана уже давно. Но только теперь, почти 30 лет спустя после его смерти в Париже, благодаря стараниям сына и Союза первопоходников, она, наконец, увидела свет. Воспоминания А. П. Богаевского посвящены зарождению Добровольческой армии генерала Л. Г. Корнилова и ее походу по Кубани в 1918 году.

В предисловии, написанном еще в 1923 году, А. П. Богаевский выразил пожелание, чтобы его «скромный труд послужил материалом для будущего историка нашего смутного времени и благодарной памятью тем, кто честно и стойко боролся за спасение и счастье Родины».

Издатели включили в книгу, как первую часть, воспоминания автора о событиях на Дону, предшествовавших Ледяному походу. В этой части, опубликованной в первом томе «Донской Летописи», А. П. Богаевский описывает, как, спасаясь от распропагандирован-

ных большевиками солдатских толп, он пробирался из Киева на родной Дон. На вокзале в Луганске его арестовал красный патруль, и жизнь будущего Донского Атамана оказалась на волоске. Но подвыпивший и пребывавший в блаженном состоянии красный комендант отпустил его с миром, сказав: «Ну, Бог с вами. Езжайте к вашему Калядину».

Добравшись до Новочеркасска, ген. Богаевский предоставил себя в распоряжение Войскового Атамана ген. А. М. Каледина. В течение короткого времени ген. Богаевский был командующим войсками Ростовского района. Но вскоре, под влиянием большевистской пропаганды, разошлись по домам казаки трех вверенных ему полков. Командовать было не кем, всё рушилось, и ген. Богаевский решил присоединиться к крошечной Добровольческой армии ген. Корнилова, оставившей Ростов под давлением превосходящих сил красных. С нею он и проделал страдный путь по необозримым степям Дона и Кубани.

Во второй части книги автор описывает первый поход Добровольческой армии. В начале похода генерал Корнилов назначил А. П. Богаевского командиром Партизанского казачьего полка. Затем, после соединения за Кубанью с отступившим из Екатеринодара кубанским правительственным отрядом, ген. Богаевский командовал 2-ой бригадой.

Свои воспоминания о боях Добровольческой армии (окруженной со всех сторон) ген. Богаевский излагает точным языком военного, прекрасно осведомленного о трагическом положении армии. Его повествование спокойно. Так он пишет даже о самых трагических моментах похода, а таких моментов было не мало: под Выселками, Усть-Лабинской, Кореновской, Ново-Дмитриевской, у стен Екатеринодара.

После неудачного штурма Екатеринодара и смерти генерала Корнилова положение армии стало критическим. Нужен ли был, вообще говоря, штурм города, занятого вдесятеро сильнеешим, хотя и плохо управлявшимся противником? Автор пишет, что «генерал Деникин, как и все старшие начальники, не сочувствовал идее штурма Екатеринодара». И тем не менее, по воле Корнилова, Добровольческая армия штурмовала город и чуть-чуть не овладела им. Но после Екатеринодара встал вопрос о распылении армии, как единственно возможном пути спасения хотя бы части белых добровольцев.

Если Добровольческая армия выжила в невероятно тяжких условиях окружения, недостатка в снарядах и патронах, то это было не только заслугой ее начальников, но и показателем высоких боевых качеств ее офицеров и добровольцев.

Выживши в этих страшных условиях первого похода, армия весной 1918 года стала чрезвычайно важным политическим и военным фактором, тем ядром, которое способствовало становлению казачьих областей после перелома в настроении казаков по отношению к большевикам.

Воспоминания ген. Богаевского интересны не только описаниями боев и подвигов добровольцев. В книге не мало данных и о политическом положении на юге России в 1918 году. В частности автор отмечает зарождение, уже во время первого похода, конфликта между Кубанской войсковой властью и командованием Добровольческой армии, который имел катастрофические последствия в начале 1920 года — Новороссийскую трагедию Вооруженных Сил Юга России.

Автор приводит характеристики виднейших добровольческих генералов — Алексева, Корнилова (с которым автору пришлось вместе учиться в Николаевской Академии Генерального Штаба), Деникина, Маркова, Казановича, Кутепова и других.

События, описанные автором воспоминаний, в свое время получили широкое освещение на страницах печати Юга России и в трудах ряда авторов, писавших на темы гражданской войны. Но, как правило, все эти труды уже давно стали библиографической редкостью. Поэтому следует приветствовать появление воспоминаний ген. Богаевского, действительно являющихся серьезным материалом для историков, занятых изучением раннего периода гражданской войны в России.

Б. Прянишников

«ПАРНАС ДЫБОМ» 3-е дополн. изд., под редакцией Р. Плетнева. Монтреаль (Канада), 1963.

Нельзя не приветствовать выпуск сборника пародий «Парнас Дыбом», который в 20-х годах вышел двумя изданиями в Советском Союзе. «Парнас Дыбом» пользовался широкой популярностью среди тогдашней советской студенческой молодежи. Многие из пародий декламировались на вечеринках, заучивались наизусть. А в 30-х годах, когда этот сборник стал библиографической редкостью, по рукам ходили его рукописные списки.

Казенные критики находили пародии «Парнаса Дыбом» слишком беззлобными и «несерьезными». Конечно, это — не партийная гражданская муза. И слава Богу. Авторы сборника никакого политического заказа не выполняли, который всегда свойственен пародиям Михалкова или Безыменского. В «Парнасе» если писатели и

пародируются, то не высмеиваются. Да иначе и не могло быть. Пародии писались на больших поэтов, — Ахматова, Блок и др. В основу пародий взят не авторский текст, а заданная тема. Некоторые пародии настолько близки по форме и родственны по духу тому или иному писателю, что их часто можно принять за самопародии.

В сборнике «Парнас Дыбом» пародии подобраны на три «заданные» темы: «у попа была собака...», «жил-был у бабушки...» и «пошел купаться Веверлей...». Диапазон пародируемых авторов широк: здесь «далекая древность» — Гомер, Данте, здесь Симеон Полоцкий; «иностранцы» — Оскар Уайльд, Анатоль Франс, О. Генри; но больше всего русские современные писатели: А. Блок, И. Бунин, А. Белый, Анна Ахматова, Игорь Северянин, Маяковский, Мандельштам, Зощенко и даже Вертинский и Эренбург.

Издатели зарубежного выпуска дополнили сборник двумя вещами — «Онегин в Ленинграде» Хазина и «Северная Баллада» Ю. Большухина, в которой пародируется лермонтовское «По синим волнам океана».

Сборнику предпослано предисловие — «вместо предисловия» — редактора Р. Плетнева. Предисловие очень интересное и можно пожалеть, что оно краткое, и что автор ограничился лишь раскрытием происхождения лингвистического термина — «пародия», но ничего не сказал об авторах «Парнаса Дыбом», об его истории и отношении к нему читателей и критиков в годы появления первого «Парнаса Дыбом». И легкая муза имеет право на историю.

А. Поплюйко

ИСПРАВЛЕНИЯ

В кн. 74 «Н. Ж.» в статье Н. Ульянова «Тень Грозного» на стр. 245-й, 13-я строка сверху должна читаться: «И. И. Полосин и другие...»

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

GEORGE FISHER — *Science and Politics. The New Sociology in the Soviet Union*. Center for International Studies Cornell University. Ithaca, New York, 1964.

JOSEPH A. MIKUS — *Slovakia. A Political History 1918—1950*. The Marquette University Press. Milwaukee, Wisconsin, 1963.

Прот. В. ЗЕНЬКОВСКИЙ. — *Основы христианской философии*. Том 11. Христианское учение о мире. YMCA-Press. Париж, 1964.

- АНДРЕЙ СЕДЫХ — *Замело тебя снегом, Россия*. Рассказы. Нью-Йорк. 1964.
- АЛЛА ЦИВЧИНСКАЯ — *Незабвенное, немеркнувшее*. Повесть-воспоминания о Николае Зерове. С украинского перевод автора. Предисловие Вяч. Завалишина. Изд. Кн. маг. «Дон». Нью Йорк. 1963.
- Н. И. КАТЕНЕВ — *Повесть о двух друзьях*. Книга первая. Париж. 1964.
- ЮРИЙ ТЕРАПИАНО — *Избранные стихи*. Изд. кн. маг. В. Камкина. Вашингтон. 1963.
- И. Г. ЦЕРЕТЕЛИ — *Воспоминания о февральской революции*. Кн. I и II. Mouton and Co. Ecole Pratique des Hautes Etudes. Paris. 1963.
- Оккультизм и Йога*. Кн. 28. Асунсион. 1963.
- ЛЕВ ЗАКУТИН (ОТОЦКИЙ) — *Философемы и символы*. Париж. 1962.
- АННА КАШИНА-ЕВРЕИНОВА — *Н. Н. Евреинов в мировом театре XX века*. Париж. 1964.
- The Dragon. A Satiric Fable in Three Acts*, by EUGENE SCHWARZ. Translated by *Elizabeth Reynolds Hapgood*. Theatre Arts Books. New York. 1963.
- VASSILY ROZANOV—*La face sombre du Christ*. Traduit du russe par Natalie Reznikoff. Preface de Joseph Czapski. Gallimard. Paris. 1964.
- E. PETROV-SKITALETZ—*The Kronstadt Thesis*. Foreword and Translation from the Russian Text by John F. O'Connor. R. Speller and Sons, Publishers, N. Y. 1964.
- BORIS PASTERNAK—*Fifty Poems*. Translated with an Introduction by Lydia Pasternak-Slater. George Allen and Unwin Ltd. London. 1963.
- ALEXIS RANNIT—*Kuiv Hiilgus. Neljas Kogu Luuletusi. Eesti Kirjanike Kooperatiiv*. Lund. 1963.
- J. L. H. KEEPE—*The Rise of Social Democracy in Russia*. Clarendon Press. Oxford. 1963.
- V. I. LENIN'S—*What is to be done?* Translated by S. V. and Patricia Utechin. Edited, with an introduction and notes, by S. V. Utechin. Oxford, At the Clarendon Press, 1963.
- Arena* No. 16, November 1963. Published by the PEN Center for Writers in Exile. London, 1963.
- DAVID J. DALLIN—*From Purge to Coexistence*. Henry Regnery Company, Chicago. 1964.

“Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л”

под редакцией

Р. Б. ГУЛЯ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАШЕВА

ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ ГОД ИЗДАНИЯ

●

В 1964 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

●

Подписная цена 9 долл. в год (за 4 книги)

Цена одной книги — 2 дол. 25 цент.

Во Франции — 8 франков.

●

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway
New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня.
